АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

В.А.Чалмаев

В.А.Чалмаев

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО





«Летом 1956 года из пыльной горячей
в Россию... Мне хотелось затесаться и за
ли такая где-то была, жила...»



...пустыни я возвращался наугад — просто
...атеряться в самой нутряной России — ес-

А. И. Солженицын





Мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. <...> Что подлинное величие народа — в высоте внутреннего развития; в душевной широте (к счастью, прирожденной нам)...

Ал. Солженицын

В. А. Чалмаев

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Книга для учащихся

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1994

ББК 83.3Р7
Ч-16

На первом форзаце — дом в Касимовском переулке (г Рязань), в котором с 1957 по 1968 год жил А. Солженицын.

На втором форзаце — кабинет А. Солженицына в Рязани.

Чалмаев В. А.

Ч-16 Александр Солженицын: Жизнь и творчество: Кн. для учащихся.— М.: Просвещение, 1994.— 287 с.: ил.— ISBN 5-09-004671-9.

В книге рассказывается о сложной судьбе писателя, начиная с первых публикаций в 60-е годы («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»), обращается внимание на то, что Солженицын первый вскрыл трагедию сталинских репрессий («Архипелаг ГУЛАГ»), сумел по-новому осмыслить события 1914—1917 годов («Красное колесо») Литературно-общественная деятельность писателя анализируется в сопоставлении с творчеством Пастернака, Шаламова, Волкова.

В. А. Чалмаев ощущает художественную палитру Солженицына (документализм, историзм мышления, язык и т. д.) и стремится донести это до читателей, привлекая тем самым внимание к слову писателя.

Ч $\frac{4306020000-217}{103(03)-94}$ 27—93, III—IV кварт. 1993 г. **ББК 83.3Р7**

ISBN 5-09-004671-9

ВЕЛИКИЙ «СПОРНЫЙ» ПИСАТЕЛЬ, ИЛИ ПОДМАСТЕРЬЕ БОГА НА ЗЕМЛЕ

(Феномен Солженицына)

...В один из сырых февральских дней 1974 года по трапу советского самолета, прибывшего вне всяких расписаний из Москвы во Франкфурт-на-Майне, сошел единственный пассажир. Казалось, он был вытолкнут из него.

Этот пассажир — в демисезонном пальто, со срезанными пуговицами на вороте рубахи, еще три часа назад хлебавший тощую тюремную похлебку в знаменитом Лефортове,— и сейчас не знал, что точно его ожидало. Обрыв, скат, первая земля страны по имени «Чужбина». «Оборвалось 55 лет за плечами, сколько-то где-то ждет впереди»,— вспомнит он позднее и свой арест, и коридоры тюрьмы, и перелет во Франкфурт.

Встречавшие необычного русского гостя поневоле (или титулованного изгнанника?) немецкие чиновники, а затем и известнейший немецкий писатель Генрих Белль, конечно, могли заметить на его лице следы явной усталости. Венчики морщин у глаз, зорких и наблюдательных, резкие продольные бороздки на лбу... Это были приметы непрерывной работы мысли, последнего поединка с «Дубом», с социальным Голиафом для этого Давида, с антисудьбой, угрозой для его таланта.

Особенно заметной в сходившем на немецкую землю изгнаннике из России была, пожалуй, не усталость, не такой знак русской тюрьмы, как срезанные пуговицы, отсутствие ремня — и это заметил кто-то из встречавших,— а два таких родовых признака «зэка», «советского простого заключенного», как бесцветный цвет кожи и сжатость движений.

Кто же был этот одинокий русский пассажир-изгнанник, молчаливый, скупой в движениях и крайне немногословный в первых беседах с прессой? В нем все было «отжато» до предела, пружина воли не распущена. Он и сейчас,

на немецкой земле, как бы учитывал, понимал свой «маневр» Он вел игру с ожиданием очередного выигрыша... Границы, визы, паспорта! Они для него мелькают, сменяют друг друга, но его внутренний мир неизменен. Ничто ни на миг не отрывало его — как показало ближайшее будущее — от континента русской истории, от островов архипелага ГУЛАГа, от затяжного поединка с «Дубом»...

Этим пассажиром, наотрез отказавшимся от множества вопросов журналистов, был **АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН**. Прошедший на Родине через множество кругов испытаний — через арест и лагерь, ссылку и внезапно пришедшую вместе с повестью «Один день Ивана Денисовича» (1962) всемирную славу, через недолгую, но опасную приближенность к верхам, вельможную «заласканность» самим Хрущевым, «крепким, шарокатным мужиком»,— он не забыл и сейчас о самосозидании своей судьбы. Он был кузнецом, импровизатором всей своей необычной судьбы. Причем судьбы пророка, о котором никто не мог бы сказать: «Нет пророка в отечестве своем!» Подобно другому — ненавистному ему пророку и прагматику 1917 года, воскликнувшему среди смуты, вакханалии безвластия: «Есть такая партия!»,— Солженицын каждой строкой, всем строем мысли и даже молчанием будет говорить о том, что пророк в его лице уже «есть». И он родился именно в Отечестве своем! И для этого загадочного Отечества!

* * *

Оправдалось ли это жизнеощущение?

В каждом писателе тоже есть «невыжатый объем». В России особенно часто рукоплескали не триумфу художника, а лишениям, порой мнимым, которые ему предшествовали: такого триумфатора неизбежно ждет «сжатие», умаление как угодника толпы, популиста и лжепророка.

«Солженицын вырос в России, где его приучили думать, что поэт обязан быть гражданином... Реальный фон нынешней русской жизни оттенил словесность солженицынских построений. Литературность литературы обнажилась. Конечно, это не конец Солженицына — это конец старой русской иллюзии о писателе как учителе жизни» (Б. Парамонов).

«Солженицын оказался втянутым в традицию, особенно расцветшую в XIX веке,— в традицию явления народу Властителя дум... Солженицын явился на излете традиции, замыкая собою целую полосу развития отечественной культуры.

Он — последний властитель дум в истории огромного многонационального государства» (В. Турбин).

Сейчас и многие так называемые политики не считают себя обязанными «быть гражданином». Тянутся доцентскими руками к рулю власти, но... мужественно отвечать за свой же эксперимент после быстрого провала не хотят! Сродни, вероятно, этой безответственности и малодушию и громкие лозунги о том, что литература — сугубо частное, домашнее, кружковое дело, что писатель не обязан быть понятным, что он никому и ничему не должен. А все творчество не имеет «коллективной цели»! В лучшем случае писатель — раб языка, фанатик фонетики.

Критик-авангардист и создатель романа «Русская красавица» Виктор Ерофеев особенно активно раскрепощает, освобождает современного писателя даже от робких попыток сыграть роль властителя дум:

«Существуют два отношения к слову: слово как инструмент писателя и писатель как инструмент слова. Вся советская литература слова использует. Они за это мстят — деревенеют и превращаются в старую мебель.

Более сложный и творческий путь (приближения к свободе творчества.— *В. Ч.*) — когда писатель становится инструментом слова, медиумом языка. Даже если при этом не приобретается метафизического содержания, но автор просто чувствует слово и культурный контекст, то и тогда точность его попадания в цель возрастает» («Свобода приходит нагая»).

Забегая вперед, скажем, что именно Солженицын создаст «словарь языкового расширения» как средство для преодоления именно деревянного советского «новояза». Он свободно читает игру смыслов, иероглифы вечности даже в примелькавшемся слове. Он, например, скажет о нашем пороке — «безуемное пьянство», а не «неуемное», потому что «такая форма по фонетической ассоциации ведет к образу безумия».

Но разве фанатики фонетики, умелые игроки на частицах, на флексиях, на приставках и суффиксах, «перебегающих» с места на место в предложениях, когда-либо обретали высокое место в пространстве великой культуры? Есть веления Слова, есть магия стиля... Но глубокое уважение даже к умышленному, рассчитанному и, может быть, вычисленному подвигу Солженицына вызывает его чуткость к совсем иному велению. Мне кажется, что и ныне Солженицын — местоблюститель высокого престола властителя дум! — мог бы сказать всем измельчителям духовного ядра культуры:

«Смейтесь, торжествуйте, как освободители писатель-

ского сознания от долга, ищите двойников Солженицына, высмеивайте мой мессианизм, даже истовость самопринуждения к «колокольной» роли, пишите о закате русской иллюзии относительно писателя — учителя жизни... Но я буду, даже и среди скверны безбожия, до конца искать союза музы и Божественной воли, единения души и, как говорил Пушкин, «заветной лиры». Того священного союза, о котором он же сказал:

Веленью Божию, о муза,
Будь послушна...»

* * *

..В феврале 1974 года этот строй души, состав мучительных эмоций не был, конечно, понят той «перьевой силой» журналистов, что собралась на встречу Солженицына во Франкфурт, окружила виллу Генриха Белля в маленькой деревне. И упрямец Солженицын, диссидент № 1, для прославления которого западная пресса так много до 1974 года сделала, именно ей-то и не хотел ничего сказать...

«Веленье Божие» в Солженицыне — об этом мы не раз будем говорить! — не житейская, не мимолетная догадка о том, что в России путь поэтический есть одновременно и путь религиозный, что в этой стране лишь то глубоко культурно, что глубоко церковно, хотя бы бессознательно... Русский человек, даже лютый иконоборец, всегда был или с Богом, или против Бога, но никогда — без Бога... «Веленье Божие» — это незримая вертикаль, как бы соединяющая землю и Небо. По ней, этой вертикали, «душа в заветной лире» и уходит на высший суд, к небесному порогу. В этом и состоит весь смысл пушкинской надежды — «нет, весь я не умру»... Что перед этим таинственным велением, перед объединяющей силой служения подлинному искусству, равному христианскому подвижничеству, все земные оковы? Вроде решеток Лефортова? И земные же, дарованные Хрущевым или Горбачевым, «свободы» — разрушительства или воспевательства? Дух всеразрешенности, однодневных сенсационных заявлений?

Вспоминая чуть позднее, в июне 1974 года, о своем состоянии во Франкфурте, о пребывании в Лефортове, Солженицын пойдет дальше. Он... как бы уравнивает «неволю» и «свободу». Для множества экспонатных вождей — даже среди диссидентов с их тепловатым либерализмом, дозированной оппозиционностью — подобное вообще немыслимо! Он, совсем не юродивый, искренне благословляет тюрьму за то, что она была в его жизни, научила до конца науке сво-

боды, единству музы и веленья Божия, жизни не по лжи. Но он же ровно настолько, насколько это нужно,— но не больше! — благодарен и западным свободам: «**Помолчу** — я имел в виду помолчать перед микрофонами, а свое состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как деятельность, не стесненную наконец: 27 лет писал я в стол, только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай...»

* * *

...К счастью, среди тех, кто первым почувствовал этот «грядущий урожай» внезапно замолчавшего Солженицына, кто увидел его не в границах мгновения ареста и высылки, а всей жизни, был такой проницательный наблюдатель, как Генрих Белль.

Вообще встреча этих крупных художников XX века, участников минувшей войны (по разные стороны фронта),— явление во многом знаменательное.

В таких встречах даже крупные художники как бы выходят за пределы своего «я», обозначают собой пределы взаимопониманию культур.

Генрих Белль, автор известных романов «Глазами клоуна», «Биллиард в половине одиннадцатого», «Где ты был, Адам?», «Дом без хозяина», всегда испытывал особый интерес к феномену «русской культуры», вообще к «русской точке зрения», к этой великой фабрике всемирной боли и тревог. Он, участник войны, свидетель ужасов нацизма, часто повторял: «После Освенцима нельзя уже писать стихи».

Солженицын в его глазах пережил свой Освенцим! И не испугался, что факты, им увиденные, окажутся громогласнее, сильнее текстов!

Генрих Белль — грустный оптимист. В послевоенном немецком обществе он не находил уже никакой доверительности, «общинности». Здесь «машина демагогии взвывает, как сирена воздушной тревоги», при любой попытке честного писателя сказать об изношенности человека, о крахе немецкой семьи, ставшей «ощетинившейся, отравленной крепостью». Да это — тоже гигантский Освенцим! Над его воротами педантичная наука эры потребления срочно напишет перелицованный лозунг лагеря смерти — итог расчетов по износу человека, главного сырья потребительской экономики: «**Амортизация** делает свободным».

В чем суть «русской точки зрения»?

Генрих Белль находил ее, между прочим, и в Ирландии, патриархальном заповеднике народной веры, хранителе эсте-

тики человечного. Находил на Востоке, в той части мира, где вопреки всем попыткам командных систем «обеспечить эстетику человечного и социального в **плоской монете**» (т. е. в виде агиток и лозунгов.— *В. Ч.*) еще можно было сквозь литературу опознать нечто религиозное. Русская точка зрения для него состояла не просто в повышенной боли за погибающего, заблудшего человека, очередного мученика Иова, не в одной жажде спасения человечества (непременно всего). И не в постоянном ощущении «тесноты» любого жанра — романа, повести — для проповеднической мысли Толстого и Достоевского...

* * *

Было и еще одно обстоятельство, видимо, сближавшее Генриха Белля и его гостя с Востока. В Генрихе Белле всегда присутствовало смутное чувство какой-то вины перед Россией... В молодости писатель, как мы отметили, был солдатом гитлеровского вермахта, воевал, пусть и недолго, с той армией, в которой вплоть до лета 1944 года сражался и командир батареи, уже «топавшей» по Восточной Пруссии,— молодой Александр Солженицын.

«Германия превыше всего»... «С нами Бог!»

Ах, эти громкие лозунги воинствующего германизма! «Натиск на восток», «славян надо прижать к стенке» (слишком они расползлись по Европе)! На многих людях этот тяжкий пресс выбил свои штампы. И многие даже не осознали своей вины...

Чувство вины, видимо, не исчезало, а даже возрастало в Г. Белле, натыкаясь в книгах Солженицына на своеобразное пустое пространство: этот узник ГУЛАГа как бы... не видел в XX веке ни Освенцима, ни Бухенвальда, не находил слов для обличения всей чумы гитлеризма! Этот странный пробел ощутим и сейчас.

Феномен Солженицына... Сложные притяжения и отталкивания рождал он. Острый интерес, вина и перед ним, персонифицированным посланцем русской точки зрения, и Россией, догадки о будущем Солженицына — все это определило многие эпизоды оценок, поведения, даже напряженность взгляда гостеприимного немецкого хозяина.

Генрих Белль все ему прощает...

Вездесущая молва донесла один курьез, впрочем, всеми снисходительно воспринятый. Недавний узник Лефортова, увидев в кабинете немецкого писателя портрет известной революционерки Розы Люксембург, убитой в 1918 году вместе с Карлом Либкнехтом, вдруг воскликнул с явной до-

садой на безответственную игру с этой революционной «экзотикой»:

— Зачем Вам эта?.. Уж лучше бы здесь висел портрет кайзера Вильгельма![1].

Сохранилась, к счастью, необычайно емкая, весьма психологичная фотография Солженицына и Белля, идущих по сыроватому немецкому парку, почти газону. Февраль в Германии — это «кислая», тепловатая зима, почти без снега, с моросящими дождями, с голыми, словно омытыми и блестящими сучьями деревьев и вялой, «тряпичной», совсем не шуршащей палой листвой. Ничто не отвлекает собеседников в черных плащах от раздумий, не мешает строить мост от одной души к другой.

* * *

...Что такое мастер культуры в XX веке? Ответ на этот вопрос снимает и второй, горьковский вопрос: «С кем он, мастер культуры, сейчас?»

...Побродим еще немного по сырым аллеям того парка, где шел Солженицын в феврале 1974 года,— Генрих Белль остается и сейчас прекрасным «зеркалом», отражающим сжатую пружину Солженицына.

В системе координат Генриха Белля мир разделялся на два стана: есть «община», духовная общность, «соборность» людей — личностей и есть «общество» (публика) с его стандартами и разобщением. Есть люди — «причастники Агнца» — и есть агрессивная сила «причастников Буйвола». Почти схема, повторение антитез — «теленка» и «Дуба». Солженицын для Белля, создателя «Франкфуртских чтений», конечно, «причастник Агнца», но отнюдь не кроткий, не жертвенный. Это не святой нищий. Он не только пережил, пропустил через сердце все, что свершалось в его загадочном для Генриха Белля Отечестве — от имперских иллюзий до трагедий обманутости! — но и выдержал самый страшный нажим социального, идеологического пресса, который мог из любого другого сделать нужный Системе, «Передовому Учению» штамп, «причастника Буйвола».

Что же его сберегло?

Генрих Белль первым ощутил в импровизации судьбы,

---

[1] Можно только предположить, что А. И. Солженицын незадолго до этого читал — и еще не забыл впечатлений! — роман А. Платонова «Чевенгур», где к этой «Розе», творимой легенде, утопической святой, скакал на мифической лошади «Пролетарская сила» Степан (Степан Разин?! — *В. Ч.*) Копенкин...

в семантическом поле судьбы Солженицына нечто более сложное, чем стойкость или обычное самоутверждение, художническое честолюбие.

История во все века часто злым образом издевалась над множеством притязаний на величие, славу. Она рождала особый вид неудачника — «сальеризм». История удивительно насмешлива, «нелояльна» даже с тем, у кого эти амбиции окуплены неистощимым трудолюбием, муками, откровенной жертвенностью. Известно, что и в науке вовсе не тот гений, кто много знает, ибо это очень относительная характеристика, говорящая лишь об объеме познанного, освоенной информации. И прав был Г. Гейне, когда сказал, что карлик-эпигон, влезший на плечи великана, видит, возможно, на вершок дальше великана, «но нет в нем биения гигантского сердца».

Среди пресыщенности, отлаженного автоматизма бытия вдруг возникает исполинский образ скуки, абсурда, бессмысленности, торжествует до тошноты добродетельный, полезно-питательный, как вегетарианский салат, мир провинциального американского городка. Это «конец истории», обессоленная и обезжиренная эсхатология, как говорят сейчас философы, исследующие вступление человечества в «постисторические времена».

Генрих Белль уловил биение сердца Солженицына среди побочных «публицистических» шумов его славы. Он — невольный посланец страны, где империя уже переживала свою смерть, но оставляла в наследие человечеству некие грандиозные мифы, обломки, глыбы утопий, сам мессианский масштаб всемирно-исторических задач. От этого наследия — не отшутишься, не избавишься в бесконечной иронии. Генрих Белль первым предсказал острейший конфликт Солженицына — на два фронта.

«Александр Солженицын совершил переворот в сознании, переворот всемирного значения, который нашел отклик во всех концах света. **Он разоблачил не только ту систему, которая сделала его изгнанником, но и ту, куда он был изгнан**; он разоблачил и тех, кто усердно использует его для саморекламы... Он навсегда остается в совестливой памяти человечества... Уверен, что в Советском Союзе будут чтить и Александра Солженицына... **Он самый молодой в великой галерее «спорных» писателей...**» (подчеркнуто нами.— *В. Ч.*).

* * *

...«Веленье Божие», сложные нравственные обязательства вовсе не падают с неба, не звучат как гром небесный в со-

знании художника. Иногда это веление идет и «снизу», из недр истории, из «мрачных пропастей земли» (Пушкин).

Мессианизм Солженицына, все жизнеощущение себя как «воина Божьего», так активно высмеиваемое «центровой образованщиной», рождается именно в пропастях земли, в кругах ада.

В 1970 году, когда Солженицыну была присуждена Нобелевская премия, он сказал о себе в не произнесенной тогда (но опубликованной на Западе) «Нобелевской лекции»:

«На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть, с бо́льшим даром, сильнее меня — погибли... И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать **они**?»

Кто спасет ангела от гнева, диктаторства, от пены на губах?

Только наиболее прозорливые «воины Божьи», такие, как Алексей Хомяков, понимали, что

...быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов Он судит строго.

Солженицын — земное созданье и «подмастерье Бога», «орудье Бога» – эти сомненья долгое время отбрасывал. Вернее, они звучали весьма приглушенно. Будешь сомневаться — не выиграешь всемирно-историческую тяжбу с абсолютом лжи, с «Дубом», с той псевдолитературой, на знамени которой, как он однажды сказал, написана «клятва воздержания от правды — соцреализм».

Что это — пена на губах гневающегося ангела? Или бесконечные удары копья иконного Георгия-победоносца, не устающего разить многоголового змия? Критики сейчас призывают оставить на этом поле доспехи, оружие — ведь эту битву Солженицын давно выиграл.

Этот дух вызова — не спор, не дуэль, а страшная, часто одинокая, тяжба с литературным полувеком — увы, пронизывает все творчество писателя, все уровни его сознания и языка. Он рождает перегрузки. От перегрузок, как мы покажем, рождается и жанровая аморфность его романов-

исследований, и эстетика популизма в публицистике, и иногда неточность образов[1].

По сути дела, в борьбе с одной искусственностью — скажем загрязненным официальным языком, символом захвата духовной власти бюрократией — Солженицын будет вынужден создавать свой, тоже порой искусственный язык. Его помощниками будут Владимир Даль и Евгений Замятин: сверхзадача — лишь бы язык сошел с ходуль официальной пустоты! — порой отменяет и вкус, и взыскательность словотворчества.

Михаил Геллер, автор одной из первых монографий о Солженицыне, справедливо заметит, что и весь бунт, вся тяжба, борьба за спасение человека начнется для Солженицына именно с языка, с попыток пробудить к жизни целые словесные области, задавленные официальной логократией:

«Одним из объектов его сатиры становится советский официальный газетный язык, нашедший свое концентрированное выражение в языке Сталина... Этот официальный язык... складывающийся из готовых формул, лозунгов, цитат — должен — как звонок у павловских собак — вызывать немедленную, заранее известную реакцию. Язык этот — главный враг творческого мышления: готовые формулы вызывают рефлекторные действия и мысли. **Солженицын разрывает рефлекторную дугу**, разоблачая подлинный смысл слов, возвращая им первоначальное значение. Вырывая из привычного, заученного контекста летучие словечки: «юноше, обдумывающему житье...», «люди, я любил вас...», «гегелевская триада» и подобные, писатель заставляет думать».

* * *

Солженицынский «Бог» или «Нечто», которым он отдал душу и талант, как Фауст Гете, целиком занят «землей», реальнейшей историей России, поисками преодоления реальнейшего страдания, сущей эпидемией страданий, в которую ввергнут великий народ. «С **сатанинским** государством, когтящим наши души, надо враждовать и **только** враждовать, ибо оно — центральное земное посольство отца Зла» — такое заявление предопределило весь состав красок на прозаических полотнах и в публицистике Солженицына. Можно сказать, что земное, непреходящее страдание и есть

---

[1] Отмечу, что мотив восхождения к славе среди «теней» погибших, среди жертв, порой обретает и такое... чересчур наглядное выражение: о смерти Е. Воронянской, хранительницы рукописи «Архипелага ГУЛАГ», говорится с некоторой утратой художественного вкуса: «Так *судьба повесила еще и этот труп перед обложкой страдательной книги,* объявшей такие миллионы» («Бодался теленок с дубом»).

главнейшее «событие», главная драма в его художественном мире. Все остальное, относительно благополучное — лишь «случай» («Случай на станции Кочетовка»), лишь «день» («Один день Ивана Денисовича»)...

Фактически и «посильные соображения» Солженицына относительно того, «как нам обустроить Россию»,— это очередная попытка преодолеть некое всеобщее Горе, «когтящее» страдание, не упуская из вида Божью справедливость. Соображения не случайно названы «посильными», доступными единичному таланту, человеку, существу единого дня. Солженицын как подмастерье Бога как бы давно знает грандиозность всего предстоящего труда, который по силам лишь Божеству, а частный человек способен выполнить честно нечто «посильное» ему, даже спеша, торопясь. В одном интервью он сказал о вечной своей спешке так: «Вот «неторопливо» уже в моей жизни, наверно, никогда не получится, потому что **я от своей задачи отстаю**, а знаю, что она нужна. **Все поколение наше отстало от задачи»** (выделено нами.— *В. Ч.*).

В чем же существо этой мессианской задачи?

Солженицын дал множество примет этой задачи, вернее, ее спешного выполнения им — часто в экстремальных условиях, в подполье, среди тягот конспирации, при постоянной опоре на помощь свыше. Серию романов «Красное колесо» он обозначает (или зашифровывает) как «Великий Замысел», как «книгу-глыбу». Для этого используется библейский образ («из-под глыб»). «Архипелаг ГУЛАГ», летопись беззакония, лагерная Одиссея — тоже глыба, да еще какая: огромная, окаменевшая слеза миллионов узников! «С плеч — да на место камушек неподъемный, окаменелую нашу слезу»,— скажет автор «Архипелага» позднее о своем труде.

«Догнать задачу», причем задачу во многом утопическую или антиутопическую, означает для него победу в споре с почти целой литературой не только сталинской эпохи на всех захваченных ею «плацдармах»: и в осмыслении целого «антимира» ГУЛАГа, которого попросту не было в былой панораме времени, и в истинном освещении событий Февраля и Октября 1917 года, и в исследовании драматических судеб русской интеллигенции, выродившейся в «образованщину».

Что на этом фоне клановые обиды обитателей «дома на набережной», проигравших свои частные игры в коридорах власти с кремлевским горцем и теперь разоблачающих только его!

Великое множество «долой!» — «**долой** ваш строй, **долой** ваше искусство, **долой** ваш быт», напичканный доносительством и уравниловкой, долой ваши утопические мечты о

коммунизме! — словно «колоколят», говоря на языке Солженицына, в его книгах. А ему все равно как бы мало и этих колоколов. Пафос спешки, «догоняния» задачи (почти равный по обязательности былому лозунгу «догнать и перегнать!») подчиняет себе все. Автору «Красного колеса» — это мы увидим ниже — как бы некогда создавать образный мир, передавать «течение» обычной психологической жизни. И как спасение, находка является прямая внеобразная форма публицистических характеристик Столыпина или Ленина.

* * *

Великий «спорный» писатель не может отделаться, скажем, звонкой фразой иного философа, отводящего России роль вечной лаборатории, зоны для занятных экспериментов: «Левиафан, хвост которого сметает звезды Млечного Пути, может ли смириться без борьбы со своей обыденностью, с общей для всех живущих судьбой? Миссия великой нации — в создании мифов, а не компьютеров, ибо всегда может оказаться, что компьютеры кто-то создает лучше тебя: мифы же равновелики».

Только бессердечные умы могут судачить в безопасном отделении: живописно ли будет «трепетать» этот Левиафан, может ли третий Рим — Россия — «стерпеть плевки и терновый венец презрения», не бросится ли она, подобно раненому зверю, ревя от боли и ненависти, на своих хирургов, мясников, внешних и внутренних? Для Солженицына этот «раненый зверь» — его Родина. А любовь к ней способна была когда-то оборвать любой поводок, любое «приручение» и поручение... И Солженицын помнит, как обрывал свой «поводок», да еще такой «высокотеоретичный, сплетенный из надежных цитат», Твардовский...

Отжатые объемы величия в писателе — иногда раздутые политикой, пресловутой «актуальностью» — или наполняются чем-то прочным, неотжимаемым, или он так и застывает в уменьшенном, но естественном для него виде. Границы судьбы Солженицына — будем верить в это — еще не застыли, не затвердели в границах конъюнктуры. И кто знает, с каким «Дубом», обессиливающим сейчас его Родину, осмелится он «бодаться»...

ИМПРОВИЗАЦИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ РОЖДЕНИЕ «ВЕЛИКИХ ЗАМЫСЛОВ»

«Гадать можно только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места возможному»

М. Блок. «Апология истории»

«Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развилось в мальчике остро... И неисторжимо укоренялось в нем решение: узнать и понять! откопать и ***напомнить****!»*

А Солженицын. «В круге первом»

«МИР МЕНЯ ЛОВИЛ, НО НЕ ПОЙМАЛ...»

...Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Отца своего Исаакия Солженицына, офицера, участника похода в Восточную Пруссию в 1914 году, сына богатого крестьянина, имевшего хутор с хозяйством в ставропольской степи, он не увидел: отец умер в 1918 году за шесть месяцев до рождения сына.

Отец — это стойкая прививка от беспамятства, рычаг, чтобы вытащить себя из болота... Первая мировая война не оставила своего ностальгического вальса «На сопках Манчьжурии», скорбного «Варяга», «Амурских волн». Любимые мелодии русской провинции, городских парков! И тени многих героев, погибших в Галиции и Пруссии, скитаются невоспетыми. Но Солженицын всегда искал какой-то тревожный нравственный путь к душе отца, к жертвенному походу генерала Самсонова в Восточной Пруссии, к плоти России, погребенной на чужбине.

Меж тобой и мной — Самсонов,
Меж тобой и мной — кресты...
(«Прусские ночи», 1948)

Мать Солженицына Таисия Щербак, дочь крупного землевладельца на Кубани, владельца «экономии», прожила до 49 лет, до 1944 года, в основном в Ростове-на-Дону (с 1924 года). Здесь ее застала война, трагедия эвакуации с бомбежками и голодом, туберкулез. Среди тревог за сына, офицера Советской Армии, она не узнала самой горшей печали. Его арест 9 февраля 1945 года и весь путь узника ГУЛАГа — все это осталось за границами ее недолгой жизни.

Впрочем, ностальгическая расслабленность — не в характере Солженицына. «Ходу, думушки резвые, ходу!» — пел Владимир Высоцкий. Это состояние души близко и автору «Красного колеса». Он не «вспоминает» родителей, они живут в его книгах, в его «думушках резвых». Да и «не матери родят нас — дом родит»... Поскольку о биографии Солженицына, о влиянии этого «дома» — многочисленной родни со стороны отца и матери, школьной и студенческой среды в Ростове, сюрпризах первых, домашних проб пера создано много легенд, весьма противоречивых, то неизбежно обращение к памяти сердца, к автобиографическим подробностям его романов, публицистики.

Эта мозаичная история обмолвок, намеков, страстных полемических выпадов — застывший в слове поединок Солженицына с жалкими и страшными усилиями жрецов общественной морали навязать и ему свою посредственность, опустить и перед ним до земли «железный занавес»! Не вышло — «мир меня ловил, но не поймал!»

Едва ли уже в детстве в человеке обозначается слух к «веленью Божию». Иначе не было бы беспечного безумия юности (вспомним Пушкина — «сижу ль меж юношей безумных»). И слава Богу, что бывает такой отрезок в жизни. Иначе даже в веру человека вмешается аскетичный, «близорукий» рассудок, этот паук, ловящий истину сетками своих суждений, умозаключений. Так писал Иоанн Кронштадтский в дневнике «Моя жизнь во Христе». Мир тебя не поймает, но ты сам... запрешь себя в камеру доктрины, расчета, неподвижности! В то же время чрезвычайно важно не растерять в беспечном свободном юношеском «безумии» высшего призвания, ощутить вертикаль, воздвигнутую в каждом от земли к Небу, созидаемую в молитве, в ожидании «чуда». Тот же Иоанн Кронштадтский говорил, что Бог как вечная Благость «хощет всем человеком спастися»... А не какой-то малой частью человека!

Все творчество Солженицына, как мы увидим,— это воплощенная воля. Оно «держится» личностью, судьбой, оно «всем человеком спасается». Где начиналась вертикаль, заветное «веленье Божие», коему сейчас так послушна муза Солженицына?

КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ — НЕРУКОТВОРНАЯ ВЕРТИКАЛЬ К НЕБУ...

...В романе «Август Четырнадцатого», может быть, самом повествовательном и «романном» из всей серии «узлов» огромной хроники «Красное колесо», Солженицын с редкой

для себя открытостью, даже простодушием, воссоздаст тот степной уголок России, где жили деды, отец и мать, где свершилось его открытие мира. В сознании писателя, сейчас перегруженном всеми видами программ, философем, «теоретизмов», исторических схем, именно в этом романе вдруг «неба открылся клочок». Я с детства любил эти почти акварельные строки Александра Блока 1901 года:

Ветер принес издалека
Песни весенней намек.
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок...
В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны,
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны...

Не всякое небо есть Небо. Сумерки весны будто затуманивают его, надо раздвинуть облака, земные пары, чтобы увидеть бездонную лазурь, звездные сны...

На первых страницах «Августа Четырнадцатого» появляется едущий в действующую армию, в Восточную Пруссию 1914 года юный Саня Лаженицын (отец писателя)... Он, естественно, с особой пристальностью оглядывается на родную степь, среди которой, как громкие «реплики», «обмолвки» Кавказского хребта, высятся неожиданные одинокие горки, груды камня, прикрытые травой, и наконец сам хребет.

«Высился он *такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных.* За тысячи лет все люди, сколько жили, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай все сработанное ими или даже *задуманное*,— не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта».

Бесспорно, что в этот пейзаж уже вложено нечто из жизнеощущений не героя, а самого Солженицына. Паук-рассудок и здесь сплел легкую паутину символики. Это, конечно, автор философствует и резонирует за героя. Это он знает жизнь героя «с конца», с финальной страницы... Он же знает с конца, знает из-за решеток ГУЛАГа, и всю исковерканную историю России. Ему виден тот хребет всяческой лжи, для характеристики которого, вероятно, подойдет лишь апокалиптический образ из «арестованной» в 1934 году поэмы Николая Клюева, вырванный наконец-то из архивов КГБ:

Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет.
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведет.

Никола наг. Егорий пеший
Стоит у китежских ворот.

(«Песнь о Великой Матери»)

Какая поразительная дерзость мысли: ведь Георгий-победоносец на русских иконах всегда был на коне, с копьем, он вечно поражал змия, по крайней мере «прижимал» его к земле,— и вдруг вечный поединок сорван, «Егорий пеший» и стоит без копья!

Вернемся, однако, к юношеским видениям из «Августа Четырнадцатого». У символов, как мы увидим при анализе «Августа Четырнадцатого» в специальной главе,— сложное смысловое (семантическое) поле, насыщенное знамениями и сложной игрой. В прологе «Августа...» символический подтекст, к счастью, не деформирует «видеоряд», не иссушает пафос достоверности, пластичности, который рожден в авторе воспоминанием о малой родине. Прекрасны все подробности хребта «со скальными выступами и тенями угадываемых ущелий», с округлыми горками вроде Змейки, Железной, с «отголосками» хребта у Кисловодска, Минеральных Вод, со степной дорогой с солончаками. Наконец, августовской колючей пылью. Она «посвистывала, потрескивала, пошуршивала» под колесами все той же брички, что увозила Исаакия Лаженицына на войну в армию Самсонова. Заметна, конечно, во всем описании степи и хребта и ориентация мысли художника на словесную живопись Льва Толстого — особенно на повесть «Казаки». Как и у Толстого, Хребет на экране памяти Солженицына «уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нем рубцов и ребер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками». Как и в «Казаках», степь хранит «знойный солнечный запах с подмесью пыли», а в глаза Сане бьет «кружение огромных цветных площадей уродившей земли».

Ах, это дыхание почвы и судьбы! Как оно будет ломать предписанную судьбу Солженицына!

ЗЕМНЫЕ СТРОИТЕЛИ НЕБЕСНОЙ ВЕРТИКАЛИ...

...Откуда повелись Солженицыны в дикой закумской степи, на старой казачьей линии?

«Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны... Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Петр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжег, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут

кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках, да стригли овец. Окоренились».

Дальняя окрестность биографии — это казачество Солженицына... Но как она осложнила его пребывание в среде тепловатого московского либерализма, среди «центровой образованщины»! Ей-то зачем эти его исторические видения?

Казачество для Солженицына — не сословие, не военно-республиканская вольница, это воплощенное в быту расширение и улучшение качества бытия целого народа. Это, по существу, ярчайший «довод» России в пользу утраченной везде природной свободы. Природная свобода — это не просто «докапитализм». Хотя Солженицына будут без конца обвинять в деспотизме мечтаний об идиллии доиндустриального общества, где нет ни концентрации капитала, ни уродливой концентрации власти, разрушающих якобы здоровье общества. Солженицын в «Красном колесе» будет связывать с двумя характерами — солдата Арсения Благодарева и Захара Томчака (своего деда Захара Щербака) — идеал природный, т. е. «досословной», «дочиновничьей» свободы. Остается, правда, загадкой — где он усвоил это спорное верование, в меру, конечно, патриархальное? Очевидно, из рассказов матери о деде, земном строителе небесной лестницы...

Да и история революции убедила его, что казачество, «одно из состояний Российской империи» (в словаре Брокгауза и Эфрона), не случайно стало объектом самого жуткого насилия в революцию. Оно как нечто природное, не поддавшееся «теоретическому соблазну», в большой мере именно «докапиталистическое», оказалось и в эру сплошной нивелировки, превращения людских масс в лагерную пыль, наиболее трудным кусочком в мясорубке. Выяснилось, что кроме лампасов, чубов и навыков рубки лозы в казачестве был неперемолотый дух древней свободы! Да и сам Солженицын, обломок могучего рода,— живое свидетельство этого упрямства природы. Странный он — либеральный казак, да еще не желающий подныривать под двойной железный занавес к подлинной культуре, в частности под занавес массовой культуры.

Мало кто из либерального окружения Солженицына в период его «боданья» с «Дубом», с Системой, понимал, что он «объясним» в полной мере лишь в очень

сложном свете: разрушитель сталинской империи, он сам... наделен созидательным, казачьим комплексом, консервативным традиционализмом. «Что вы сделали с Россией, достоянием моих предков? Почему вы сделали «предысторией» великие эпохи?» — словно всегда вопрошает он.

И как художник он знает цену настоящей классической музыке, живописи, театральному искусству. Он — чужак и среди скособоченной риторики авангардистов. Верность естественному набору кумиров — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский — из русских, Шиллер, Диккенс, Шекспир, Бальзак — из европейских — для него естественна.

Угодливый к деморализации тепловатый прогрессизм, боящийся как огня серьезной национальной гордости, западнический бессильный либерализм страшен и для него. «...Основная причина упадка (России и русского государственного сознания.— *В. Ч.*) в распаде имперской российской нации, обозначившемся еще с середины XIX века; причина в снижении и разгроме сознания нации, в опрощающих идеях мира, человека и общества, в тех «периодах» XIX века, когда Россию стали подменять великорусским этносом и когда национальная пушкинская литература стала превращаться в этническую литературу племени, с обязательными мужиками, деревней, провинцией»,— писал в 1930 году, отвечая на один из вопросов анкеты журнала «Числа» (о причинах упадка русской литературы), писатель-эмигрант Иван Лукаш, автор романа «Бедная жизнь Мусоргского».

Казачество — не бессильное пастушество, не живописный этнос «русской Малайзии», не знающий ничего о мире, о судьбах России и о собственном унижении. В казачестве — как показали и «Тихий Дон» М. Шолохова, и глобальное по масштабам тревог и пророчеств сознание Солженицына — этой подмены России на этнос не произошло. Едва ли Солженицын способен в родном Отечестве увидеть всего лишь... экономическое пространство, в русском народе — этнографическую «структуру», в родной истории — хронику «предысторических» происшествий, лишь готовивших подлинную историю — коммунизм... В нем, художнике, сгустилось вековое наследие казачества как создателя России.

* * *

...Другой дед Солженицына (о нем мы уже начали разговор) — это прямой предшественник Столыпина, степной

Столыпин. Этот дед (по матери) Захар Щербак не просто владел «экономией» на Кубани. Он; начавший коммерческую карьеру с капиталом в виде десятка собственных овец, как бы внес во весь свой род запас природной энергии, талант упорства в выживании, в «боданьи» с нелепой судьбой. Смирение как идеал нравственной жизни его не соблазняло. Но и «пачкаться» в обмане, в суетливых операциях на биржах, в поединках с дьяволом наживы, который рыщет вокруг человека, он не хотел[1]. Этот степной плантатор, с одной стороны, дал дочери Таисии, матери Солженицына, прекрасное образование — она училась на знаменитых Бестужевских курсах в Петербурге... Он, сохранивший и при богатстве мужицкую двужильность, равнодушие к роскоши, не умевший говорить вполголоса, почти кричавший даже в деловом разговоре («будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот»), наделил дочь и внука редкой жизнестойкостью, пониманием движения жизни.

Когда свершилась революция, то поместье Захара Щербака было, как водилось в те годы, разграблено. Мать будущего писателя — после 1918 года вдова, сохранившая жизнестойкость и достоинство отца,— переехала в 1924 году в Ростов-на-Дону, куда Захар Щербак еще до революции часто ездил покупать новейшие сельскохозяйственные машины. Там семью Щербаков многие еще знали и не отвернулись от нее. Она сумела дать сыну весьма хорошее — для вероятного «лишенца»! — образование: будущий писатель успешно окончит среднюю школу, в 1936 году поступит на физико-математический факультет Ростовского университета...

Таисия Захаровна, видимо, много трудилась как отличная стенографистка. Она даже окончила курсы английской стенографии ради более высокой зарплаты. Ее культура — трудная «рента», залог независимости и свободы!

Так ли просто было свершить это для дочери зажиточного хуторянина, вдовы офицера? Видимо, все было сложно.

---

[1] Сам Солженицын вспоминает: «Это был человек редкой энергии и трудолюбия. В пятьдесят своих лет он выдавал стране зерна и шерсти больше, чем многие сегодняшние совхозы, и не меньше тех директоров работал. А с рабочими обращался так, что после революции они старика 12 лет до смерти добровольно кормили. Пусть директор совхоза после снятия попробует попросить» («Бодался теленок с дубом»).

* * *

Нельзя забывать, что общественная мораль в те годы — главный повседневный деспот для всех, тяжелейший пресс уравниловки, притворства — формировалась под воздействием «передовых» идей о предельной пластичности, послушности человеческой психики в процессе «перековки», переделки, переплавки. После этих «перековок» человек якобы становится «ясен», «беспроблемен», «чист как стеклышко». Он даже на вопрос в анкете: «Бывал ли за границей?» — с искренним ужасом и угодливым простосердечием отвечает: «Не был и быть не собираюсь — мне там делать нечего!»

Как утверждался этот психоз торопливой переплавки?

26 января 1936 года А. М. Горький писал в «Правде» в статье «От «врагов общества» — к героям труда» именно о трудностях перековки — для кого? — «анархиста, хищника в сознательного пролетария и революционера». Но и эта трудность успешно преодолевалась на трассе Беломорканала и иных островках ГУЛАГа: «У мелкого буржуа всегда есть личная цель: маленькая лавочка, открытая на средства, полученные торговлей краденым, эксплуатацией воров, затем — большой магазин или что-нибудь другое в этом роде... Воришек очень трудно перековывать вследствие силы их озлобленности против людей... И однако — перековывают. Этим трудным делом занимаются «чекисты»...

И не только они. Это «трудное дело» было необходимо для того, чтобы утвердить в каждом некую лжеромантику простоты, даже примитива, поиск «души нараспашку», показного народовластия, мораль «парня из нашего города», советского «простого человека». В чем-то сомневаться, спорить всерьез, искать альтернатив иному руководящему указанию, догме? Это означало нередко только одно: «чернить» высокую цель! Это значило сопротивляться перековке, переплавке, «застревать» в предрассудках, тормозить историю! Андрей Платонов уже в 1927 году запечатлел это искреннее «совковое» сознание, простодушно предлагающее создать... походный мавзолей Ленина, «положить» в саркофаг рабочего Никандрова, сыгравшего роль в фильме «Октябрь» С. Эйзенштейна, и возить по стране: «Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолей в Москве не может обслужить всех заинтересованных...» («Надлежащие мероприятия»).

Но это наивное сознание, голос, так сказать, социальных

одноклеточных... Но что вещали «многоклеточные»? Поэт Алексей Сурков в 1949 году, в связи с 70-летием Сталина, вдруг изощренно напомнил о 1937 годе:

Всех, кто чернить святую цель посмели,
Гнев миллионов смел с лица земли,
Вы чистоту и ясность нашей цели
От происков врагов уберегли...

Таисия Солженицына сумела и в этих условиях передать сыну ощущение живой ткани былой жизни, воздуха предреволюционной эпохи. Она не хотела, видимо, переплавляться... в чугун и не позволила переплавиться и сыну. Солженицын, создатель «Красного колеса», скажет с благодарностью о подвиге матери: «Мое поколение последнее, которое может еще этот материал писать совсем не как историю, не в полном смысле историческое повествование, а еще по живой памяти» (телеинтервью с Н. Струве).

Было ли двоемыслие?

...«Выветривание» человека, стирание в нем памяти, наделение его словарем для примитивного общения, для имитации преданности мелкой власти — на уровне ячейки — происходило в 30-е годы часто при непрерывном громе аплодисментов, грохоте победных маршей. Ученые-лингвисты уже к 1928 году отмечали, что «сокращение слов носит исступленно-стихийный характер и угрожает в недалеком будущем сделать нашу речь нечленораздельной» (А. М. Селищев). «Наркомзем», «Совнарком», «Главначпупс» — это уже хрюканье, мычанье, какие-то звуковые толчки... Гипертрофированный активизм митингов, демонстраций повышал «идеологичность» всего уклада жизни, быта и семьи. Вся культура становилась в известном смысле организованной, внеличностной. Как в промышленности «отрасль» диктовала свое право «территории», пространству, где есть нефть или уголь, разрушая «ненужную» этой отрасли природу, историю, так и единое культурное пространство диктовало всем систему симпатий и антипатий, набор кумиров для подражания. Выйти из этих стадных привязанностей, превратить благонадежный «нолик» (свое лицо) в нечто действительно личное и частное, преобразить стандартное в личное, казарменно-ограниченное — в беспредельное, небесное было крайне трудно.

Вероятно, лишь в зрелом возрасте стали вполне понятны Солженицыну сберегающие от беспамятства усилия матери. Для нее исчезала целая эпоха, прерывалась связь времен и поколений. Перед ней возникали уродливейшие жанры жизни — жизнь как заседание, жизнь как «выслуга лет», труд как стаж, как вымаливание нужной характеристики.

А вся жизнь — как служение сказке о коммунизме!.. Вероятно, существовало множество хрупких психологических ситуаций, когда она отстаивала что-то бодро сокрушаемое местной газетой, предписанное ребенку на пионерском сборе, на «линейке», собрании. Это очень нелегкий труд.

Как передать ребенку хоть что-то из представлений и норм прошлого, из эпохи органической, цельной, боявшейся всяческих профанаций, механических страстей? Как перенести его сознание в живые миры из сферы, «макетированной» какими-то полуфальшивыми кумирами, пронизанной фактически духом не развития, а самоуничтожения и небытия?

Подвиг сохранения «тайной свободы», сохранения своей личности, не забронированной для Таисии Захаровны выгодным социальным происхождением (естественно, пролетарским!), тем более велик, что он растянулся на целых два предвоенных десятилетия. Трудно судить, как удалось Таисии Захаровне, с одной стороны, скрыть историю гибели мужа в 1918 году и в то же время донести до сына его благороднейший образ. Солженицын узнал, например, что его отец в юности увлекался нравственной проповедью Толстого. Той, самой «невыгодной», стороной его духовной жизни, которая пролетариату была совсем не нужна, даже презренна. Ведь пресловутое «зеркало» (статья «Толстой как зеркало русской революции» В. И. Ленина) недвусмысленно говорило о порочности толстовства! Еще сложнее было такое открытие: и после Брестского мира 1918 года, когда Ленин отдал кайзеру Вильгельму (за что? по какому праву?) Украину и Прибалтику, стал платить (да Россия была почти победителем!) огромную контрибуцию Германии, батарея отца не бросила боевых позиций, честно держала фронт!!! Гордиться этим или стыдиться такой верности долгу, т. е. «классового недомыслия» отца?

А его гибель? «Погиб на охоте», «казнен красными», «покончил самоубийством из страха перед красными»... Сам Солженицын, защищая честь отца, отвергнет подлую версию трусливого самоубийства (да еще не дождавшись желанного первенца!). Он поместит образ отца в число первых, впрочем, уже освященных Михаилом Булгаковым в «Белой гвардии» и М. Цветаевой в «Лебедином стане», жертв «красного колеса».

Солженицын позднее не раз повторит слова благодарности тихому подвигу матери, последнего человека, который перебросил для него мостик в органическую жизнь из жизни «чокнутой», сплошь искусственной, даже сюрреалистической: «Она вырастила меня в невероятно тяжелых условиях. Овдовев еще до моего рождения, не вышла замуж второй раз —

главным образом опасаясь возможной суровости отчима... Мама хорошо знала французский и английский, еще изучила стенографию и машинопись, но в учреждения, где хорошо платили, ее никогда не принимали из-за ее соцпроисхождения... Это заставляло ее искать сверхурочную вечернюю работу, а домашнюю делать уже ночью, всегда недосыпать. По условиям нашего быта она часто простужалась, заболела туберкулезом, умерла в 49 лет». («Бодался теленок с дубом».)

Вероятно, именно мать открыла для него — а это уже опасная «дерзость»! — и прерывистую тропинку — какая уж дорога к храму в обезбоженной стране! — в церковь. Правда, и здесь укрыться от времени, от его взыскательной, грубой опеки не всегда удавалось. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын вспомнит: «Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверно, года три-четыре: как в кисловодскую церковь входят остроголовые (чекисты в буденновках), прорезают обомлевшую онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение,— в алтарь...»

Но самое важное в материнском труде по возобновлению исторической памяти в ее протесте против тотальной утраты чувства реальности, всеобщей «чокнутости», программирования ума ребенка на ясность и беспроблемность примитива — в горении свечи, горении ее именно перед образом отца. Старые дрожжи поднимутся! Одно слово правды весь мир перетянет! Свеча эта не погасла... Семейная тайна по-своему шлифовала характер. Один из ростовских друзей будущего создателя «Августа Четырнадцатого» А. М. Коган припомнит такую многозначительную подробность домашнего быта Солженицына-школьника:

«В Ростове Саня жил со своей матерью в одной комнатушке, которую Таисия Захаровна содержала в строжайшем порядке. Хотя они жили в стесненных условиях, мать позаботилась о том, чтобы ее сын имел свой собственный уголок, чтобы никто не мешал его работе... Солженицын этот свой мирок оборудовал по-своему: над его письменным столом висела фотография его отца в форме царского офицера».

ПО ТЕЧЕНИЮ, НО К СВОЕЙ ЦЕЛИ...

...Впрочем, не один Саня Солженицын имел маленькие семейные тайны от «остроголовых», тайны, сберегаемые от перековки и переплавки. Его школьный друг Кирилл Симонян, вероятно, тоже не очень афишировал, что его отец был купцом и в годы нэпа эмигрировал в Иран. Для армянина

с его традицией и навыками торговли, предпринимательства это, впрочем, было извинительно. Да и аполитично... А для других, пересекавших идеологические границы? В Ростове, Новочеркасске, во всей бывшей «Области Войска Донского» во многих семьях хранились реликвии, связанные с историей казачества, с памятью близких, погибших «по ту сторону», ушедших с Врангелем и Кутеповым в Константинополь. Это было опаснее армянской ювелирной лавки в Дамаске или Тегеране...

Конечно, бесчеловечная политика «расказачивания», пролетарской якобы мести казачеству от имени Красной Пресни 1905 года, от всех демонстрантов, которых «донцы» разгоняли, не повторялась больше в таком масштабе. Но и в 30-е годы еще звучали в ультимативной форме требования к М. А. Шолохову, создателю «Тихого Дона»,— скорее перековать, «переплавить» «шаткого» Григория Мелехова в некий эталон народного характера, в большевика. «Всякий другой путь, пожалуй, окажется насильственным и отменит (!) опубликованные части романа в их значении для пролетарской литературы»,— писал критик Иона Нович.

Зато звонко, нарочито пафосно звучали уже красные псалмы в честь абсолютно нового «казачества», закутанного не в бурку, а в кумач,— песни молодого тогда Анатолия Софронова с их выверенным, строго-нормативным «казачьим патриотизмом». Этот патриотизм был сплошь «краснoперемазанным», всю вольность выражали в разных «эх», «э-гей!». И всего оптимистичного, «краснозвездного» было положено с избытком повторений, уточнений, с запасом идейной прочности:

Эх ты, степь широкая, житница колхозная,
Край родимый, радостный, хорошо в нем жить!
Едем мы, казаченьки (!), едем, краснозвездные,
В конницу Буденного едем мы служить.

(«Как у дуба старого», 1937)

Одно красное пятно накладывается на другое, все засвечено до предела!

Наталья Решетовская, свидетель и спутник юности писателя и дружеских отношений с Кириллом Симоняном, в последующем крупным врачом, с Николаем Виткевичем («Кокой»), Лидией Ежерец, во второй своей книге о Солженицыне очень часто с изящным нажимом сообщает о том, что... «а на первом курсе задумал свой очень серьезный роман «Люби Революцию»... «Саня читал свои стихотворения «Гимн труду» и «Ульяновск» (видимо, гимн Ленину.— *В. Ч.*).

Если вспомнить о горящей свече, о портрете отца в

форме царского офицера, об осевшем в памяти грубом вторжении «остроголовых» в храм, то ясно, что эти изящные подробности призваны сказать — о чем? — о раннем двоедушии, о навыках двоемыслия будущего писателя. Или о способах плыть по течению, но к некоей своей цели?

Солженицын — комсомолец, сталинский стипендиат — бойко пишет стихи в духе общепринятых догм, самозабвенно углубляется в труды Ленина. Вроде бы ловкое двоемыслие! И это, дескать, делает человек, который в наши дни так настойчиво, явно противореча фактам собственной духовной биографии, будет говорить о главном недостатке советской интеллигенции («образованщины») — ее «двоемыслии», «оборотничестве», привычке жить во лжи, говорить о ее неспособности «отвергнуть ложь — тотчас, и не думая о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга»!

Что такое мнимое «двоемыслие» юноши, обдумывающего житье, ищущего, «делать жизнь с кого» (Маяковский), в условиях Ростова 30-х годов?

С одной стороны, судя по воспоминаниям Н. Решетовской, это бурное, активное «врастание» юных душ в социализм, в неизбежный ритуал карьеры, общепринятых увлечений. Практически тут уже нет ничего «идеологического». Судя по тем же воспоминаниям, по собственным признаниям Солженицына, никакого двоемыслия во всей группе этих ростовских школьников, затем студентов — в их репетициях пьес Островского, Чехова, Ростана, в велопоходах по Военно-Грузинской дороге, по Украине и Крыму — не было. «Так мчалась юность бесполезная»,— сказал бы А. Блок. Если и были в сознании школьника Солженицына какие-то драмы, обиды, оппозиции, то их создавала рано проявившаяся жажда первенства. «Саня в детстве был очень впечатлителен и тяжело переживал, когда кто-нибудь получал на уроке оценку выше, чем он сам. Если Санин ответ не тянул на «пятерку», мальчик менялся в лице, становился белым как мел и мог упасть в обморок. Поэтому педагоги говорили поспешно: «Садись. Я тебя спрошу в другой раз». И отметку не ставили, вспоминал Кирилл Симонян.— Такая болезненная реакция Сани на малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес... Так же с оглядкой на Санину нервозность вели себя и педагоги. Это в конце концов создало в нем веру в какую-то непогрешимость своей личности, какую-то исключительность...»

Даже если принять все это за чистую правду,— что в этом особенно «двоедушного»? Дома висит, мол, портрет отца в форме царского офицера, а он хочет первенствовать в совет-

ской школе, изучает Маркса и Ленина. Да и не только изучает, но мнит себя «всезнайкой», мечтает написать исторический роман, собирает сухой изюм цитат и изречений, весьма рационально относится к трате времени!

Но это еще не два мира в душе... Все дело в том, что противопоставлять мыслимый мир, воссоздаваемый в воображении, миру окружающему, его велениям было еще трудно: ведь мыслимый мир еще... не был вымышлен, еще не давил на сознание, скажем, пятью томами «Красного колеса»!

ВПЕРЕД, ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ! НО КАКОЙ?

Наталья Решетовская едва ли понимает, что подвигало его на все это не мелочное тщеславие, не эгоизм одиночки... Трудно, но необходимо видеть элементы исповеди, самохарактеристики даже в иронических, насмешливых оценках своей завороженности утопией нынешнего Солженицына. Он весьма искренен, когда пишет о великих соблазнах, об очарованиях своей юности, «калечивших» сознание (это только с сегодняшних позиций) и придававших, как казалось в 30-е годы, редкую причастность к истории, к переделке мира. Все как будто шли, даже бежали «заре навстречу», не спрашивая себя: «А вдруг не получится? И заря будет не та?» Солженицын вспоминал:

«Советский режим... перед интеллигенцией приопахнул соблазны: соблазн понять Великую Закономерность, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать самим сегодня, толчками искреннего сердца... утопить свое «я» в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Еще бы не увлечься!.. Кто-то шел в это «догонянье» Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально, однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941 года, уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспеш-

но — пытался вникнуть в мудрость «Капитала»)».

Солженицын-публицист набросал размашистыми штрихами, «в плане оживленного «плаката», как сказал бы Андрей Платонов, целое мифическое состояние, вдохновение утопического переустройства мира, психоз упоения «коммунистической мечтой». Нельзя преуменьшать и упрощать это уникальное, надличностное состояние! Глубоко ошибаются те, кто считает — исходя из легкости и цинизма расставания с коммунистической фразеологией, легкости перебежек нынешних партократов из старых кресел и догм в кресла и «идеологию» дельцов,— что эта вера всегда была чисто ритуальной, что она попросту имитировалась... И якобы весь-то «пузатый «Капитал» Маркса» был давно одним лишь экспонатом идеологии!

МЕЖДУ ГЛЫБАМИ И ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ...

Как научиться свободе? Как «дрейфовать» вместе со льдиной и управлять ею, улавливая далекие сдвиги, течения?

О многих сдвигах, о корыстном использовании энтузиазма, идеализма юности, ее ослепления «коммунистической мечтой» и одновременно о постепенной бюрократизации этой мечты, ее подравнивании под былую формулу «за веру, царя и отечество», юноша Солженицын и его друзья в Ростове едва ли могли знать. Они еще «мудрствовали»... И едва ли знали, что призыв — «Давайте строить с нами республику труда»! — успешно реализовали и рабочие в котлованах Магнитки, и, увы, тысячи людей с номерами на приисках Колымы. И там висел ясный всем лозунг о труде как деле чести, доблести и геройства...

Вероятно, какие-то диссонансы в бодром, маршеобразном жизнеощущении все же были, хотя свидетельством этому являются чаще всего поздние высказывания автора «Архипелага ГУЛАГ». Так, он сообщает о своем настроении 1930 года, после чтения публикаций о процессе «Промпартии»: «Мне было тогда двенадцать лет, уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших «Известий». От строки до строки я прочел и стенограммы этих двух процессов. Уже в «Промпартии» отчетливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декораций» («Архипелаг ГУЛАГ»).

Без всякого сомнения, он рано научился улавливать, что в связи с ритуальным, цинично-расчетливым исполнением «идейных богослужений» на собраниях, «активах», «слетах» и т. п. перековку, «переплавку», «смену кожи»

(был и специальный роман на эту тему «Человек меняет кожу» Б. Ясенского) человек мог свершить показательно, играючи, как бы в зале демонстрации, без натуги имитируя этот процесс рождения «нового человека». В годы юности Солженицына в Ростове — да и по всей стране — с успехом шла пьеса Вл. Киршона, одного из литературных вождей, «Чудесный сплав», где с тепловатым юморком, шутливо, в песенке героев излагалась процедура такой перековки:

Джон рабочим был простым
Дженни — комсомолка.
И она сдружилась с ним
И ему сказала колко:
«Отчего б вам, милый друг,
Не войти в партийный круг
Где теперь вращаюсь я,
Где одна, своя семья?»
Джон не долго рассуждал
Заявление подал
И, попавши в РКП,
Шел по ленинской тропе...
Вот какой счастливый он,
Этот славный парень Джон.

Подобные «славные парни», румяные комсомольские вожди, легко бросят в 90-е годы эту ленинскую тропу, обменяют, тоже «недолго рассуждая», былые верования на чековые книжки необизнесменов. Они, видите ли, разочаруются... не очаровываясь, в коммунизме, усвоят легко «конвертируемую» идеологическую валюту! Они сменят только набор выражений в речах: это костюмированные существа, люди-вешалки для очередной модели одежды. Какие уж тут новые Георгии Димитровы или Эрнсты Тельманы!

Но в Солженицыне воздействие великой утопии было гораздо глубже, сложнее. Не случайно автобиографический герой романа «В круге первом» всерьез говорит о «Великом Замысле», переходит на «Язык Предельной Ясности» .. Склонность к словам с большой буквы, к антиутопическим вещаниям вообще не оставит никогда Солженицына-публициста. Как и своеобразная гордость — даже высокомерие! — перед Западом, снисходительный взгляд на его «наивность», на привычку жить как бы в постисторических временах. Да разве не отголоском марксизма является и его пояснение к своей методологии исторического романиста: «...вертикаль дать всю, по возможности всю вертикаль, как только можно. Без участия масс и низов нет истории и нет исторического повествования». Нет, это все не марксистская позолота («ведущая роль народа») историософии, а суть ее!

Понятия «народ», «Родина» для Солженицына — не визуальные, но качественные объекты. Да, в этой стране в 20—30-е годы — гора страданий. Здесь «безбожие свиной хребет о звезды утренние чешет». Но неискоренимое гипнотизирующее воздействие «социалистической мечты», новой утопии состояло, помимо прочего, в том, что эта мечта представала какой-то ярчайшей, неотразимой альтернативой

«буржуазной скуке», либеральной осторожности, бескрылому, как говорилось, существованию. Позднее придется признать, может быть, к неудовольствию автора «Красного колеса», что его презрение к эсерам, меньшевикам, либералам, «профукавшим» Россию, сравнимо только с презрением... отрицаемого им же Ленина! Как двигались в будущее робкие либералы, «полурозовые» меньшевики? «Медленным шагом, робким зигзагом». Это были «пингвины», что «робко прячут тело жирное в утесах»... То ли дело рывок пролетариата, прорыв исполина «с Лениным в башке и с наганом в руке», шествие «сквозь револьверный лай»! Это полет, это шелест крыльев, непременно — рев воздуха. Все это впитала душа будущего романиста еще в школе...

Юность Солженицына прошла под знаками повышенной, предельной «историчности» каждого прожитого дня. Наталья Решетовская, перечисляя множество планов Солженицына — он ее муж с 27 апреля 1939 года,— говорит и о создании исторического романа «Люби революцию», и об учебе в МИФЛИ, куда он поступает в 1941 году после окончания Ростовского университета. Она постоянно отмечает редкий рационализм Солженицына в уплотнении жизни, в стремлении «расправить крылья», спасти свое время от опасности — вторжения бытовых мелочей.

Как это нет преград? А ограниченность человеческой жизни, а старость, смертная природа человека? Наконец, его уязвимость перед болезнями, страхи за детей? Сейчас мы знаем, какой зловещей преградой является для всех людей продырявленное небо, озоновые дыры в нем, или отравленный океан... Ничего из слабостей как бы не предполагалось за теми, кого символизировала атлетическая монументальная пара «Рабочий и колхозница» В. Мухиной.

Яростный ниспровергатель Системы, «чокнутости», одержимости утопией, Солженицын вынес из этой эпохи жажду немедленного пересотворения мира на свой лад... Жажду «раскрутить шарик наоборот», в обратном направлении, как поется в известной песне А. Галича. Отсюда и жар пророчеств, и язык колоколов. Какой буржуазный оппозиционер будет жить столь необычным строем души, лелеять столь жгучий и дерзкий вызов, как Солженицын:

«Ни с чем не могу сравнить этого состояния — облегчения от высказанного (после одного заявления 1967 года.— *В. Ч.*). Ведь надо почти полстолетия гнуться, гнуться, гнуться, молчать, молчать,— и все распрямиться, рявкнуть — да не с крыши, не на площадь, а **на целый мир**,— чтобы почувствовать, **как вся успокоенная и стройная вселенная возвращается в твою грудь».**

Это говорит не обычный оппозиционер, не фрондер, а человек из страны, так и не вступившей в «постисторические времена»! Он уверен, что весь мир — тоже Россия с ее политизированным климатом, с ее гонкой событий, что его «Слово и по Западу расколоколило во всю силу». И вообще нерукотворной Божьей силой двинулись его книги: «...пришли Божьи сроки...» Рукопись «ГУЛАГА» от ареста хранят не помощники, а рука Всевышнего: «Столько десятилетий им (Голиафу большевизма.— *В. Ч.*) везло, каждый раз перед ними уходила вода из Сиваша,— неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?»

Он как бы забыл, что Запад давно внимает с куда большей чувствительностью колоколам биржи, «звоночкам» с бензоколонки, из лавки, конкурентной борьбе! Не весь мир берет заварку для своих чаепитий из русского кипящего чайника! Увы, уже перекипевшего в пустой говорильне...

Не случайно и такое непомерное количество идеологических споров, диалогов, изнеможение и пиршество мысли во всех произведениях Солженицына. Это все следствие крайней идеологизированности уже юношеского сознания, перегруженности его схемами истории, цитатами.

ВОЙНА — ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ И ПОКУШЕНИЙ НА МИРАЖИ

...Последний предвоенный и одновременно первый военный день — 22 июня 1941 года — Солженицын встретил в поезде Ростов — Москва, вернее, уже на перроне Казанского вокзала: он только что сдал последний экзамен на физико-математическом факультете Ростовского университета и сейчас приехал сдавать экзамены за 2-й курс МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), где он уже учился заочно. Судя по многим обстоятельствам — и прежде всего по обостренному интересу к литературе, желанию носить «в своей голове груз мировой культуры» (так видит избранность человека Глеб Нержин) — планировалось полное переключение векторной, намеченной и целенаправленной, компоненты бытия; поиск самореализации именно в литературном труде.

Красивый образ испанца Ортеги — и — Гассета возникает в памяти на этой развилке дорог между математикой и литературой как ответ на вопрос: чем будет она, литература, в его судьбе? «Огромный космический вопросительный знак весьма многозначительного вида — то ли он похож

на гильотину, то ли на виселицу, а он сам между тем так стремится быть похожим на триумфальную арку!»

Все эти «значения» вопросительного знака Солженицын переживет, пройдет. Вплоть до арки...

Война! Она, увы, резко уменьшает всякие возможности, часто сводит на нет возможности самой жизни, продления ее на любом поприще. Импровизация судьбы как бы отменяется, человеческая жизнь попадает во власть приказов, опасностей, всего, чего он часто «не хочет».

Первые военные месяцы юноша Солженицын, видимо, разделял типичные иллюзии многих о «скором могучем ударе», отпоре врагу, об интернациональной помощи германского пролетариата родине социализма,— он как будто боится «опоздать» в героический поход, рвется на фронт.

...О чем говорят письма Солженицына жене сразу после начала Великой Отечественной войны, в первые годы ее?

Будучи мобилизован в армию в октябре 1941 года, Солженицын вначале попал... в обоз на лошадиной тяге, в гужтранспортный батальон. Здесь он, скрывая обиду, явно неуклюжий как конюх и ездовой, гонялся за лошадьми по выгону, не умея их обратать, вспрыгнуть им на спину, без особого удовольствия чистил конюшни... Не насмешка ли все это над талантливым математиком? И еще бо́льшая насмешка над «Великим Замыслом», уже выношенной идеей эпопеи о революции?

В письме от 25 декабря 1941 года он пишет Н. Решетовской: «Сегодня чистил навоз и вспомнил, что я именинник, как нельзя кстати пришлось...» И тут же формулирует — вписывая и войну в какой-то необходимый акт своего жизненного сценария! — особый взгляд на... выгоду войны для себя: «Нельзя стать большим русским писателем, живя в России 41—43 годов и не побывав на фронте».

Не следует усматривать в этом неожиданном повороте мысли какого-то «эгоцентризма». Вот, мол, и всенародную беду он превратил в ступеньку своего духовного восхождения! Некоторый намек на это есть в комбинации писем Н. Решетовской 1975 года. В конце концов даже юные герои Э. Ремарка в романе «На Западном фронте без перемен» и на войне мыслят о будущем, о цене своего фронтового, окопного опыта. Все события прядут пряжу судьбы.

Война как будто «услышала» эти ожидания будущего писателя, выдернула его из конюшни. В феврале 1942 года Солженицын, оставив «лошадиную роту», попал на артиллерийские курсы в Костроме (и еще в октябре 1942 года Н. Решетовская получала телеграммы мужа из Костромы). В дальнейшем — уже в звании лейтенанта — Солженицын

попал в Саранск (Мордовия), где формировалась артиллерийская группа разведки. Между прочим, именно летом 1942 года, проведя две недели на транзитном пункте Горьковского вокзала, он ощутит, как близка была и в это время линия незримого фронта подозрительности, страха, шпиономании: здесь он обретет материал для рассказа «Случай на станции Кочетовка». С конца 1942 года Солженицын со своей «звукобатареей» (выявляющей вражескую артиллерию) начнет боевой путь, который пройдет от Орла до Восточной Пруссии, а во времени — из 1942 до 1945 года. В письмах тех лет — вплоть до ареста — Н. Решетовская отмечает резкие перепады настроений: «то сверхсильное, шагающее через себя, то безразлично-тупое, то напряженно-острое». В письмах звучат и ноты восхищения волей народа к победе: «Летне-осенняя кампания заканчивается. С какими же результатами... Их подведет на днях в своей речи Сталин. Но уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!» (в канун ноября 1942 г.). Но чаще всего — если судить и по отобранным, и, видимо, по задержанным письмам — звучит тема писательского призвания, писательского дебюта: как получить отзыв известных писателей тех лет К. А. Федина или Б. А. Лавренева на рассказы «Лейтенант», «В городе М.», «Письмо № 254»? Не пропала ли зачетная книжка МИФЛИ? Где довоенные рукописи?

Где-то уже в середине фронтового пути Солженицына, возможно, летом 1944 года, когда Наталья Решетовская получила вызов из части Солженицына, приехала туда в сопровождении сержанта Ильи Соломина (он даже привез ей форму и красноармейскую книжку на ее имя), начинают обозначаться сложности духовной биографии Солженицына, которые и доныне кажутся скоплением «нерасколотых орешков». «Расколоть» их едва ли возможно...

С одной стороны, Солженицын вполне серьезно говорит о Сталине, о близкой победе. Его несет стальная волна, он подвергается всем опасностям фронта. Вот отрывки из писем:

«Второй день топаем по Восточной Пруссии. Адски много впечатлений!»

«Сижу недалеко от того леса, где были окружены Ольховский и Северцев!» (В «Августе Четырнадцатого» через такой аккуратный лес с грудами собранных шишек идут после окружения Самсонова в 1914 году Воротынцев и Саня Лаженицын.— *В. Ч.*)

«Я люблю тебя, не люблю никого другого. Но как паро-

возу не сойти с рельс на миллиметр без крушения, так и мне — никуда не податься в сторону с моего пути» (это о самореализации в сфере литературы.— *В. Ч.*).

Во всем этом еще нет как будто противоречия, двоемыслия, а проще говоря, предельного революционаризма, борьбы за святого Ленина (против антихриста Сталина!), которые возникали спорадически в обществе как своеобразный либеральный протест против явного догматизма, бюрократизации мысли, всей жизни. Если для всей истории XX века типичен был русский простак, нюхающий воздух («не пахнет ли где оппозицией?»), «сочувственник» любому бунту против заведомо плохой власти, то все 40—60-е годы он нюхал именно «чистый ленинизм», ловил любой оттенок критики Ленина в адрес Сталина, жалел, что не исполнили «Завещания» Ленина и не... сняли «кремлевского горца» с поста Генсека! На сам-то пост — он-то законен ли? — простак не покушался.

У Солженицына, правда, мало подробностей войны, зверств фашизма, почему-то царит «безглазое» отношение к батальной стороне, к утратам... Но это все мелочи. Боевые характеристики Солженицына, его награды не вызывают сомнения. А бой 21—27 января 1945 года, во время которого он вывел свою батарею из окружения,— это уже подвиг, который не в состоянии оспорить никто. Излишняя спланированность жизни на идее создания эпопеи — она может быть извинена максимализмом юности, прямым присутствием в местах, связанных с памятью отца.

Но ради чего замышлялась эпопея? Ради чего обо всем — предельно «ура-революционном», «теоретичном», книжном — писалось единомышленнику Николаю Виткевичу?

Не хочется, не имея оснований, даже и выдвигать версию о самоспасении, о сохранении даже таким путем (компрометации себя, ареста и... отбытия с фронта!) своего уникального художнического сознания...

Дело, видимо, в том, что сами эти планы в головах пламенных марксистов, борцов за чистоту принципов, за ленинизм и против сталинизма не казались ни Солженицыну, ни Виткевичу... чем-то исключительным, лично им принадлежащим, преступным!

Н. Решетовская запомнила темы и мотивы писем. Солженицын говорил якобы о том, что видит смысл своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Не все ему нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распущен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии — погоны. Во всем он видит отход от идеалов революции. Он советует ей покупать произведения Маркса, Энгельса, Лени-

на. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут.

Конечно, это все — типичнейший вид либеральной ортодоксии, которой не чужд и Твардовский, способ исправления плохого сталинизма... подлинным ленинизмом. Такой теоретичной «краснухе» вполне соответствовал в быту комичный революционаризм — в виде «смелого» анекдота о хорошем Ленине, «ходившем в ботинках», и «плохом» Сталине, «ухающем в сапогах». Почему так различна обувь вождей? «Потому что Ленин выбирал пути-дороги, а Сталин топает напролом!»

Увы, 58-я статья давалась и за сверхмарксизм, и за бытовое опошление образа вождя...

Вообще либеральный простак охотно приемлет такую формулу оппозиционности:

Законы наши святы,
Да исполнители лихие супостаты...

И трудно ему вообразить, что «дурной» исполнитель «святых» заповедей Троцкого, сырая, нечуткая к пузатому «Капиталу» Россия лишь этой вялостью, пассивностью исполнения и спасла себя! Какую бы казарму она выстроила, если бы свято исполнила до конца все веления бесов!

«КАПИТАН СОЛЖЕНИЦЫН! СДАВАЙТЕ ОРУЖИЕ...»

В феврале 1945 года капитан Солженицын, видимо по представлению военной цензуры, был арестован в присутствии генерала Травкина, пожелавшего ему счастья, до этого намекнувшего ему вопросом на причину ареста («Солженицын, у вас есть брат на Первом Украинском фронте?»), и отвезен в Москву. Правда, везли его в Москву офицер и солдат как обычного пассажира, без особого стеснения в свободе. Приговор — его вынесли 27 июля 1945 года — был суров: восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Правда, надежда на амнистию еще не покидала Солженицына... Она не оправдалась, но, к счастью, отбывать срок он начал не на Печоре или Колыме, как Варлам Шаламов, а под Москвой, в Новом Иерусалиме, затем — в самой Москве, на строительстве домов на Большой Калужской, наконец, в пресловутой «шарашке», тюремном НИИ.

* * *

Уже в эмиграции, а еще раньше — в период создания «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын скажет о тюрьме и лагере как о весьма необходимом даре судьбы. Каждый чело-

век должен хоть частично проходить евангельский праведнический путь Христа, отвоевывать право отвечать сатане: «Не хлебом единым жив человек...» Если согласиться с мнением Ж. Нива, что и два романа Солженицына после обретения свободы — «В круге первом» и «Раковый корпус» — это ковчеги спасения, ковчеги праведников,— то главную броню для этих ковчегов, недоступность их для дьявола тоже создали страдания, очищение через муки.

Когда пришло к Солженицыну такое мироощущение?

В «Теленке» он оценит свое предвоенное и фронтовое сочинительство весьма сдержанно, о многом в переписке с Н. Виткевичем, беседах с женой умолчав: «Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили». В телеинтервью с Н. Струве он еще раз вернется к этой мысли: «**Был Божий указ**, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме...»[1].

Так ли неосмысленно тянул Солженицын себя к литературе все лагерные годы, вплоть до освобождения 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина?

Он живет литературой и с помощью литературы...

В «Архипелаге ГУЛАГ» упоминается огромная автобиографическая поэма «Дороженька», из которой автор позже восстановит главу 8-ю («Прусские ночи») и 9-ю («Пир победителей»).. Цель этого творчества — спасти огонек свечи, стихийно вырваться из плена теоретизмов, рассудочности:

«А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху,— скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив».

Сочинить да еще запомнить тысячи строк, заучить диалоги и сплошную прозу нелегко. Для этого надо было

---

[1] В своих воспоминаниях Г. Вишневская расскажет о бушлате зэка, который как реликвию, опору памяти берег Солженицын и в период проживания на их даче:

«Что же за узел такой? Оказывается, это старый черный ватник, стеганый, как лагерный, до дыр заношенный. Им обернута тощая подушка в залатанной наволочке... Все это аккуратно связано веревочкой, и на ней висит алюминиевый мятый чайник» (Юность.—1989.— № 6.— С. 73).

упрощать форму, следы этого упрощения видны и во всем ныне опубликованном...

Творчество — это и обострение взгляда на мир. Вначале нанизывание рифм — это еще не мир иной в человеке, не область тайной свободы. Тысячи сочинителей на воле повторяли, размножали лишь штампы, стандарты официальной литературы. К счастью, колонны понурых людей в бушлатах зэков поглотили Солженицына лишь в 1949 году, а до этого в «спецтюрьме № 16» в Марфине (т. е. в Москве) он обрел поистине роскошь человеческого общения со множеством оригинальнейших людей. В костерок сочинительства было что подкладывать, кроме собственных эмоций. Среди сокамерников, если говорить обобщенно, оказались известный германист, автор книги о Бертольте Брехте, Лев Копелев, художник Сергей Ивашев-Мусатов, инженеры Дмитрий Панин и Николай Потапов.

В чем ценность и одновременно ограниченность этих «университетов», театра идей «на нарах»?

Прежде всего — в определенности, последней прямоте многих, до этого туманных или половинчатых, суждений. На воле иной ненавистник Сталина, прозревший либерал, с оглядкой говорил о вожде:

Если хватит на полразговорца,
Сразу вспомнят кремлевского горца.

Здесь таким «полразговорцем» не обойдешься. В повести «Один день Ивана Денисовича» главный герой слышит, как в бараке, среди «простолюдинов» в полный голос звучат и обиды, и жалобы на «усатого»:

«А в комнате орут:

— Пожале-ет вас батька усатый! Он родному брату не поверит, не то что вам, лопухам!

Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь **от пуза**».

А в бухгалтерии, где приспособились трудиться Цезарь Маркович и некий жилистый старик-«двадцатилетник» (срок — в 20 лет!), обсуждается «социальный заказ» Сталина — фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна:

«— ...И потом же гнуснейшая политическая цель — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции!»

Солженицын начал с либерального антисталинизма, с реализации лозунга Маяковского: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Это был путь, который мог бы его привести в ряды сподвижников А. Рыбакова, В. Дудинцева, Л. Разгона... Собственно, и успех

«Архипелага ГУЛАГ» какой-то стороной примыкает к этой прозе одного дня...

Но, как показывает стихотворный материк лагерной поэзии Солженицына, в нем уже звучали совсем иные мотивы. Поглубже, чем обида на тех, кто не «снял» Сталина, нарушив Ленина заветы! Он писал уже в «Прусских ночах»:

Татарщины родимые пятна
И сталинской гнили гнусь —
На всех нас! во всех нас!
                                        Треклятно.
Становится ими Русь.
В двухсотмиллионном массиве
О как ты хрупка и тонка,
Единственная Россия,
Неслышимая пока!

Либералов, «детей Арбата» было все же много. А вот то уникальное мировоззрение, которое «заглядывало» и дальше Ленина, было неслышимым и самым опасным... даже в тюрьме!

Был, конечно, и среди собеседников писателя — велика все же империя зэков в 40-е годы! — тот, который продвинул молодого капитана Солженицына... дальше критики Сталина! Видимо, не один Леонид Ржевский, автор одной из первых книг о Солженицыне, проницательно отметил, что это продвижение вперед на всех уровнях сознания, в сфере различнейших проблем было неизбежно:

«Драгоценная черта «внутренней свободы»... воплотилась не только в апологии совести, справедливости, правды и других достоинств человеческого духа; но и в непримиримости ко всем видам его — этого духа — порабощения. Провозглашению добра неизбежно сопутствует отрицание содома — обстоятельство, смущающее иногда иных критиков: обличение — не политика ли? Но у больших художников и на утверждение, и на отрицание есть право «творческой формы»... Творческие формы непримиримости и обличения у Солженицына богаты и многообразны».

Да, Солженицын не просто устанавливал очередность «жертв»: он вынужден был заново устанавливать размытые, фактически отнятые у отдельного человека границы между добром и злом, жизнью по лжи и по совести. И тут-то он вынужден был обратиться от «исправлений принципов» к вопросу: «А хороши ли сами принципы?»

* * *

Как ни свободен был Солженицын в «шарашке», в лагере внутренне — в грезах сочинительства, в диалогах с тем же критиком Львом Копелевым,— он не свободен был от самого себя. Он часть того идеологического пространства, которое окружало всех. Новые друзья спрашивают Глеба Нержина в романе «В круге первом»:

«Что же будет с твоей работой по Новому Смутному времени?»

«— Ты — **своим** — занят? — тихо спросил Рубин».

Но он-то знает, что будет только то, до чего он сам **дойдет**, преодолевая все страхи, все преграды, теряя и этих друзей и приобретая новых. Если он законсервирует свою свободу на дилемме — «плохой Сталин извратил хорошего Ленина», «серый **волк** термидора 1937 года съел свободу, **красную шапочку** 1917 года»,— то это не высший вид свободы. Тогда и «Архипелаг ГУЛАГ» будет чем-то похож на якобы разоблачительные мемуары Б. Дьякова. Это не схватка с Левиафаном, а косметический ремонт царства утопии. Если же он придет к идее, что ад не Сталин, что «ад — это мы сами» (С. Довлатов), ад — всякая бесовщина разрушительства во имя утопии, тогда и лагерь, и работа по «Новейшему Смутному времени» приобретают совсем другой характер. Душа будет окончательно расконсервирована, она вырвется из искусственного идеологического пространства, избавится от всех миражей.

Солженицын, безусловно, понимал необходимость создания каких-то серьезных предпосылок для тотального вызова. Есть намерения, но есть и скудные возможности! Под аркой триумфа пройдет лишь достойный... Надо, не снижая дерзостной сути намерений, «укрепить» возможности. В письмах Н. Решетовской звучат темы непрерывного ученичества, каменщик заготавливает нечто впрок для своих будущих строений:

«Посасываю потихоньку 3-й том «Войны и мира» (из письма 1947 г.).

«Он обращает мое внимание на Ал. К. Толстого, Тютчева, Фета, Майкова, Полонского, Блока. «Ведь ты их не знаешь»,— пишет он мне и тут же, в скобках, добавляет: «Я тоже, к стыду своему». «Как-то пишет он мне, что с особенным удовольствием прослушал 2-ю часть 2-го Концерта Шопена, «Думку» Чайковского, свою любимую «Вальпургиеву ночь»... А то сообщает об «открытии» двух чудесных сонат, которые были ему дотоле неизвестны: 17-ой Бетховена и Фа-диез-минорной Шумана». «Одно из точно избранных направлений (духовного развития.— *В. Ч.*) —

регулярное чтение Далевского словаря... Третий том Даля — в его личном распоряжении — «как с неба свалилось такое золото! Вот уж поистине на ловца и зверь бежит!»

Едва ли в те годы понимал Солженицын, что коварный враг в сущности делал его... своим защитником, консерватором, а в чьих-то глазах — даже неосталинистом. Ведь эти симфонии, сонаты, концерты для скрипки, музыка трех советских гениев музыки XX века — Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна — была частью духовного пространства, богатством для всех. Попробовал бы он в антикультурной среде делать такие открытия в наследии Бетховена! Иные современные оценщики Солженицына явно с трудом переносят его «бесчувственность» к модернизму, к таким вопросам: «Почему возник авангардизм? Почему он отвоевывает позиции у классики? Почему за ним будущее?» (В. Турбин). А молодой критик А. Немзер с явной прохладцей скажет, что «реализм» Солженицына установочен, осознает себя легитимным наследником всей российской культуры...

Едва ли здесь есть хоть частица истины... Великое царство утопии, которое сколачивалось Сталиным в меру исторических возможностей, его разумения и вкусов, конечно, нуждалось в фанере романов-агиток, трескучих поэм, стихов о Москве такого плана:

И Москва сияет, словно орден,
У земного шара на груди.

Но бесспорным остается и факт: в дело созидания нового человека включена была и классика — оперная, симфоническая, фольклорная, русская и зарубежная. Весь радиоэфир был действительно сплошным звукорядом Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова!

Обращение к классике было умножением свободы, способом — и это достоверно! — борьбы Солженицына с самим собой, с газетчиной всех видов, со схемами истории и морального выбора, предписанными Передовым Учением. Позднее он скажет о классике как раннем «укрывище» души от пулеметного обстрела лжи:

«На Западе может быть так, что поток газетный не увлекает за собой жизнь или не отражает ее. Благодаря обилию и свободе прессы. В истории раннего Советского Союза, да и позднего, газеты имели совершенно другое значение. Наши газеты были пулеметными очередями, фразы наших газет расстреливали и делали события».

* * *

...К моменту освобождения из лагеря и высылки на «вечное поселение» в аул Кок-Терек на границе безмолвной пустыни Солженицын был в том состоянии, когда все новое знание, новые мироощущения буквально требовали воплощения. Если литература — это «огонь в одежде слова» (И. Франко), то весь незаписанный отрезок жизни буквально «горел».

Теоретики «лагерной темы» в период новейшей смуты, или «перестройки», будут исследовать различие между «реально-историческим» подходом к этой теме и «экзистенциальным», так сказать, бытием сознания в запредельных, метафизических мирах. Они будут научно разделять прозу Солженицына и Шаламова. А перед духовным взором Солженицына 1953 года, безусловно, пламенели небывалые картины, опрокинувшие как бутафорию даже то, что он до этого видел. Восстание зэков в Экибастузском лагере, затем в Кенгире... Он еще шептал, заучивал в колоннах бесконечные стихотворные «Илиады» своей жизни. А что вызрело рядом с тобой? Всем давно казалось, что покорность стала почти свойством природы, разлилась вокруг, что ритуал лагерного быта стал почти саморегулирующимся. И вдруг — протест отчаяния, взрыв страшной силы, перекинувшийся на лагеря Джезказгана и Кенгира! Он многое, видимо, изломал в прогнозах, в планах Солженицына, в оценках цитатной мудрости лагерных собеседников:

«Но сколько глубоких историков, сколько умных книг,— а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед».

Все либеральные почитатели, избирательно хвалившие «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ», но отвернувшиеся затем от «Красного колеса», этого «временника» февральской катастрофы 1917 года, сотворенной либералами всех мастей, проглядели глубочайшую взаимосвязь этих различнейших книг. Временами эта связь, правда, прорубается буквально ледорубом, с навязчивой прямотой.

Солженицын вышел из лагеря и прожил в Кок-Тереке, затем в Рязани с безусловным пониманием этой скрытой взаимосвязи. С подобным убеждением можно спорить как с крайним субъективизмом: историки выдвинут достаточно аргументированную версию о борьбе в послеоктябрьской истории двух альтернатив, тоталитарной и демократической, и о возможности победы после Октября демократи-

ческой альтернативы. Ну не рай наступил бы, но почему непременно ГУЛАГ? Да и все, что делалось в 30-е годы,— скажем, реализация лозунгов о скорейшей индустриализации, создании своих танков и самолетов — разве это не благо перед грядущим нашествием Гитлера?

Солженицын никаких альтернатив не хотел видеть, он не искал сослагательных наклонений с непременным «если бы»... И весь «Архипелаг ГУЛАГ» вовсе не «сбор лагерного фольклора», как показалось Н. Решетовской, а совершенно особый аргумент для подтверждения истины «Красного колеса», точка зрения и подтверждение правоты всей последующей нравственной проповеди:

«Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?»

Каким должно было быть познание мира в такой ситуации?

Конечно, не успокоенным, не чисто созерцательным, а как бы движущимся в глубь познаваемых миров. Д. С. Лихачев, отмечая преимущества подобного познания, скажет: «Искусство не передает мир «в отпечатке», а как бы ставит сложный эксперимент, создает свою ситуацию. Это познание творит «второй мир», свой, особенный». («Искусство и наука», 1993). Отмечая документальную конкретную основу, предельную «натуральность» всех произведений Солженицына, следует, видимо, учитывать этот дух эксперимента, свободу (а вернее, «волю») сотворения «второго мира». Этот солженицынский мир в известной мере свободен и от самих документов, и от всех былых версий отечественной истории. Каждая строка писателя не просто что-то воссоздает, о чем-то сообщает. Она требовательно приглашает веровать в новую художественную вселенную, она громко убеждает: «Да будет так... как написано!»

«ЛЕДОХОД» НА ИСХОДЕ ОТТЕПЕЛИ...

(Энергия восхождения Солженицына)

«Раскинуться человек не может, но сосредоточиться — в его власти. И вот бессильный охватить окружность, он окружность сосредоточивает в точке».

С. Волконский. «Быт и бытие». Из прошлого, настоящего, вечного (1924)

«Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлюще гласу моления моего».

Псалтырь. Гл. XXIX

«ПОНУРАЯ СВИНКА ГЛУБОКО КОРЕНЬ РОЕТ...»

Варлам Шаламов в одном из писем Солженицыну с грустной иронией вспоминал простенькое и страшное предупреждение лагерного конвоя, памятное всем пленникам Колымы:

«Шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх — агитацией!»

Какая «агитация», т. е. возбуждение, порыв к свободе, могла содержаться в попытке взглянуть поверх голов и согнутых спин?

Страшная логичность в резком приговоре именно «прыжку вверх», способу преодолеть предписанное пространство колонны, паек свободы в шеренге, как это ни удивительно, была. И под прессом, и под катком лагеря человек все же строит свою «вертикаль». Душа не сразу подвергается растлению, она то и дело нарушает «средний уровень», человек жаждет заглянуть чуть дальше. Он или гибнет нравственно, или начинает, как говорят, «возникать», пробует превосходить своих мучителей. Для того ему надо заглянуть дальше, чем положено, приумножить пространство надежды.

В рассказе того же В. Шаламова «Последний бой майора Пугачева» беглецы из лагеря перед смертью гордятся высотой вертикали: «И никто ведь не выдал, думал Пугачев, до последнего дня... никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью».

Загонять человека на положенную «высоту», непрерывно раскатывать его по плоскости, превращать в тварь дрожа-

щую — в этом главная задача любого «конвоя»! Еще глобальнее задача — не допустить массового прыжка вверх, пробуждения памяти, тайных сил протеста! Даже в слабых существах. Эффект такого порыва может быть обвальным.

Дружно ударились рыбки о лед,
И на реке начался ледоход,—

с притворным простодушием писал «детский» поэт Валентин Берестов о дружном «подпрыгивании» рыбок над своим «хладнокровием».

Все лагерные годы Солженицын в известном смысле жил в атмосфере непрерывного созидания своей «вертикали». Он жил в состоянии прыжка вверх. Писал и заучивал свои же стихи, память вбирала и диалоги, и пейзажи. Одновременно он прекрасно понимал, как опасно «высовываться», как легко быть «подстреленным», упрежденным, так сказать, «конвоем». «Попадешь в процент» — раскрытых, отсеянных, устраненных бдительным начальством! — вот и весь твой новый след в казенных отчетах. Ему нужен был иной след — в истории. Он не имел права «погаснуть».

В пьесе «Республика труда» (1954) автобиографический во многом герой заключенный Нержин (эту «нержавеющую» фамилию затем получит и бескомпромиссный, стальной герой романа «В круге первом») вспоминает чуть иронично предвоенную учебу в МИФЛИ: «Ах, МИФЛИ? Запорожская Сечь свободной мысли?!» Себя самого, слишком рано «подпрыгнувшего», срезанного, снятого с вертикали и ничего еще не сделавшего, он оценивает также весьма иронически. «Запорожская Сечь» — это и свободомыслие в курилках, и безалаберность болтовни. Тут все готовы попасть «в процент» выявленных, отсеянных, изолированных! И на фронте навыки Сечи не исчезли у распустившего язык фрондера, «балалаечника».

«Чегенев *(Нержину)*. Ты — с фронта прямо?
Нержин. Да.
Чегенев. **Балалаечник?**
Нержин. Называют.
Чегенев. **Трень-брень, антисоветская агитация?**
Нержин. Посчитали так...»

Ни в лагере, ни после него Солженицын «балалаечником», дребезжащим бунтарем, буфетным революционером быть не хочет: он ясно видит свой маневр, свой план жизни. Лучше быть понурой свинкой, роющей глубоко... После 1953 года он явно ждет «ледохода», пристально всматривается в литературный процесс. Он ждет, когда десяткам скрытых протестантов, «шлемоблещущей рати» — «в чешуе как рать горя,

тридцать три богатыря» — можно будет явиться из недр моря житейского.

А Союз писателей? Этот искусственный аквариум для закормленных, пригретых «рыбок»? Увы, «рыбки» здесь не бьются о лед, тем более дружно. Все или почти все писатели скованы, как он заметит, присягой неправды, условиями игры, стратегией уклончивости. Они напоминают ему тех смелых «петушков», которые перед читателями как бы имитируют драку с Неправдой, взвешивают расчетливо цену каждого либерального перышка в своем оперении, теряемого в «драке». Тот же Валентин Берестов мудро сказал об этом параде лжебунтарей:

Петушки распетушились,
Но подраться не решились,
Если *слишком петушиться,*
Можно перышек лишиться.
Если перышек лишиться —
Нечем будет петушиться.

В сущности, всю жизнь в глазах Солженицына так вот «пропетушились» — то мелко нарушая присягу неправды, то раскаиваясь в ее нарушении! — даровитые по-своему Илья Эренбург, Валентин Катаев, Константин Симонов. Целый паноптикум экспонатных бунтарей, «петушков» опишет Солженицын в «Теленке»...

Впрочем, среди ларешников и менял, захламивших и осквернивших храм Культуры, он в 1954—1962 годах уже видит живое: и первые проблески трагедии раскрестьяненного мужика в повестях В. Белова, Б. Можаева, и «новейшее русское горе» в смешных чудаках В. Шукшина, В. Астафьева.

Надо являться на свет Божий!

К началу 60-х годов в Солженицыне, видимо, окрепло глубочайшее убеждение: хватит экспонатников, спланированных еретиков от святого «соцреализма», ледоход начнется только.. с него самого! Это решение — совершенно в духе его мессианского самочувствия. Он трезво оценивает весь потенциал дерзости «петушков», первые признаки большой драки после «оттепели» 1953—1956 годов — статью В. Померанцева «Об искренности в литературе» (1953), роман «Не хлебом единым» (1956) Вл. Дудинцева, повести В. Тендрякова... Но пастух Давид, победивший Голиафа, еще не являлся. Нет «Лагеря» — нигде... Самый жаркий день «оттепели», весьма туманной, зыбкой, будет связан для него — и это справедливо! — с его повестью «Один день Ивана Денисовича» (1962). Даже больше — с его темой. Он предвидит, готовит эту судьбу. До этого рыбки могли

биться о лед сколько угодно, но Голиаф (или Левиафан) тоталитаризма почувствует тревогу лишь после его ударов. Рухнут раздутые, экспонатные репутации псевдобунтарей, в истинном свете предстанут мелкие «щипковые» наскоки. Одновременно получит опору «деревенская проза» как особый вид духовного возрождения.

Поэтому извиним Давиду-Солженицыну его высокие самоаттестации. Это вид его Божественной свободы, способ вечно искушать судьбу и рисковать ее испортить.

Бог может искушать судьбу,
Но ведь свою..

(В Соколов)

Этот мессианский эгоцентризм практически неизгоним. Солженицын будет делать прыжки вверх — в любой колонне.

В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын, как всегда резко драматизируя каждый миг своей жизни, непрерывно «возникая», скажет: «Мне пришлось дожить до счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа».

«НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ. НЕТЕРПЕНЬЕ — РОСКОШЬ...»

...Начало этого поединка таится во мгле. Сам Солженицын с его привычкой к величественным гиперболам, отменяя мелкую хронологию, объясняет все просто: «...был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме».

К какой дате прикрепишь Божий указ? Он не имеет «исходящих», и следы его теряются затем в пространстве поединка.

Известно, что и до повести «Один день Ивана Денисовича» и из первого прибежища Солженицына вне зоны — унылого райцентра Кок-Терек в Казахстане, и из владимир ской деревни Мильцево, и из Рязани уже летели острые «камешки» в немого, всесильного истукана. В 1954 году Солженицын написал пьесу «Республика труда» (на родине она появилась уже в 1989 году в № 12 журнала «Театр»).

В этой пьесе уже была «заявка» и на «Один день Ивана Денисовича», и на будущий «Архипелаг ГУЛАГ». Впрочем, замысел знаменитой повести (или рассказа) родился уже в 1952 году, в самом лагере, когда Солженицын целый день таскал носилки с кирпичом, выкладывал стену.

Один из героев пьесы объясняет в лагере несмышленышам:

«Здесь ГУЛАГ, незримая страна, которой нет в географи-

ях, психологиях и историях, та знаменитая страна, в которой девяносто девять из ста плачут, один — смеется!»

После «Одного дня Ивана Денисовича» эта пьеса выглядит пристрелочным снарядом. В ней заявлено слишком много тем, требующих глубокого рассмотрения. Скажем, фронтовик Гай, как будто не видевший дорог Смоленщины, деяний, злодеяний фашизма, заявляет: «Своими руками двух мессершмитов сбил. Жалею». Другой фронтовик — Нержин — поддакивает ему: «Жалею, Павел Тарасович, и я. За какой бардак воевали?» Требуется множество пояснений, софистики, логического бесстыдства, чтобы уравнять ратный труд советских солдат, защищавших свою землю под Москвой и на Волге, и жестокость фашизма, неловко зашедшего (случайно?!) так далеко... Ведь даже Г. Белль, оппонируя таким уравнителям армий Сталина и Гитлера, заслонявшим эпизодами мародерства советских солдат на клочке немецкой земли, в Восточной Пруссии, гигантское бесчеловечие фашизма на Украине, просторах России, говорил: «...ясно представляю себе психологию красноармейцев. Они продвигались вперед по собственной стране, совершенно разрушенной за несколько лет войны... И вот внезапно они оказались на земле врага. Я легко могу представить себе, что чувствовал солдат Красной Армии».

Бесспорно, молчаливое противостояние тотальной идеологичности, ударам нормативного молота, сплющивавшим сознание,— всегда великая победа. Даже если она свершена тайно, даже если ты один остался среди купленных ею. Давид запасается «камешками»... Но одно дело, когда «камешки» взлетали с письменного стола и... на него же падали! Лучше, если рукописи скитались, хотя бы по «самиздату». Это уже было действием, вмешательством в жизнь, в историю. Но крик из-под глыб — не тот крик, от которого бывают обвалы! Конечно, и тогда возникает «чистый свет радости», ощущение, что «до того осветилось все восприятие мира, что даже благодушие заливает, хотя ничего не достигнуто» («Бодался теленок с дубом»). И совсем другое — превращение тайной свободы одного в явную свободу для всех. Это уже такая «агитация», такой прыжок вверх, от которого пятится в испуге любой «конвой». Но позволить себе роскошь нетерпенья, буйство Запорожской Сечи Солженицын не может. Как, впрочем, и «прокисание» смелости, холод тайный...

Интуиция не подвела Солженицына: на исходе «оттепели» выпал вдруг самый жаркий день... «Один день Ивана Денисовича» и стал таким превращением тайной свободы одного в «ледоход» свободы для всех.

«О, ЭТИ ЛЮДИ С НОМЕРАМИ...»

«...И вышла колонна в степь, *прямо против ветра* и против *краснеющего* восхода. *Голый* белый снег *лежал до края*, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного.

Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нем Шухов право на два письма...»

Так, собственно, и начинается — после экспозиции, сцен подъема заключенных в холодном бараке, торопливого поглощения в толчее пустой баланды, обновления лагерного номера «Щ-854» на телогрейке — трудовой день заключенного крестьянина, бывшего солдата Шухова в знаменитой повести «Один день Ивана Денисовича».

Он, пока еще не узнанный, не особенно различаемый, вступил в этой колонне людей с номерами в оранжерейное — во многом! — социальное пространство. И как же резко изменился весь однообразный социальный пейзаж!

Идет эта колонна людей в бушлатах, с намотанным на себя тряпьем, этой убогой защитой от ледяного ветра — выстиранными портянками с прорезями, масками неволи на лицах. Как тут отыщешь человеческое лицо среди сомкнувшихся цифр, чаще всего нолей? Первоначально повесть даже и называлась «Щ-854» («Один день одного зэка»).

Идет, идет и сейчас эта страшная колонна — часть социального пейзажа истории... И кажется, что навсегда исчез в ней человек, что все личное тонет в обезличивающей стихии. Собственно, весь лагерь — это некий механизм подъемов, построений, пересчетов, обысков («шмона»), действующий уже как бы по инерции, без всякого вмешательства извне. У лагеря свой язык, система сигналов и навыков. Если вообще пересчитать число охранников и число тех заключенных, что «за страх» помогают охране, ретиво исполняют ее функции в механизме подавления, то может сложиться впечатление: заключенные — старосты, десятники, бригадиры — фактически сами делят пайки, подгоняют друг друга на работе, доносят друг на друга, вымогают посылки и окурки, воруют и... стерегут!

Следует заметить, что подобные колонны — в однообразных наших социальных пейзажах, вероятно, нечто «боковое», соседствующее с мрачными очередями и плановыми «демонстрациями» — были уже в поэзии бытовых зэков. Борис Ручьев внес в память читателей образ колонны узников Колымы, идущих

...по этой мрачной, нелюдимой
Своей по паспорту земле.

Молодой (в 50—60-е годы) Анатолий Жигулин пылко уверял, многого не успевая осмыслить:

О, эти люди с номерами,
Вы были люди, не рабы...

Солженицын знает свои колонны через быт, через «день», а не вечность. Здесь есть все... Целый рой трутней, «придурков», действительно вьется вокруг этих колонн в той же униформе, чуть менее голодных и усталых. И только крайняя ситуация заставляет — и то самых бывалых заключенных! — бурно угрожать этому осиному рою карьеристов и шкурников. Это и произошло на стройке, в ледяной день, когда бригадир той бригады, в которой состоит Шухов, высказал доносчику-десятнику Дэру:

«— *Прошло ваше время, заразы, срока давать.* Ес-ли ты слово скажешь, кровосос,— день последний живешь, запомни.

Трясет бригадира всего. Трясет, не уймется никак».

В известном смысле можно говорить о двух фокусах общих для всей колонны интересов: навыков покорности, сжатия, обезличенности и непрерывного «подпрыгивания» и нетерпения протеста, заглядывания за горизонт текущего времени, дня. В безликой колонне уже возникают лица, исчезают «номера»...

* * *

Безусловно, Солженицын не спешит с раскрепощением сознания, с подчеркиванием второго фокуса порывов, надежд, протеста. Номера еще крепко держатся на фуфайках, бушлатах, их подновляют... А голод? Лагерь Солженицына еще не самый страшный, здесь нет «блатарей», этого клана романтизированных в 30-е годы Н. Погодиным в пьесе «Аристократы» «нелюдей», взятых в союзники как «социально-близкие» начальством ГУЛАГа... Но и здесь колонна идет не просто среди **голых** белых снегов, против краснеющего восхода. Она идет и среди голода. Не случайно в описании кормления колонны в столовой как главные, опорные цветовые пятна мелькают такие метафоры и эпитеты: «Завстоловой никому не кланяется, а все зэки его боятся. *Он в одной руке тысячи жизней держит...»*; «Поднаперли бригады... и *как на крепость лезут»*; «...качается толпа, душится — чтобы баланду получить».

В известном смысле и в «Одном дне Ивана Денисовича» заключен отсвет невиданного голода и холода Колымы, Чукотки, всех этих Дальлагов, в которых человек стреми-

тельно «доплывает», как говорил Варлам Шаламов, до прострации, небытия. Между прочим, и в вольной жизни, через одичание очередей, ограбление можно заставить «доплывать» до такой прострации целый народ! И властвовать — вполне конституционно... Человек «доплывает» до озверения, увы, быстрее, чем в обратном направлении. Поэт создал и страшный пейзаж шествия почти «доплывших» людей:

Хрустальные, холодные
Урочища бесплодные,
Безвыходные льды,

Где людям среди лиственниц
Не нужен поиск истины,
А поиски еды...

Впрочем, эти поиски еды и тепла — погоня за мерцающим, миражным огоньком! — выявить было легко. И Шаламову, и Солженицыну, и О. Волкову в «Погружении во тьму». Русский народ вообще никогда не забывал, что «голод не тетка».

А вот поиск свободы, хотя бы «тайной»,— дело куда более трудное.

Лагерь уравнивает и делает одинаково безликими и узников, и охрану. Узники, особенно на Колыме, стремительно «доплывают» — до дистрофии, цинги, истощения, покорности, превращения в отходы производства. Варлам Шаламов нашел даже удивительную формулу появления очередных соседей по нарам, по тесной колонне и своего сознания: «Люди возникали из небытия — один за другим... я глядел на соседа как на мертвеца и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду... Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью».

Едва ли можно было назвать «бытием» и жизнь охраны. Она избивала, стреляла, грабила, но «яркость» этих жизненных деяний была призрачной. Охрана не менее быстро «доплывает» до другого «берега»: полного озверения, безразличия к чужой жизни, тупого, механического исполнения смертных директив... По обе стороны баррикад действовал один уголовный «принцип»: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Метафизика голодных русских очередей, их «коллективизм» и «разобщение», братство по несчастью и рвущийся наружу эгоизм — это головоломная загадка для нормального сознания, не знавшего прострации выживания, вымораживания. Имея в виду именно эту деморализующую «метафизику» лагеря, В. Шаламов напишет Солженицыну после прочтения «Одного дня Ивана Денисовича» в 1962 году:

«Лагерь — школа отрицательная, даже часу не надо человеку быть в лагере... Страшный лагерь — Ижма — пробивается в повести как белый пар сквозь щели холодного барака».

* * *

Вопросы о большей типичности, универсальности одного лагеря по сравнению с другим, как и постоянное сравнение позиций Солженицына и Шаламова, их особого места в лагерной летописи, возникали давно. Нынешний век — век распятия человека. Тоталитарные режимы — гора Голгофа... Как изображать этот процесс? *«Наши русские перья пишут вкрупне,* у нас пережито уймища»,— скажет Солженицын. Варлам Шаламов в прекрасной легенде «Воскрешение лиственницы» (ожившей в банке с водой, чуть согретой) сделает акцент на ненужности «грандиозной» риторики, заговорит о настойчивом слабом запахе ветки — голосе мертвых: «Лиственница сместила масштабы времени, **пристыдила** человеческую память». Не нужно о лагере писать «вкрупне», изнурять воображение неподъемной ношей, если так непомерны еще «простые» задачи, лирические микроситуации!

Согласие и спор между Солженицыным и Шаламовым — это не спор максималиста с миниатюристом, эпика с лириком. Может быть, этого спора и вообще не было?! И лишь на первый взгляд спорят эти две формулы: «Даже часу не надо человеку быть в лагере» (Шаламов) и «Благословляю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни» (Солженицын)? Может быть, оба заявления лежат вообще в разных плоскостях? Для Шаламова важнее всего — подчеркнуть свою ненависть к романтизации уголовщины, к «Карфагену», где якобы перевоспитывается человек, к мифу, созданному в воображении читателя лживыми книгами Л. Шейнина, Н. Погодина. А для Солженицына важно напомнить о мессианской сверхзадаче, о своей победе над мучителями, об опыте страданий, об импровизации судьбы...

Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...

(Н. Огарев)

Вероятно, так именно и обстоит дело. Но есть произведения — тот же «Один день» и «Архипелаг», которые полнее раскрываются именно в свете согласия и расхождения этих летописцев империи зэков.

Отрицает ли Солженицын отрицательную, растлевающую силу лагеря как почти надчеловеческого механизма?

Конечно, да. Мы видим и обезличенность шакала Фетюкова (из заключенных), его навыки вылизывания плошек. Им вполне соответствует безликая, внеличная жестокость **начальника режима** Волкового («волк — шакал» — какая разница?). Он крикнул что-то надзирателям, и надзиратели, без Волкового шмонавшие кое-как, тут **зарьялись** (неологизм Солженицына.— *В. Ч.*), кинулись, как звери».

Ничего индивидуального нет в этой режимной фигуре, фактически винтике власти:

«Темный, да длинный, да насупленный — и носится быстро... Поперву еще плетку таскал, **как рука до локтя**, кожаную, крученую... Теперь что-то не стал плетку носить». О плетке сказано даже несколько больше, чем о человеке: она важная часть инструмента... Да и что о нем говорить — он отточен, снивелирован, крепко пригнан к механизму, раздавлен иллюзией управления «режимом», государством, преображения людского стада.

Лагерь — бездна, в которую свалилось несчастное отечество героев и Шаламова, и Солженицына. Здесь даже и признаки «классовой борьбы» утрачены всеми: творится мрачное, звериное дело самоистребления, «простота» опустошения, «доплывания» всех до примитивнейших состояний.

Практически Солженицын тоже без конца говорит об отрицательной школе лагеря. Иван Денисович Шухов, правда, проживает на глазах читателя один благополучный день. У Варлама Шаламова «горчит» любой эпизод, страшна каждая сценка. В «Одном дне...» мы не видим явлений из небытия, внезапных смертей, деяний блатных фигур, дистрофиков с их полусознанием, выстрелов охраны. Все это есть у В. Шаламова. Но тем не менее ясно, что у Солженицына все людское скопление, якобы разумно и стабильно функционирующее, подавляющее себя,— это фабрика самоуничтожения, стихия небытия. У Шаламова ее постоянно заклинивает чья-то смерть. Обычная игра в карты у коногона с блатным Севочкой кончается убийством фраера и дележом окровавленного свитера («На представку»). В другом рассказе охранник Серошапка, оградив вешками ягодное место в тайге, ждет: когда же ненавистный ему арестант шагнет в запретку? Шагнул и был убит другой.

«Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел,— сказал Серошапка,— да ведь не сунулся, сволочь!» («Ягоды»).

У Солженицына нет ни единого выстрела. Нет даже

конца винтовки, задевающего плечо Ивана Денисовича. Но в биологическом инстинкте, судорожном выживании зэков Солженицына тоже отнюдь не погашены жестокость, антагонизмы всех видов, не заморожен процесс пожирания людей.

И даже на этом сходство мотивов — пессимизма, почти безверия, изображения выморочности лагеря-бездны как зловещего места, куда пролилась, как на траву, самая жгучая отрава,— у Шаламова и Солженицына вовсе не кончается. В финале «Одного дня...» тот же Шухов не без насмешки над искателем истины баптистом Алешкой оценит его призыв: «Из всего земного и бренного молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

«— Пайку, значит? — спросил Шухов».

Не будем, однако, преувеличивать глубины его иронии. Жорж Нива скажет о другой книге писателя, о «Теленке»: эта книга «выходит за пределы писаний бойца — это письмо, само ведущее бой». Фактически весь характер Ивана Денисовича — это тоже в очень большой мере стихия боя, воплощенный опыт освобождения. И отнюдь не мечтательного, не расслабленного.

В этом пункте и начинается «развилка», расхождение между якобы «реально-историческим» летописцем каторги Солженицыным и «экзистенциальным» аналитиком ее, своего рода Сартром Колымы Шаламовым.

В чем оно заключено?

Варлам Шаламов — он смят опытом Колымы, лагерем с 1928 года — в своих насмешках над идеализмом, над риторикой протестов заходит, конечно, гораздо дальше. В своих письмах Солженицыну он искренне и даже укоризненно посмеялся, например, над образом кавторанга Буйновского, смело выкрикнувшего тому же волкодаву с плетью Волковому: «Вы **права** не имеете людей на морозе раздевать! Вы **девятую** статью уголовного кодекса не знаете! Вы не советские люди...»

Солженицын, правда, сопровождает этот протест ироническим комментарием — и от себя, и от Шухова: «Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь». Когда приходит в барак надзиратель Курносенький, чтобы увести «энтузиаста» Буйновского в карцер, то Шухов с сочувствием следит за тем, как «темнит» бригадир, укрывая Буйновского («у меня малограмотные...», «рази их упомнишь номера собачьи»). А внезапное «возникание» Буйновского на первый же окрик надзирателя: «Буйновский — есть?» — вызывает и жалость, и презрение: «Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает».

Но от этих оценок — дистанция огромного размера до уничтожительного вывода Шаламова: смельчак Буйновский с его правдоискательством — первый кандидат на роль шакала Фетюкова! Он тоже будет лизать плошки, сказывать «романы» блатным, чесать их «паханам», «Севочке», «Федечке», пятки перед сном! Такой бунтарь быстро «доплывет» до последних пределов унижения. Горестно признать это, но, увы, Шаламов видел и не такие финалы «вспышечников», носивших свою идеологию как форму!

Солженицын не просто снисходительней, добрее относится к кавторангу, он еще «надеется» на него. В Шухова он вообще глубоко верит. Как поверил в него — об этом мы скажем ниже — и Шаламов[1]. Все усилия будущего «теленка», еще не обломавшего рожек о непоколебимый «дуб», направлены в «Одном дне...» к заветной цели: Солженицын верит, что ко всему окаянству лагеря, его морального идиотизма, к этой «давильне» всяких индивидуальностей, порывов высшего плана, все же приложимо высокое человеческое правило, христианская заповедь: «Не в силе Бог, а в правде». Как и другое, тоже любимое Солженицыным моральное предписание: «Одно слово правды весь мир перетянет...»

Слово действительно должно быть «одно»... Но закаменевшее, как горючая, неподъемная слеза...

ОТ ТЕЗИСОВ — К ХАРАКТЕРУ!

Вначале «слов» было, пожалуй, даже многовато... Солженицын еще не замечал собственного «многоглаголания».

В пьесе «Республика труда» (1954), в ситуациях, которые повторяются и в пьесе «Олень и шалашовка», Солженицын провозглашает идею сохранения совести, последней правды. Заключенный Немов (Нержин) поражает Любу, лагерную проститутку, таким откровением:

«Немов. Слушайте, а я знаете иногда что думаю? Может быть, шкура наша все-таки не самое дорогое, что у нас есть?

Люба *(очень* ***внимательно****)*. А — что же?

---

[1] Найти характер-минерал, характер-кремень для испепеленного Колымой человека было, казалось бы, невозможно. Что такое порой жизнь человеческая для лирического героя Шаламова? В одном из стихотворений поэт раздумывал вслух:

Бессмертен только минерал,
И это каждому понятно.
Он никогда не умирал
И не рождался, вероятно.
Суровое величье есть
В обличье каменной породы,
А жизнь, быть может, лишь болезнь,
Недомогание природы.

Немов. Да в лагере как-то сказать неудобно... Может быть, все-таки... совесть?

Люба *(пристально смотрит)*. Вы — думаете?»

Безусловно, надо очень **пристально** смотреть, очень **внимательно** слушать, чтобы... не заметить явной банальности такой публицистики в лицах. «Пристально», «внимательно», «со внезапной силой» — здесь мимика идет на помощь тексту.

Естественно, для доказательства этой идеи в пьесе «Республика труда» развернута драма «шалашовки» Любы, влюбленной в Нержина, но вынужденной жить с преуспевающим начальником. «Со внезапной силой» — как сказано в ремарке — она говорит Нержину: «Скажи, родной! А ты **есть** не хочешь сейчас? Я **есть** хочу! Я голодная. Я всю жизнь хотела есть. Разве мы с тобой в лагере проживем? Устраиваться ты не умеешь... Один ты еще как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь».

Бесспорно, и в «Республике труда» сделана попытка одним словом правды одолеть всю неправду зла, пробиться к высоким формам духовного бытия. Время как бы устроило всем — и Нержину, и карьеристу Кугочу, и фронтовику Чегеневу, и иностранцу Гонтуару — проверку: оно «пригласило» их на страшную, циничную «распродажу» всего идеального, хрупкого, нежного в человеке! Причем все эти качества стоят столь смехотворно «мало», что едва ли найдется на все это покупатель! Дороже стоят их свитера, шапки, кисеты с махоркой, теплые места «придурков». Но будущую повесть и характер Ивана Денисовича, праведника без праведнических речений, предвещает пока только одно: Солженицын сразу же решил вопрос о том, кто в этом мире находится на дне, а кто — наверху! Он решил его с истинной мудростью: и на дне, и наверху (скажем, в виде вольнонаемных) находятся одни и те же, один и тот же народ, который и «там» (за проволокой), и здесь — на воле — ничуть не хуже и не лучше...

Эту идею — не следует ее преуменьшать, она роднит Солженицына и с Достоевским, и с Лесковым — он развивает и в пьесе «Свеча на ветру». Там опять звучит тема свечи, горящей совести, правды:

«Э-э, братишка, скажи что-нибудь покрепче. Совесть? — слишком не-ма-те-ри-альна, чтоб ей жить в двадцатом веке... Совесть — чувство факультативное...»[1].

---

[1] Любопытна перекличка этой образной системы с главной темой романа Ю. Домбровского «**Факультет** ненужных вещей». Везде линия противостояний проходит рядом с совестью, честью, праведностью как якобы необязательными, «факультативными» предметами школы жизни.

Сделать совесть материально ощутимой, не «факультативной» — и не впасть при этом в риторику, назидательность, в эпигонство, в метафизику догадок и заклинаний! — это поистине подвиг, вдохновленный свыше. Фактически это встреча противоположностей в каком-то цельном характере. Прочитав «Один день Ивана Денисовича», всмотревшись в колонну живых призраков, идущих в намордниках по снегу, жадно вылавливающих рыбьи скелеты в баланде, Шаламов не нашел этой «встречи» (синтеза) ни в бунтаре Буйновском, ни в расчетливом бригадире Тюрине. Первый — еще способен обменять бунтарство на рабское унижение. Второй — уже застыл среди ужаса неволи со своей отработанной хваткой против начальства. А вот Шухов — это «встреча». «Умная независимость, умное покорство судьбе, и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — все это черты народа, людей деревни»,— писал Шаламов автору «Одного дня...».

СТРОИТЕЛЬ ГРАДА НЕЗРИМОГО...

...Известный советский историк М. Гефтер заметил, что истинным бунтарем не всегда является тот, кто дерзко голосует... против, кто громко кается... по команде, плывя по течению. Часто такие жесты — лишь продолжение жизни по заданной системе лживых координат, выбор без выбора, навязанная псевдосвобода. Это колебание «вместе с линией», но никогда... без линии! Историк писал:

«Человек поднимает руку — голосует. Обычный наш ритуал. За что — не так важно, много существенней: что будет, когда человек откажется это делать. Не спрячет в кармане кукиш, высунув его затем дома или в другом относительно безопасном месте, а скажет просто: не хочу. Откажется от ритуала. Спокойно и просто — **не хочу**.

Что это? Сотрясение основ. Другая жизнь. Даже больше, чем голосование против (в «данном, конкретном случае»).

Может быть, только сейчас и становится очевидным этот глубинный смысл характера Ивана Денисовича. Это не только громкий голос «против» (в рамках «оттепели», критики Хрущевым культа личности в 1962 году, критики лагерных устоев тоталитаризма и т. п.), но и случай явного выпадения из ритуала, из обычаев «голосования». Из игры с псевдовыбором, из блужданий среди утвержденных столпов истины и столь же «плановых», экспонатных оппозиционеров, еретиков. Ей-богу, Шухов просто не поймет и нынешних предложений: «Ты за Сталина или... за Бухарина?..»

Иван Денисович Шухов создал свой мир, выпавший из

общепринятой системы «за» и «против», из ритуала голосований и дискуссий,— этим упивается сценарист Цезарь в споре о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный»! — и вход в него мало кому был понятен. Вершиной этого непонимания стала первоначальная оценка повести Л. Копелевым — видимо, в свете эпизода вдохновенного труда главного героя на кладке стены! — в таком нормативном духе: «Это типичная производственная повесть. Да еще перегружена деталями».

Войти в совершенно особый внутренний мир «аполитичного» крестьянина, для которого казенный, даже тюремный кирпич и труд «в охотку» оказались органичнее, интереснее всех «теоретизмов», всех голосований, критик не смог... Что за катарсис, очищение и освобождение пережил герой в сцене труда, забыв об охране, о неволе, не ожидая награды, даже похвалы?

* * *

...Уже первые мгновения жизни Ивана Денисовича на глазах, а вернее, в сознании, читателя-соучастника говорят об умной независимости, умном покорстве судьбе и о непрерывном созидании своего духовного пространства, внутренней устойчивости, фактически из материала несвободы, которым плотно заполнена, угрожающе заставлена вся внешняя жизнь этого героя. Творится сознание, в наибольшей мере живущее не по лжи, выпадающее из-под свода догм тоталитаризма и тепловатого либерализма Буйновского. Иван Денисович не будет долбать, как Буйновский долбает охранников: «Вы не советские люди!» Именно советские, да еще самые совершенные... Слушая, как мудро обличает «кривлянье» угодника тирана Эйзенштейна в фильме «Иван Грозный» жилистый интеллигент, верный и через двадцать лет каторги памяти трех поколений русской интеллигенции (т. е. декабристов, революционных демократов, марксистов), он замечает: «Ложку передо ртом задержа, сердится Х-123», **«Кашу ест ртом бесчувственным**, она ему не впрок». Это, может быть, косвенная оценка той «каши» в мозгах, которая давно сварена для всех простаков, измерявших тысячу лет русской истории пресловутыми тремя этапами, освещавших ее деяниями тех, кто брал топор или звал Русь к топору...

Иван Денисович предупредительно откашливается, «стесняясь прервать образованный разговор», ему как будто нечего добавить на те разные чаши «весов», где перетягивают друг друга «этика» и «эстетика», пресловутые «что» и

«как сделано». Он подобен безымянному герою, зэку у таежного костра, из песни Ю. Алешковского, который всю премудрость лозунгов, крылатых девизов об «искре», из которой «возгорится пламя», из названий газет вроде ленинской «Искры» свел вдруг к народному, снисходительному итогу, к выводу, обескураживающему не одних сталинистов, а всех «образованцев»:

Из искры здесь (в России.— *В. Ч.*) вы раздували пламя,
Спасибо вам: я греюсь у костра...

Костра Ивану Денисовичу эти мудрецы, спорящие о том, что в искусстве важно не «что», «во имя чего», а сюрпризы формы, «как» (как сделано, как решено), разжечь не могут. Они даже забыли поделиться горсткой табака. «И Шухов, *поворотясь*, ушел тихо...» Это как бы его довод, его оценка очередных «теоретизмов», идущих вновь поверх жизни.

Как многозначительно это «поворотясь»! В сущности, образованцы, способные спорить о «плохом» (сталинском) и «хорошем» (ленинско-свердловском) терроре, не могут взглянуть на историю... сквозь решетки ГУЛАГа! Они их как бы не видят! Такой диалог мог бы произойти и в курилке Ленинской библиотеки, и на курорте...

* * *

В общем, мели, Емеля... Снисходительное равнодушие Шухова к «образованному разговору» — это первый, между прочим, намек на «образованщину» как на некий самый утонченный, логически безупречный способ жить по лжи. Резкий поворот Солженицына к Ивану Денисовичу, к народному характеру, к человеку, в наименьшей степени живущему по лжи, особенно по сравнению с «центровой образованщиной», прекрасно знающей, какую «трактовку» темы «пропустили» бы, за какой «собачий заказ» следовала сталинская премия,— этот поворот у Солженицына созрел, видимо, давно.

После появления статей Солженицына «Образованщина» и «Жить не по лжи» стало очевидным, что повесть и была весьма многогранным «камушком», который имел адресом двуликого Голиафа: летел он в тоталитарную тиранию и умело оппонировавшую ей «образованщину». Если говорить обобщенно о феномене сознания Ивана Денисовича, то следует прежде всего сказать о крайней настороженности его к любым абстракциям, «теоретизмам», гаданиям и пророчествам «трех поколений интеллигенции». Весь инструмент души героя, кажется, настроен совсем не на то, чтобы свести воедино вопросы и ответы, дать свод мудрости, разумно

одолеть «угнетающий дух бессмысленности» под видом размеренного лагерного порядка. Герой, кажется, думает про себя: заслушаешься иного теоретика, образованца, «левого» или «правого», как заслушивались им его деды и отцы,— и, глядишь, опять придется «благодарить»:

...Спасибо вам: я греюсь у костра.

Все эти догадки, забегания вперед к «Образованщине», к публицистике крайне необходимы, чтобы понять всю природу монументального — это уж точно — характера Ивана Денисовича. Солженицын в 1962 году как бы убрал строительные «леса», не объяснил: где и когда произошла в нем своеобразная переориентация на ненаучное, антитеоретичное, предельно народное сознание? Он эти «леса» построит в романе «В круге первом», объяснив, сложно и диалектично, суть влечения Глеба Нержина именно к дворнику Спиридону и отталкивания от «образованца», филолога Рубина. Что ж? Бывает и так: постройка закончена, а строительные «леса» возводятся... вслед, и стоят затем где-то поодаль.

НАРОД — ЭТО ТЕЛО БОЖИЕ

«Преднаучное», упрямо выпадающее из всех ритуалов сознание Ивана Денисовича вовсе не сводится к состояниям наивности, удивления. Герой предельно умно и верно, всегда духовно откликается на ситуации, любое мгновение жизни, на все огромное событие лагеря.

Но все эти «отклики» скрыты, растворены, притушены в потоке простейших, однозначных, внешне крайне «ничтожных» надежд, определений, предвидений, они растерты по плоскости:

«Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора **времени своего, не казенного**, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку... или пробежать по камеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Куземина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: **кто миски лижет**, кто **на санчасть надеется** да кто **к куму** ходит стучать...»

Можно сказать, что не велика сия мудрость,— это уловки «зверехитрого» выживания... Лагерные «экзистенциалы» — Голод, Сон, Страх, Холод, все, что «не-Я»... Профессиональный иронист скажет еще резче: «Если навыки и убогие приемы выживания идентифицируются с самой жизнью, то чего стоит в духовном плане эта жизнь?» Не случайно Солженицын обмолвился о зэках: «зверехитрое племя»... В этом племени мудрее всех, выходит, тот, кто... невзыскательнее, примитивнее? Напрашивается и другой вывод. Изжита будет страшная действительность лагеря, и тогда ненужной, устаревшей станет вся эта... «мудрость».

Следует заметить, что часть современной критики почти готова обесценить подвиг Солженицына. Брюхо — злодей, вчерашнего добра не помнит... Стоит ли вспоминать все «камешки», что бросал он в Голиафа, если Голиаф... успешно повержен? Критик Л. Аннинский почти готов обесценить даже прекрасное искусство сказа, которым владеет Солженицын в «Одном дне...», тем более словарь повести, «протестующий» против засорения языка. Он сказал о выветривании подвига: «Узких специалистов чистой филологии Солженицын обеспечит хлебом надолго. Очень уж демонстративна своеобычность речи: взывает к оцениванию и анализу. Даже словарь особый скоплен. Но дело в том, что в барокамере тоталитаризма, в бараке лагеря, в бардаке безличия (в том числе и словесного) этот тип речи, эта манера на каждой фразе ставить личное клеймо есть символ неподчинения норме, символ сопротивления, символ вызывающего поведения. Это оружие! **Вне поля боя — это украшение. Это излишество: щегольство, искусственность, нарочитость»** (выделено нами.— *В. Ч.*).

Спорить с этим тезисом — «выветрилась», мол, гора, проржавели ненужные словесные доспехи после победы — не очень хочется: за всем этим стоит уже равнодушие не к слову, а к составу и смыслу душевных движений, калейдоскопу чувств и помыслов Ивана Денисовича. Как мы самоуверенны, даже видя удручающие современные «окрестности» человека! Свой приговор Л. Аннинский увенчивает той своеобразной похвалой, которой когда-то удостаивался, скажем, Некрасов: «Что за талант! Но что за топор его талант!» Он пишет: «ГЕНИЙ БОРЬБЫ! Будет борьба «в прежнем режиме» — будет нужен и гений, который заодно сделает работу и за посредственных публицистов».

* * *

Каков же тот непрерывно созидаемый, огражденный мир, в который и уходят тихие помыслы Шухова? Как определяются ими его видимые деяния и поступки?

Вслушаемся в тот неслышный монолог, который звучит в сознании Шухова, идущего на работу в той же колонне по ледяной степи. Он пробует осмыслить вести из родной деревни, где то укрупняют, то дробят колхоз, где урезают огороды, насмерть душат налогами всякую предприимчивость. И толкают людей на бегство от земли, к странному виду наживы: к малеванью цветных «ковров» на клеенке, на ситце, по трафарету. Вместо труда на земле — жалкое, униженное искусство «красилей» как вид предпринимательства, как очередной способ выживания в «чокнутом», извращенном мире.

«Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: **в обход идут и тем живы**.

В обход бы и Шухов пробрался. Заработок (у «красилей».— *В. Ч.*), видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде бы обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. **Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать**. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь»

В свете этих раздумий становится понятно снисхождение, с которым Шухов встречает тот же «образованный разговор» о фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный» Он мог бы и Цезарю Марковичу с его восторгами (какой эстетический прорыв в фильме — «пляска опричников с личинами»!), и жилистому интеллигенту, увидевшему в фильме глумление над тиранобойцами Пестелем — Желябовым — Юровским, сказать: «Не ешьте всяческую кашу ртом бесчувственным, она вам не впрок!»

Все эти дискуссии — для него как бы путь в обход. Они тоже «прямую дорогу людям загородили». Да и где она, эта прямая дорога, если стихия говорильни толчет души, наделяет их фразами, лозунгами, обрывками «аргументов».

Иван Денисович давно и прочно отверг весь костюмированный мир «идей», лозунгов, всяческой пропаганды в лицах... На протяжении повести герой живет с удивительным

пониманием происходящего и отвращением ко лжи... Он ничем не совращен, ничто здоровое не предал, ничего не расточил. В то же время он странно готов к покаянию за все, что к нему нечаянно прилипло.

Отношения Шухова к людям, его оценки, приливы негодования и расположения и определяются жаждой оградить и укрепить эту здоровую, нормальную систему оценок, суждений, достоинство труженика. Ему не просто окурок нужен от Цезаря Марковича, и в лагере получающего посылки, имеющего меховую шапку и домашнее белье. Ему нужна своеобразная, пусть мелкая победа над шакалом Фетюковым, какой-то урок этому невольному разлагателю и его души. Фетюкова нельзя поставить и чашки с баландой стеречь: «С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил...» И когда Шухов лишил Фетюкова дарового окурка, то главное для него не в горячем дыме, огне: «Главное, он Фетюкова-шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня».

С другой стороны, Шухов как бы замирает с почтением, когда видит, что его же способы защиты своего достоинства, нормальной нравственности, вечных предпосылок здоровой жизни получают подтверждение — и лучшее, гордое завершение — в других. Он сразу приметил, что и бригадир Андрей Тюрин не опустился, что он снимает шапку за едой: «Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич...» Еще более внимательно рассматривает он неведомого ему старика интеллигента в столовой — на мой взгляд, это лучший портрет Варлама Шаламова в лагере! — живое воплощение уцелевшего разума, достоинства, следования не высказанной вслух заповеди:

Неволя заставит пройти через грязь,
Купаться в ней свиньи лишь могут...

Купаются в грязи блатные со всей иерархией «паханов» и «шестерок», не позорна грязь мелочного властолюбия для «придурков» и Волкового. Но есть еще люди, сохранившие в окрестностях души и ее сердцевине Бога, «реки воды живой». Они не дали себя связать соучастием в преступлении...

Чем поразил Шухова этот старик, «досказавший», выразивший без слов и его умное достоинство? Тем, что в нем как бы не сломалась, не согнулась, не рассыпалась в прах «внутренняя вертикаль», веленье Божие, воля к жизни не по лжи.

«Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он

еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, *но не уходил головой в миску,* как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не *до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного.* И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживания придурком. А засело-таки в нем, не примирится: *трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стираную*».

ОСВЯЩЕНИЕ ПОРУГАННОГО ХРАМА...

Но сколько бы ни было внешних опор, заемных «дощечек» для ограждения внутреннего мира, Иван Денисович бессознательно ищет завершения себя, своих надежд, верований в человека и жизнь. Нет, она для него все же «не болезнь и не недомогание природы». Даже если все вокруг переполнено уродствами, обманами, унижением человека. Целую коллекцию уродств, понятных ритуалов обмана, игр в победы расшифровывает и для читателя зоркий глаз и нравственное чувство Ивана Денисовича. Хорошо «закрыл процентовку» бригадиру, значит теперь «пять дней пайки хорошие будут». И не думай, «уж где он там работу нашел, какую — это его, бригадирова, ума дело...» Удалось украсть рулон толи, пронести его мимо охраны и прикрыть окна, рабочее место от ледяного ветра — тоже хорошо, хотя и опасно, рискованно: «Ладно придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой, **как человека третьего,**— и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно».

Но эти деяния, комичные и жуткие способы реализации формулы «голь на выдумку хитра», так до конца и не пленили ни мысль, ни чувство Шухова. Так или иначе все эти уловки, приемы выживания навязаны лагерем. Герой интуитивно, на уровне предсознания, без всякой «теоретической» оснащенности — эта оснащенность резко возрастает затем у героев романа «В круге первом» — борется против второй натуры или внутреннего плена, который создает, внедряет в него лагерь. Жорж Нива справедливо заметил: «Психологи знают, что этот стиснутый, зажатый

космос создает глубокую привязанность к закрытости, тайный страх перед ее разрывом. Круг «заключенности» въедается в души уцелевших. За высокой радостью освобождения есть еще не осознанная радость остаться под замком. Нет сомнения, что Солженицын должен был бороться с самим собой... Но совершенно ясно, что писатель-Солженицын освободил — если и не исцелил полностью — Солженицына-человека».

Если жить хитрой выдумкой отчаяния, звериной сообразительности, то скоро придешь и к воровской морали: «Умри сегодня ты, а завтра я». А Шухов даже отцовские чувства способен испытывать — скажем, к тому же «ласковому теленку», хитрому «зайчишке» Гопчику, догадывающемуся и проволоку алюминиевую принести Ивану Денисовичу: «Иван Денисович! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?»

Собственно, весь лагерь и труд в нем, хитрости выполнения плана и приработка, строительства «Соцгородка», начинающегося с создания колючего ограждения для самих строителей,— это растлевающий, страшный путь в обход всему естественному, нормальному. Здесь опозорен, проклят сам труд. Здесь все разрознены, все жаждут легкого «огневого» безделья. Храм поруган и загажен. Все помыслы уходят на показуху, туфту, имитацию дела. Обстоятельства заставляют и Шухова как-то приспосабливаться ко всеобщему «обходу», деморализации. В это же время, достраивая свой внутренний мир, герой оказался способным увлечь и других своим моральным строительством, вернуть и им память о деятельном, непоруганном добре. А проще говоря, Иван Денисович вернул и себе и другим — пусть ненадолго! — ощущение изначальной чистоты и даже святости труда.

Вся знаменитая сцена кладки стены, эпизод раскрепощения, в котором преображается вся бригада — и подносящие раствор Алешка-баптист с кавторангом, и бригадир Тюрин, и, конечно, Шухов,— это одна из вершин творчества Солженицына. Унижена, оскорблена была даже охрана, которую забыли, перестали страшиться, невольно умалили и превзошли! Можно сказать, если бы не устрашала пошлость риторики, что вся сцена — это гимн, песня, молитва свободе. «Вы меня ловили, но не поймали...»

Парадоксальность этой сцены в том, что сферой раскрепощения героев, их взлета становится самое закрепощенное и отчужденное от них — труд и его результаты. К тому же во всей сцене — ни намека на пробуждение братства, христианизацию сознания, на праведничество, даже на со-

весть, о которой Солженицын говорил в пьесе «Республика труда». В дальнейшем Солженицын не избежит морализаторства, будет выстраивать теоретические и философско-публицистические «леса» вокруг очередного народного характера — дворника Спиридона («В круге первом») и солдата Благодарева («Красное колесо»). Он явно будет противопоставлять их «образованщине» как людей, в наименьшей мере живущих по лжи. Здесь же — строительные «леса» остались за кулисами:

«Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами, мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий — не могли их мыслей отвлечь от кладки...

Бригадир от поры до поры крикнет: «Раствору!» И Шухов свое: «Раство-ору!» Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится».

Может быть, именно поэтому так унижен был и десятник Дэр, вздумавший испортить праздник, «ум выставить», угрожать Тюрину очередным сроком за использование того рулона толи, который пронесли Шухов с Кильдигсом, прижав между собой, «как третьего человека».

Идеальный порыв Шухова и всей бригады, на миг превратившейся в семью апостолов вокруг Христа (тут, правда, есть даже и свой Иуда — шакал Фетюков!), осуществляется в страшной атмосфере. Время «срока давать» — по очередному доносу, хамству, в силу навыков, ради прихотей высокомерия — еще совсем не прошло. И ложь, создаваемая даже костюмированными писателями 50-х годов, еще прочно царила в литературе. Она на свой лад заклинивала мир, придавала видимость **прогресса** всему неестественному, «чокнутому», предписанному, ведущему **в обход**. Не обязательно — через лагерь. И можно, конечно, понять всю злость и сарказм Солженицына, когда он «открывает» сцену в лагере в пьесе «Республика труда» музыкальным приглашением из песни «Вперед, заре навстречу»:

Мы поднимаем знамя,
Товарищи — сюда!
Давайте строить с нами
Республику труда!

В «Одном дне...» такой бьющей на эффект иронии, а проще говоря, публицистичности, к счастью, нет. Но вся

повесть и эта сцена труда на ледяном ветру содержат более грозное и непреходящее обвинение несвободе, искажению человеческой энергии, поруганию труда. И глубоко прав критик М. А. Лифшиц, сказавший об этом произведении: «В нем есть нечто большее, чем литература. Но это не жалоба, а спокойное и глубоко взвешенное изображение трагедии народа... Она (повесть.— *В. Ч.*) поднимает уровень нашего сознания».

ИВАН ДЕНИСОВИЧ — ПРАВОФЛАНГОВЫЙ В НОВОМ «СТРОЮ»?!..

Успех повести был поистине чрезвычайным, но, как это сейчас очевидно, слишком управляемым, «суженным», тенденциозным. Выяснилось, что редакция «Нового мира», восхищенная «статьей» (так зашифрована была повесть), видела в ней прежде всего только прорыв к лагерной теме. Правда, в специфической форме: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Герою повести отведена была, как и другим мужикам — Кузькину из повести «Живой» Б. Можаева, Ивану Африкановичу из «Привычного дела» В. Белова,— внешне почетная роль: правофланговых в новом, либеральном «строю» борцов с культом. И только. Ничего — кроме, ничего — невпопад... И даже эту частную, лагерную тему — если судить по записям самого Солженицына! — повесть как бы сразу и закрывала, исчерпывала. Она съедала лимит, квоту на «ужасы», становилась как бы частью разрешенной, дарованной свыше правды! «А пятидесяти миллионам, погибшим в ссылках и лагерях, довольно было бугорка моего рассказа!» — заметит Солженицын все лукавство этой похвалы. Он-то собирался возвести целый курган, выстроить пантеон, мемориал, «Архипелаг ГУЛАГ», роман «В круге первом».

Естественно, что главные критические отзывы в прессе, в большинстве своем либеральной, были крайне целенаправлены и узки: повесть — удар по сталинизму, этап возвращения общества «к ленинским истокам». Она вызвала «ледоход» на очень узком участке фарватера. Сейчас многое в этой узости восприятия стало очевидным.

Либеральный деспотизм — это тоже принудиловка. С одной стороны, всеми критиками громко декларировалась перемена, внесенная повестью: «Небольшая повесть — и как просторно стало в нашей литературе» (И. Друце). Но простор этот оказывался достаточно суженным. Активнейший либеральный публицист 90-х годов А. Стреляный, словно опомнившись от лихорадочного одностороннего изумле-

ния, сейчас вспомнил: «Среди этих вопросов (к Солженицыну.— *В. Ч.*) не было главного: он кто — материалист или идеалист, безбожник или верующий?» Естественно, никто не спрашивал тогда, как он относится к... Ленину или Столыпину, к Николаю II или Троцкому.

Ледоход 60-х годов не затронул эти полосы льда. Больше того. «Грешные дети» соцреализма монопольно ведали дозировкой правды, крупицами информации о Феврале и Октябре 1917 года, о казни царской семьи в 1918 году, о Столыпине и Учредительном собрании. Ложь еще была порой... либеральной добродетелью! Возникло строго плановое свободолюбие, некий «всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги» (Достоевский) в похвалах и порицаниях.

Актер театра «Современник» М. Козаков косвенно признал эту тесноту и духоту всеобщего психоза либеральной лжи. Театр его «заказал» трилогию «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики» к юбилею Октября (1967). А. Свободин, Л. Зорин, М. Шатров создали, не смущаясь заданности, трилогию, О. Ефремов поставил ее, но... «Актеры чем дальше играли, тем больше *чувствовали какую-то тоску*. Дело было не в публицистике, которую всегда скучно играть многократно, а в уязвимости пьесы («Большевики» М. Шатрова.— *В. Ч.*), в том, что к этому времени уже нельзя **было все валить на культ личности Сталина.** Хотелось понять, как он, этот самый культ, и все с ним связанное, возникли. Через год я написал эпиграмму:

Вливаясь в хор всеобщих од,
Подняв на сцене мощный ор,
Сегодня, братцы, ровно год,
Как голосуем за террор».

* * *

Бесспорно, в этих условиях характер Ивана Денисовича не мог быть понят до конца — особенно в его возможностях. Как и сложный талант самого Солженицына. В лучшем случае усматривали какие-то взаимосвязи Ивана Денисовича с Платоном Каратаевым. Но даже сейчас эта связь отвергается — во имя политизации, антикультовской активности (почти «ленинец») Шухова, исполнения им заданной роли! «Шухов не вписывается в заданный Толстым «каратаевский идеал» именно потому, что не **округл**, не смирен, не спокоен, не растворяется в коллективном сознании»,— пишет уже в 90-е годы критик А. Архангельский

Но ведь его «беспокойность», не смиренность вовсе не подверстываются к общему хору изобличителей культа личности?! Если угодно, этот характер — камешек и в сторону либеральной интеллигенции, и дальше — в сторону Ленина, Октября 1917 года. Ведь речь в повести идет не о судьбе тысяч аппаратных соперников Сталина, не о проигравших свои игры ему обитателях Кремля или «дома на набережной». Искривлен путь России, деревни, сам Иван Денисович греется у костра, «искры» для которого раздували кое-кто и усерднее, и «теоретичнее» грубого исполнителя «заветов» Сталина. Судя по записям А. Кондратовича («Новомирский дневник»), Солженицын встречал стену непонимания при любой попытке шагнуть за черту. В его глазах «Новый мир» буксовал, он же — двигался.

Любопытно, что Твардовский, которого повесть, а затем и рассказ «Матренин двор» подвели к обсуждению кардинальных вопросов истории России, смысла революций 1917 года, роли Ленина, вдруг ощутил, что и ему уже надо или «сгибаться под прежним догматическим потолком», славить «хороший» террор, или, «вздрагивая от чутья правды, опережающего и слух, и глаза поэта», выталкивать нечто перед собой, как бульдозер, разваливать целые баррикады, авгиевы конюшни догм. Для него начался, как убедился Солженицын, совершенно своеобразный внутренний «ледоход».

Однажды он, вспоминает Солженицын в «Теленке», заявил «с раскаянным стоном»:

«— Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!

...Как? — мы и этого простейшего не понимали? в недоумении, как все еще переослепленный светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:

— Так ведь если б не революция — не открыт бы был Исаковский! <...> А кем бы был я, если б не революция?..

Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев, Клычков — стали **без революции**? А что получили от нее?)».

Солженицын, конечно, изображает «гамлетизм» Твардовского, его терзания в тисках — между догмами «Передового Учения» и интуитивным ощущением их устарелости — субъективно, по законам своей художественной Вселенной: он все время снисходит к нему, еще совсем не «просветлевшему», он взирает как бы с неких мессианских высот. Это, впрочем, его право, скорее, его прием... Он сам опередил события, Твардовский же — «аутсайдер».

«— Александр Трифонович, вы «Вехи» читали?..

Нахмурился А. Т., вспоминая:

— О ней что-то Ленин писал!

— Да мало ли что Ленин писал... в разгаре борьбы,— добавляю поспешно,— без этого — резко, без этого — раскол!»

* * *

Справедливости ради следует сказать, что Солженицын глубоко уважает искренние муки Твардовского, человека, застигнутого «ледоходом» и мечущегося среди движущихся «льдин», рвущего поводок. Хитрецы из его окружения, сквозь строй которых должны были проходить и «Матренин двор», и «В круге первом», прекрасно знали, что именно писал Ленин о «Вехах», и о «двух культурах в каждой культуре», и о «хорошем» терроре, и об атаке на церковь в 1921 году. Эти теоретики, по терминологии Солженицына, типичные «образованцы» или «центровая образованщина». Ткачи, способные соткать целый покров умной лжи над реальностью. Люди-винтики, составная часть идеологического механизма, действовавшего в те годы по принципу: «**Объявили** (в ЦК КПСС.— *В. Ч.*) — **объяснили** (в секторах научного коммунизма.— *В. Ч.*) — **воспели**» (задача прикладных «искусств» вроде публицистики, журналистики — *В. Ч.*). И совсем не случайно. А. Дементьев мгновенно сомкнулся с В. А. Кочетовым, когда появилась некая «третья» правда, выпадающая из ритуала борьбы «за дух» XX и XXII съездов и против этого «духа» (т. е. против десталинизации), когда вдруг вспомнились фигуры К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева и — совсем страшно — Серафима Саровского!

Солженицын позднее скажет об отличии этой «центровой образованщины» от таких, как Шухов или крестьянка Матрена:

«Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна... редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих...

Но — центровая образованщина! Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в «гневных» протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, еще развивая и укрепляя ее средствами своей элоквенции и стиля!»

ГДЕ ОН, МАТЕРИК РОССИЯ?

Алексей Кондратович, заместитель Твардовского в «Новом мире», уже в 1967 году заметил, что Солженицын с историей явно «на ты»... И по мелочам, и в крупных делах. Пройдет ли его рассказ «Захар-Калита»? Он почти не боится цензуры, не ищет покровителя:

« — Пройдет без особой задержки...— бегло бросает он (Солженицын.— *В. Ч.*) ошалевшему от перегрузок, борений и тяжб с цензурой Кондратовичу.

— Почему вы так уверены?

— За меня история...

— История мало интересует аппарат. Аппарат интересует, кто сказал «а». Тогда при «Иване Денисовиче» был Хрущев...»

Естественно, что и о всех громах и молниях Солженицына в адрес либералов «Нового мира», в адрес «образованцев», уступивших гражданскую смелость «самиздату», певцам и... театру на Таганке, А. И. Кондратович почти не знает. Они зрели, но еще не «гремели» и не «сверкали». Дело было, видимо, в том, что Солженицын — народопоклонник — к моменту написания «Одного дня Ивана Денисовича», «Матренина двора», «Захара-Калиты» еще не выработал многих воззрений на историю русской интеллигенции и советской «образованщины». Он, с одной стороны, еще не приводит ни одного интеллигента на поклон к Ивану Денисовичу, хотя все они его глубоко уважают. С другой стороны, в романе «В круге первом», создававшемся в те же годы, народный интеллигент Нержин всякий раз после споров с «образованцем» Рубиным уже будет приходить на исповедь к сторожу Спиридону...

Поиск Солженицыным народа, разгадка великого Божественного замысла, таящегося в народной судьбе, отразились уже в его лагерных произведениях — поэме «Дороженька», драматической трилогии «1945 год», в пьесе «Пленники». Опять возникает образ «строительных лесов»... Конечно, в этих «подсобных» произведениях очень ощутим книжник, филолог, активный читатель, пловец в книжном море. Один из персонажей «Пленников» Рубин говорит в лагере о решающей роли новых декабристов, о новом антисталинском перевороте. Он молится на новых Трубецких, Рылеевых, Пестелей, вернувшихся в 1945 году «из Европы чистенькой в немытую Россию». Ему горячо возражает другой узник Воротынцев (в будущем эту фамилию будет носить главный герой «Красного колеса»), излагая пробивающуюся на свет идею автора:

Нет, простите, случай ваш — не тот,
Если ожидает нас переворот,—
Дай-то Бог! — то не шипучая дворянская игра
От шампанского, от устриц с серебра,
Не заемные мечтанья, что там было, где,—
Но вот этот кряжистый народ,
Настрадавшийся на баландé...

* * *

Но где найти этот идеальный народ? Только в давних стихах такие уверения в вечной несокрушимости его духа звучат легко. А когда десятилетия прожиты среди гипноза революционных демонов, среди «организованных», т. е. механических, миров, то невольно задумаешься: а как протащить эту высокую веру в народ сквозь весь его быт? Идеализм быстро выветривается в очередях, в непролазных бюрократических дебрях, разрушающих «и труд, и собственность, и время земледельца».

Солженицын помнил жестокие уроки ГУЛАГа. ГУЛАГ, к примеру, не знает романтики — в том числе и почвенной, славянофильской. На входе в него — призыв: «Не падай духом!» На выходе — отрезвляющее напоминание: «Не слишком радуйся!» «Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь Архипелага и на жизнь обмывающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка»,— скажет позднее Солженицын.

Но каков ключ к кладовой здорового народного духа? Где начинается материк Россия, а не экспонаты ее помпезного величия и не острова Архипелага ГУЛАГ?

Автор «Одного дня...» в период жизни в Рязани, создания «малой прозы» и романа «В круге первом» был так похож на одинокого скитальца, верившего в народ и терявшего эту веру, бессильно восклицавшего:

Где там, что она, Россия,
По какой рубеж своя?

«Своя» — не зараженная гипнозом лжи, «чокнутости», не одичавшая, распознающая притворство костюмированных писателей, не раз переодевавшихся в очередные одежды, дающих нужные «трактовки» истории и народной судьбы. Можно сказать, что даже между двумя рассказами — «Матрениным двором» и «Случаем на станции Кочетовка» — обширнейшее поле колебаний и сомнений писателя.

Кто такой лейтенант Вася Зотов из рассказа о военном лихолетье «Случай на станции Кочетовка»?

На первый взгляд это как будто тот нравственный ру-

беж, где начинается «своя» Россия. Не оказененная, почти идеальная, даже праведническая. Здесь священные слова о Родине вовсе не служат лицемерным прикрытием карьеризма. Вася Зотов — один из тех юношей 1941 года, которые сохранили нравственное здоровье, дар милосердия, врожденную высоту души. На станции Кочетовка осенью 1941 года, он, сотрудник линейной комендатуры, оказался в сердцевине народной жизни. Проходят и опаленные огнем эшелоны с окруженцами, отчаянными людьми, готовыми вырвать силой свой «паек» — хотя бы разворовать из мешков муку. На станции толпятся и явные жулики, «социально близкие» всем привилегированным чинушам — вроде хамоватой завстоловой Антонины Ивановны с ее воровской сытостью, мордатыми поклонниками в полувоенной форме. Зотов догадывается и о нечистоплотности Саморукова, ларечника из продпункта, отпускающего продукты «с видом одолжения» даже фронтовикам. События на фронте — прежде всего отступление — вносят в душу Зотова страшный разлад: «потребность выть вслух», ужас, «клешнящий сердце», и боязнь паникерства, оскорбления всезнающего Отца и Учителя.

Зотов способен понять и простить и окрестный деревенский люд, выносящий на платформу вареную картошку, угадывая голод в эшелонах с эвакуированными («выковыренными»). Пусть меняют нехитрые продукты на мыло («продукт дефицитный — дефективный»), на чулки, на ночные рубашки!..

Зотов не всегда помнит о своей форме, о власти, ему врученной: он способен поддаваться чувству естественной доброты, сострадания. Почти случайному человеку, отставшему от эшелона, без документов, без формы,— по формальным признакам явному дезертиру! — он вдруг пересказывает всю историю своих юношеских иллюзий 1936 — 1941 годов:

«Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася.— Идет испанская война! Фашисты в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку,— нет, учат немецкому... Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! **Но в газетах ничего такого нет...»**

Собственно, в газетах, манипулировавших судьбами миллионов воль, сознаний, не было ничего из того, что скрывалось, решалось в мировой закулисе. Юноши, подобные Зотову, искренне сожалевшие о том, что «опоздали» на гражданскую войну, воспитанные на бесчувственной революционной «романтике расстрелов», не знавшие, скажем, трагедии юнкеров 1917—1918 гг., убиваемых просто за форму, за интеллигентский вид, были ограждены от глубокой тайны: от усиленного, особенно к 1939 году, после Мюнхена, «игр» Англии и Франции, торга... с той же Германией! Вася Зотов воспринимал лишь поверхность событий, ее зыбь, отраженную в агитках. Романтика революции могли грубо и подозрительно встретить прагматики из военкомата: «Кто вас подослал? Надо будет — позовем! Кру-гом!»

Еще до встречи с Тверитиновым, этим случайным «дезертиром», жертвой хаоса, в Зотове все время свершался процесс «оттаивания», ломки. Ведь если есть всезнающий вождь, если явно творится история, то и жить надо «исторично»! Но окружающий народ почему-то вносит поправку, хочет притворно надеяться «на бога» (т. е. Сталина), но и сам не хочет «плошать» (в труде на своих огородах). Вася Зотов слушает с невольным возмущением житейские дрязги о «втором хлебе», картошке, о коровах, которых нечем кормить, о «подселенцах», втиснутых в избы и коммуналки: «Окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта,— они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте».

Людская бесстрастность к боям 1941 года под Смоленском, к мелодиям тоски и смертельной печали (тому же «Синенькому скромному платочку»), конечно, явно преувеличена. Как, впрочем, преувеличен и «задержан» зотовский авангардизм: так, явным заострением идеализма героя, какой-то самоиронией выглядит изображение ночных чтений Зотовым «Капитала». Может быть, Солженицын казнит здесь и себя, и Твардовского как засидевшихся в этом «классе» приготовишек? «Когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти — *он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке*».

В краткий миг встречи Зотова с Тверитиновым становится ясно, что «вложили» в Зотова и чего в него явно «недовложили», чем его обделили. Безусловно, уже в школь-

ные годы в него вложили понятие: народ равен, адекватен государству... Что государство и тем более партия... существеннее, выше, как бы главнее рыхлого, спорного понятия «народ»! И чем полнее сольется народ в государство, растечется по его каналам, казармам, шеренгам, структурам, тем он станет «лучше». Кто ныне честь и совесть эпохи? Тот, кто в наибольшей мере впитался в структуру власти, усвоил ее дисциплину, мораль. Кто твердо понял, что Родина — это пространство для построения коммунизма. В этом ее высшее призвание, ее истинная история.

Война слегка разъединила догматические понятия «народ» и «государство» и соединила их вновь уже менее теоретической связью. Зотов уже терпеливо слушает «контрреволюционные» речи старика Кордубайло, который защищает голодных окруженцев, в голодном порыве разграбивших мешки с мукой: да, мука народная (т. е. государственная), но и «ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ». Народ, спасающий себя от уничтожения, от душегубок Гитлера, а «пространство» от грабежа, захватов, как бы спасает, увы, и теорию научного коммунизма, и самих экспериментаторов. Пока они затаились, тоже подняли портреты Суворова и Кутузова, «царских генералов». Но потом они вновь извлекут пузатый «Капитал».

Но как трудны им эти «уступки»!

Кордубайло, назойливый старик, твердит уже, что государство весь народ как бы не покрывает, не представляет, что оно заботится лишь о тех, кто «на службе». И оно делает это тоже с трудом — и вот лейтенантик Дыгин едет с продаттестатом, а отоварить его — ему негде! Об остальных же (эвакуируемых, окруженцах и т. п.) государство вовсе не заботится: вот они и едут как бы по чужой стране, без права на карточки, продукты[1].

Наибольшая мера отхода души Зотова от всяких иллюзий и догм — интуитивное сострадание к «бесхозному», полугосударственному человеку Тверитинову. У Зотова есть все знаки государственности: он сидит в служебном кабинете, на нем мундир, как броня. Над ним — портрет железного наркома Кагановича, сулящий ему, между прочим, и повышенный железнодорожный паек.

---

[1] Новые поколения читателей Солженицына едва ли понимают скрытую остроту этих «крамольных» речей. В годы моего военного детства мы тоже бездумно, ликуя глядели, как выполнялся призыв: не оставлять врагу полей с пшеницей, сжигать все склады с продовольствием, травить собственный скот! «Горела земля» под ногами оккупантов, но ведь всех продуктов питания лишались и миллионы советских людей, оставшихся под пятой врага! Об этом как-то «не думалось»...

А что такое Тверитинов? Хуже, чем зэк без номера... Он не знает ни номера своего эшелона, ему даже и шинели не досталось. Да и едет он то в теплушке из-под угля, то в вагоне с ватными одеялами... И самое страшное — у него нет никаких документов: только семейные фотографии!.. Зотов — это крайний предел неформальных отношений, перегрузка его свободы! — поверил этим акварелям иного быта: «Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий...»

Пожалуй, эти трогательные слова лучше отнести к состоянию зыбкого сострадания, «расказенивания» сознания Зотова: сквозь все пласты риторики, иллюзий и бездумной догматичности словно проглянул и в нем Иван Денисович! Твардовский скажет о подобном состоянии доверия, единства: «...наши свиделись сердца...» Среди проклятой карусели войны, агрессии толп, грязи изнывающих, оголодавших эшелонов вдруг пробилось что-то не просто довоенное, а как бы... дореволюционное! «Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков».

Да кто же мог в него вложить то, что в исторической России было столь понятным? Ведь для Зотова давно исчез и смысл пасхального богослужения, едва ли он слышал колокольный звон. В его душе не было еще опыта претворения зла в добро через сострадание. Россия Тургенева, дворянских гнезд, чеховских «сестер», бунинского «суходола» — где она для Зотова?

Критик Л. Ржевский, работавший в США, заметил, что среди многих черт педантизма, юношеского порыва к званию первого ученика «еще выше у Зотова — ощущение долга». Все это так, но герой оказался, к его чести, способен смягчить веления долга, скорректировать догмы. Он далеко отошел от долга, доверчиво рассматривая домашние фотографии Тверитинова. А ведь мог сразу потребовать... прочные документы!

Но как зыбко, как тревожно это недолгое сближение, весь «случай»! Тверитинов невольно спасает себя, но не актерствуя, а расслабляясь, отдыхая душой рядом с этим добрым, еще не наглухо заколоченным в догмы юношей. Он покоряет этого «юношу стального поколения» (М. Светлов) как инопланетянина, покоряет какой-то неведомой тому цивилизацией души, мягкостью, верой в домашний очаг как величайшую историческую ценность.

Тверитинову и в голову не придет ни сейчас, ни после войны изнывать над «Капиталом». Он и сейчас не может найти похвальных слов в честь Горького.

Может быть, эта открытость, «домашняя» доверительность, даже хрупкость души и убеждают Зотова? И одновременно... оцепеняет его, пугает: ведь, уступая, жалея, он и сам «разбронируется», вот-вот станет уязвимей!

Диалог героев предельно зауряден и трагичен. Но сквозь паузы, умолчания как бы видно сожаление Тверитинова: в сотый раз сей юноша читает «Капитал», сушит мозги, ни разу в жизни не заглянув в Библию, в «Историю» Карамзина, не зная даже... текущей истории:

«— ...Да и вообще у нас задавать вопросы опасно,— говорит Тверитинов.

— В военное время, конечно.

— Да оно и до войны уже было.

— Ну, не замечал!

— Было,— чуть сощурился Тверитинов.— После тридцать седьмого.

— А что — тридцать седьмой? — удивился Зотов.— А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

— Да нет...— опять с виноватой улыбкой потупился Тверитинов».

Мелкие диссонансы, обмолвки и удивления, еще не замечаемые, не ведущие никуда... И вдруг обвал, взрыв! Взрыв отчуждения, приступ страха возник, когда Тверитинов с той же виноватой, рассеянной улыбкой, спокойствием взрослого, говорящего с ребенком, переспросил как о чем-то обыденном о прежнем названии Сталинграда: «Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына».

Сразу стало ясно: по какой рубеж своя Россия в идеальном мальчике 30-х годов! Все, что до этого так нравилось Зотову в собеседнике, что так притягивало его, как отсеченная от него часть Родины, истории, духа, оно же его и устрашило! Он вмиг обесценил все лучшее в себе: его человечность предстала в его же глазах как жуткое слюнтяйство, святая простота, «упадок бдительности»! Вмиг обозначилась граница между «своей» и «чужой» Россией и для Тверитинова. Вот по какой рубеж была она своя! Человек в Зотове с виноватой улыбкой исчез, явился обычный жесткий винтик! И напрасен мучительный возглас Тверитинова, сдаваемого Зотовым, своего рода Пилатом, умывающим руки, в комендатуру как дезертира и почти нераскрытого шпиона: «Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол.— **Ведь этого не исправить!!»**

Что захлопывается за его плечами? И не в первый раз! Знающий о реальности 1937 года, Тверитинов, конечно же, предвидит и очередной «срок» себе, и лагерь... И какой обман: везде нравственная пустыня, психоз бесчеловечия! Зотов на всю жизнь, мучаясь от своего шага, ища утешения в запросах в КГБ, где «брака не бывает», запомнит и этот крик, и «при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении».

Истребляя свою элиту, любой народ, конечно, совершает самоубийство. Никакая внешняя шлифовка не в состоянии заменить отмеченность человека перстом Божиим, дара таланта, цивилизации души. Погаснет тихий свет тонкой духовной красоты таких людей, как Тверитинов, и воцарится по всей земле густое, пыльное облако безысходности. Зотов после своего «решения» не усилил «цельность» и «монументализм» характера, но раскололся, ощутил тупик безысходности.

ДВОР ПОСРЕДИ НЕБА

Сколько обломков, сколько трещин в душах, какая непрерывная готовность к «гражданской войне», к самоистреблению! Солженицын, видимо, уже в эти «оттепельные» годы приходил к мысли, что «над человеком и его свободой обязательно должно что-то стоять — не коммунизм, конечно, но то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности».

Но где отыскать это Целое и Высшее, если так искрошен, разбит народ — живое тело Божие, его плоть? Если эта плоть России непрерывно распинается, умерщвляется, обезбоживается? Если сама Россия «раздает» себя, свою историю, землю для образования неких «братских» государств?

Невесел мир его микроновелл, образовавших цикл «Крохотки». Трагичны «Матренин двор» и «Захар-Калита»... Обломки, отчужденные осколки народа, выпавшие из победоносной массы, из колонн, из ритуала прогресса, не знающие заповедей, что «нам нет преград ни в море, ни на суше», часто принимают вид чудаков, странников, праведников. Они бегут от мира, ищут места, где посветлее и потише. Зачем им **это**? Они исходят из мысли, что человек не видит Бога потому, что «пылит» в людском шумном стаде, в толпе, и «пыль» застилает все вокруг и в вышине Надо освободить свою душу из плена, из облака пыли, освободить свет внутреннего горения, тихий свет свечи...

Праведники Солженицына — это вид человеческого бы-

тия, когда происходит очищение «души от химер», догм, их «выселение» и затем свершается «новозаселение» души. Философ И. А. Ильин когда-то сказал о подобном процессе:

«Солнечный луч золотит каждую пылинку так, что она становится «золотинкой»: то же самое совершается и в духе, надо только найти тот Божий луч, от которого каждый предмет начинает сиять, радоваться и радовать. Русская сказка говорит об «избушке», которая по зову путника должна повернуться к нему «передом».

В праведниках Солженицына именно передом, лицевой стороной повернута вся рассеянная народная духовность, навыки жизни не по лжи, дух молчаливого упрека всему грубому и самодовольному, «экспонатному». Чаще всего эти праведники, даже такие смешные, как Захар-Калита, смотритель Куликова поля, строят некий «двор посреди неба» (В. Максимов), двор-мираж, опору для радуги. Они ищут перо жар-птицы...

Как смотрит на них и усилия этого незримого строительства автор?

Вероятно, многое в нюансах позиции Солженицына объяснит исповедь писателя в новелле «Костер и муравьи»:

«Я бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо заселено муравьями.

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаянье забегали, забегали и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились **и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там».**

Судьба человека в мире многовариантна, ее можно сочинять, импровизировать. Даже в богооставленной, насквозь регламентированной стране. И все же подавляющее большинство народа, как эти муравьи, знают один вариант судьбы.

Костер... Что иное, как не костер, да еще какой губительный, часто безотрадный, вся новейшая история России, с ее «экспериментами» над народом, с грандиозными мифами о будущем, с гибелью многих? «Покинула» многих Родина, искореженная, не узнающая детей своих, превращенная в помпезную утопическую громадину, но как «покинуть» ее? И легче ли тогда будет?

* * *

Захар-Калита из одноименного рассказа 1965 года — последнего произведения, опубликованного на Родине,— один из таких «муравьев». И даже не у костра, а на историческом остывшем пепелище. Он, беднейший мужик из села Куликовки, произвел себя в смотрители Куликова поля.

«Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута, кепка посажена косовато, из-под нее выбилась рыжина... На Смотрителе был расстегнутый пиджак — долгополый и охватистый, как бушлат, кой-где и подштопанный, а цвета того же самого из присказки — серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда — мы сперва подумали, орденская, нет — *звезда октябренка с Лениным в кружке.* Под пиджаком он носил навыпуск длинную в синюю и белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить; зато перепоясана была рубаха *армейским ремнем с пятиконечной звездою».*

Солженицын — отличный портретист, если считать портрет, одежду героя средоточием, пересечением застывших, еще неразвернутых или уже завершенных «сюжетов» жизни, дорог героя.

В портрете и в одежде Захара уже странно смещались черты нищеты, «сюжет» жизни разоренной деревни, неофициальной, со знаками власти. Армейское в 50-е годы было синонимом начальственного: отсюда ситцевая рубаха и ремень со звездой, значок, пусть и октябренка. Как это быть без награды в век массовых награждений! Но этот современный Касьян с Красивой Мечи, Бирюк или Калиныч — вспомним «Записки охотника» Тургенева,— ночующий в стогу сена, таскающий в торбе («калите») книгу отзывов посетителей Куликова поля, одержим какой-то странной, почти инстинктивной памятью об историческом прошлом, об украденной Родине. Оно, это прошлое, отнято у него, стало материалом для гаданий, версий теоретиков — он же хочет ощутить **прямую, неформальную** связь с прошлым. Он как муравей на пепелище. Надо отбить Куликово поле у современной «орды». Где она, в чем ее сила? Этого Захар-Калита, собиратель русской силы, не знает. Возможно, что нынешний Мамай для него — всего лишь очередной чиновник по делам культуры.

Конечно, этот смотритель возвышен и смешон одновременно... Куликово поле — беспредельность, великое Небо русской истории. Он же — скорее всего кулик, который,

как известно, свое болото, свою Куликовку, хвалит. Прав критик А. Архангельский, когда замечает: «...не вписывается его неуклюжее богатырство в мелкопоместный ландшафт современности с призванием Собирателя и Хранителя русской славы, оно оказывается невостребованным».

Да и могли ли пройти бесследно насаждение беспамятства, превращение почти всей культуры в игру с четко заученными социальными ролями? Нужно было потревожить тень Дмитрия Донского на время, в 1941—1945 гг.,— воззвали к ней. А затем — опять беспредельный сон, забвение Куликова поля.

И все же этот Собиратель и Хранитель, верящий, что «без его ночной охраны погибло бы Поле», ночующий в копне, не только смешон. Он угрожает «орде» и Мамаю:

«— Не-е-ет! Не-е-ет, я этого так не оставлю! Я до Фурцевой дойду! До Фурцевой!»

Страшно, что ему одному дорого это Поле, что он, как одинокий пророк, нелепо, наивно, но искренне возвещает свою веру. Он — «Дух этого Поля, стерегущий, не покидавший его никогда». А что такое эти министры культуры, вроде упомянутой Захаром Фурцевой? Они никогда не узнают — да и не желают научиться этому! — того строя чувств, который вдруг приходит, как зов с небес, к Захару:

«Он сел, ссутулился еще горше, закурил и курил с такой неутоленной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера и были ему братья, свояки и сыновья, и он не знал теперь, как жить дальше».

Поток своих воспоминаний, косноязычно излагаемых событий битвы идентифицируется для Захара с самой его жизнью. Он живет в них и через них. Все компоненты его смешного бытия переведены, как бы перескочили в это измерение. Он не сможет, конечно, никогда «промыть» глаза на родную историю, с той же Фурцевой, пресловутой «Катькой-министром», или очередной правящей дамой, ему не по силам одухотворить бездуховность. Его воображаемый мир важен для него самого. Но это поражение Захара, предрешенное заранее, значительнее пустых побед! Оно вновь обозначает рубеж отсчета, границу разорения и возрождения. Перед каждым из читателей возникает неотвязный вопрос:

Весь источен сердец наших мир,
В чем желать, в чем искать обновленья?
И жиреет могильный Вампир
Урожаем годов оскуденья...

(К. Случевский)

* * *

У Матрены, героини знаменитого рассказа, изработавшейся, «иззаботившейся» за жизнь старухи из рязанского села Тальнова, нет и той величественно-смешной «идеи», роли, которую как бы выдумал себе Захар-Калита. Да и что ей сберегать в своем полувыморочном углу, рядом с поселком «Торфопродукт»? Разве что свою избу с лавками, горшками, с темноватым зеркалом и яркими плакатами об урожае, часы-ходики да однорогую козу? Может быть, стоило спасти только дивные, не лгавшие ни в чем названия окрестных деревень — Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово,— но и они уже исчезали...

Забегая вперед, скажем, что этот рассказ в чем-то ослаблен заданностью, установкой на конечное, да простит меня автор, возведение Матрены в сан праведницы, обилием психологических пустот, созерцанием ее и морализаторством. Но столь многое мы теперь привносим в Матрену Солженицына из... других «старух», из Анны в «Последнем сроке» В. Распутина, бабки из цикла новелл В. Астафьева «Последний поклон», что эти пустоты почти незаметны: контекст насыщает рассказ Солженицына!

Создается неожиданный эффект психологического расширения, укрупнения портрета. Именно эта героиня Солженицына с ее нехитрыми заботами, с бедными радостями («справила пальто из ношеной железнодорожной шинели») может быть поставлена в один ряд с самыми крупными характерами прозы Солженицына: от Глеба Нержина («В круге первом»), Шулубина («Раковый корпус») до Петра Столыпина и Александра Гучкова («Красное колесо»). Она, может быть, самый яркий символический характер,— если искать символ Родины, былой России, «матушки нашей», прошедшей мучения новейшей, после 1917 года, истории,— во всем творчестве Солженицына.

Не будем, однако, преуменьшать и заслуг писателя. Он выносил свой «контекст», выстрадал этот образ-символ. Незримые «строительные леса», раздумья о народе предшествовали (или воспоследовали) созданию этого характера. В статье «Раскаяние и самоограничение» Солженицын обозначит некую меру праведности, непрерывно возрастающую в одних людях и недоступную другим:

«Есть такие прирожденные ангелы — они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой жижи (насилия, лжи, мифов о счастье и законности.— *В. Ч.*), нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на

Россию, это — праведники, мы их видели, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают,— и тут же погружались опять на нашу обреченную глубину. Мы брели кто по щиколотку (счастливцы), кто по колено, кто по пояс, кто по горло... а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души еще напоминая о себе на поверхности».

В «Матренином дворе» это противопоставление не развито, почти не выдержано: мы видим лишь одного неправедного Фаддея, деверя Матрены, когда-то бывшего ее женихом, принудившего Матрену отдать на своз часть избы. В итоге он и сгубил ее на железнодорожном переезде.

Такое ли уж страшное зло этот Фаддей, пересчитывающий каждое бревнышко, свозящий остатки горницы с переезда чуть ли не в день похорон? В XIX веке он, вероятно, сошел бы за тургеневского Хоря из «Хоря и Калиныча» или хозяина притынного кабака в «Певцах»... При Столыпине он стал бы цивилизованным фермером. В Тальнове, пережившем и вакханалию коллективизации, и поборы послевоенных лет, этот тип скопидома, крепкого хозяина, конечно, «озверел», обрел черты весьма жутковатого хищника. Что ему стоило уговорить бессребреницу Матрену, которая каждую весну впрягалась с бабами в плуг, чтобы вспахать огороды, и никаких денег не брала! Но особого злодейства в его жадности, примет «антихриста» я в нем все же не искал бы... Подлинный «антипод» Матрены — с ее кроткой добротой, даже смирением, жизнью не во лжи — совсем не здесь, не в Тальнове. Надо вспомнить: откуда пришел герой-повествователь в этот двор посреди неба? Как, после каких обид, родилась в нем воля к идеализации Матрены, никого не обидевшей?

Герой-повествователь не вспоминает ни о ГУЛАГе, ни о тех «образованцах», что так «теоретично», мудро живут по лжи. В литературе, в философских мифах. Но невольно возникает вопрос: а что это за ход жизни, что за история России, если так опустел, так выпотрошен центр ее? Кто украл славу Куликова поля, что породило эти вымороченные рязанские деревни?

Матрена разъясняет, без обиды на жизнь:

«— Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух все в колхоз, все в колхоз, а себе уж из-под снегу — что за трава? По-

бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалось, трава — медовая...»

Она тоже, как человек с номером в песне Юза Алешковского, может сказать беспредельной толпе бунтарей, теоретиков, вдохновенных слепцов-преобразователей: «Спасибо вам...» «Спасибо, что я греюсь не у костра, что я имею козу и торф, украдкой занесенный в мой двор, что изредка возят хлеб...» Правда, она может вздохнуть, вспомнив, как вольно шла жизнь раньше...

Действительно, странная теснота — и при пустующих полях, вымирающих деревнях — стеснила даже ее! И не только с сеном... Как будто что-то роковое оцепенило всю органическую жизнь, обессилило землю, людей. А далеко ли от этой тесной жизни лагерь? Лагерь — лишь отдаленный очаг этой роковой всеобщей несвободы. Герой-повествователь, повторяем, почти не вводит его, даже для контраста с тишиной срединной России. Да и не в одном лагере выветривались, вымолачивались из людей, извращались начала доброты, праведности, небесной чистоты! И. А. Ильин обозначил всеобщий рок, обесплодивший Россию, так:

«Иногда даже кажется, как будто из самой земли встает некий черный туман соблазна одурманенных людей, застилающий в них начала чести, совести и верности».

Подумать только — в какой чудовищной паутине, сплетенной бюрократией,некоей саранчой с плакатами и директивами, живет внечиновная, внесословная Матрена! Фактически она — вне закона, как зверушка лесная:

«...Она была больна, *но не считалась инвалидом;* она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — *не полагалось* ей пенсии *за себя,* а добиваться можно было только *за мужа,* то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал».

Люди циничные, легко имитирующие законы, бегающие как пауки по этой бюрократической паутине, могут только ухмыляться над беспомощностью, «незаконностью» Матрены. В «Одном дне Ивана Денисовича» мелькает, например, поразительная и в лингвистическом плане подробность: «Дневальным по столовой цепко держится Хромой. Хромоту свою в инвалидность провел, а дюжий, стерва». Едва ли кто из иностранцев поймет мыслеемкость слова «провел»! Тут возможно все что угодно: «отождествил хромоту и инвалидность», «купил у врачей инвалидность», возвел природный недостаток в ранг, в «социальный подвиг» (скажем, «инвалид войны»), «превратил псевдобо-

лезнь в источник привилегий и льгот» и т. п. Нет, непереводимы русские «провел», «достал», «загнал» (в смысле «продал»)!

Матрена ничего не может возвести в собственные заслуги. Этот ангел небесный будет бесконечно опаздывать к любому дележу благ земных. Но вот она погибла. И всем вдруг стало ясно, что Матрена и была тем праведником, без которого морально скудеет село. По существу, эта концовка повторяет финальный аккорд одной из новелл-крохоток «На родине Есенина». И перед избой Матрены можно повторить тот же вопрос:

«Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столькое для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?»

Повторяем: вывод этот о праведничестве несколько теоретичен, в финале рассказа как бы натягивается на Матрену одеяние праведницы... Ему не хватило мудрости Тургенева, не пожелавшего одевать свою Лукерью («Живые мощи») в постную плащаницу праведницы. Но все можно простить за огромный импульс, который дал этот рассказ всей деревенской прозе: она стала не просто крестьянской, а христианской, она ушла от дискуссий плохого секретаря райкома с хорошим («Районные будни» В. Овечкина), увидела не просто упадок хозяйства, а страшный провал в истории, новейшее русское горе.

И как удивительно сомкнутся концы и начала! В извлеченной из архивов КГБ поэме Н. Клюева «Погорельщина» (1928) гибель деревни, матери, крушение праведничества осмысляются через образ иконы:

Завывают избы волчьим воем,
И с иконы ускакал Егорий,
На божнице змий да сине море...

Ушел вековой заступник земли русской, «исключил» себя из поединка со змием, и пошла рушиться в новейших Смутах русская земля. Сметены и Егорий, и символические старухи В. Распутина и В. Астафьева — национальные этикетки пространства, бывшего некогда Россией. Солженицын — вовсе не восторженный почитатель Запада — может быть, много раз впоследствии всматривался в Ивана Денисовича, Матрену, в наивного и смешного Захара-Калиту, даже разбитого сомнениями Васю Зотова. Всматривался с невысказанным вопросом и надеждой: кончится ли русское горе, остановится ли оскуденье, проснется ли народ, исполненный сил?

ПИРШЕСТВО ИДЕЙ, С КОТОРОГО УХОДЯТ ГОЛОДНЫМИ...

Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай собак и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит!

О. Мандельштам. «Еще не умер я...» (1937)

«Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассматривал в тюрьмах».

А. Солженицын. «В круге первом» (1955—1968)

СРЕДИ ПОТОПА — К СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ АРАРАТ...

Импровизация судьбы для Солженицына в 60-е годы после «Одного дня...» и «Матренина двора» — непрерывный процесс затрудненного диалога с изменчивой действительностью. То создание новых произведений «для будущего», то отступления в «укрывище», то прямые обращения через «самиздат», зарубежное радио к «вождям СССР», то серия трудов и дней на конспиративных квартирах. Он и «бросает камни», и собирает их (создает), заостряет, утяжеляет.

То погоня за плечами, дыхание преследователей в затылок, конечно, в телефонный аппарат. А вслед за этим — полоса безмолвного одиночества. Но только не бездействия! И не одного случайного шага, расточения дней, ресурса жизни... «Мелодия эмиграции», неизбежная в России, еще не звучит в сознании.

Ни одно «ружье» не должно выстрелить не в срок! Всему внезапному, случайному надо найти место в сценарии жизни! И когда молва донесла до него весть — вернее, намек на получение Нобелевской премии Б. Пастернаком, он, не стесняясь, как каменщик, дорожащий опорой, удобной площадкой, подумал: «Мне эту премию надо! Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, тверже стану, тем крепче ударю!»

Всемирная слава, обретенная благодаря «Одному дню...», а затем и Нобелевской премии,— лишь рабочий инструмент, своего рода «броня» и площадка для новых поединков с «Дубом». И не важно, что увеличивает славу —

похвалы или громкое исключение из Союза писателей! Важно, чтобы тяжелей были камни, летящие в Голиафа, надежней метательное орудие — праща...

Ситуация с Солженицыным в 60—70-е годы, запечатленная в его же «Теленке», отраженная в дневниках новомировцев А. Кондратовича, В. Лакшина, в протоколах Секретариата СП СССР, исключавшего его из Союза писателей,— своеобразное воплощение еще не выдохшейся крайней политизации всего общества, в сущности духа постсталинизма. Еще так верили в Слово, так боялись отдельной статьи, рассказа, спектакля, так ревностно исполняли указ и приказ, что нынешней апатии, равнодушия к любой болтовне, даже прострации никто и не предвидел! Свобода равнодушия, свобода безответственности еще не снились. Солженицын очень рано понял, что только здесь, в самой наивной и еще читающей стране, живет «удивительно мощное эхо» (Л. Мартынов). Кто его будет слушать на Западе? Дойдет ли его слово оттуда? «Оттуда все слова мои будут отшибаться железной коркой, охватившей нашу страну, а пока я внутри — приемлющая полая масса всасывает их» — этот довод Натальи Светловой (ставшей женой Солженицына.— *В. Ч.*) убедил его.

В нем самом все время зрел и замирал порыв: «...ненапечатанные вещи кричат, что жить хотят...» И среди них — роман «В круге первом», три тома «Архипелага...». Солженицын все время ощущает, что многое разумом не взвесить, что ему быть историческим романистом неловко, что порой так запечет под ногами: «...оказывается — сковорода, а не земля — как не запляшешь? Но выбить дно из бочки среди океана, на бесплодном камне?» Что же в этом безрассудстве хорошего... для твоей же задачи? Хорош был бы всеобщий наш праотец Ной, если бы... высадил всех спасенных в ковчеге не на священном Арарате! А поспешил бы и сгубил себя и всех тварей где-то на случайном островке, смытом затем тем же потопом!

Нет, Солженицын помнит, что «нетерпенье — роскошь». Что есть и «немой набат», готовый зазвучать завтра, прорвать блокаду немоты не для узкого круга людей. Что нельзя дурно исполнить волю Бога... И, видимо, принуждает себя, скажем, в 1970 году сидеть тише тихого, «гнать» свой «Август...» («Август Четырнадцатого».— *В. Ч.*), понимая: «Так нужен систематический объемный рассказ именно о революции; ведь замотают ее скоро свои и чужие, что не доищешься правды» («Бодался теленок с дубом»).

Но ведь еще раскалена и «сковорода» незримого, чуть приоткрытого ГУЛАГа? Во всех его «кругах»?

Роман «В круге первом» — самое завершенное выражение процесса самопознания Солженицына, спора политики и судьбы. Это его способ приумножения пайка свободы, «ворованного воздуха» свободы и света. И его же, увы, способ собственного закабаления, выковывания теоретических решеток для себя же, для данного романа. Он расковывает и заковывает себя в одной кузнице. Это произведение, создававшееся необычайно долго — с 1955 по 1958, затем с 1964 по 1968 год, имеющее две редакции, облегченную, «ущипанную», и подлинную («перья потом доплывали»), несет на себе следы этих разнонаправленных «борений» духа автора.

Солженицын как будто еще помнит счастье предельной расторможенности, спонтанности самовыражения в открытых характерах Ивана Денисовича, Матрены, Зотова, ощущение, что «сердце твое в руке Божией»... Все в этих героях преднаучно, внетеоретично, они или не участвуют в «голосовании», в ритуале, или горько сожалеют о своем «участии», как Зотов.

В романе еще явятся на свет столь же преднаучные, исполненные глубочайшего лиризма эпизоды. Скажем, возвращение талантливого инженера-чекиста Антона Яконова после разноса в кабинете министра Госбезопасности Аббакумова в забытый уголок Москвы, на каменные обломки церкви. Здесь он двадцать лет назад «стоял с девушкой, которую звали Агния». Эта девушка («Агния» — непорочная во плоти) вспомнится ему, опустившемуся или взошедшему к вершинам власти, как небесное существо: она уже тогда, в 30-е годы, усматривала в его поступках, внешне вполне обыкновенных, скрытую низость, стандартное неблагородство. «По несчастью для себя, она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить». Подобно тому как в «Одном дне Ивана Денисовича» передано ощущение давящего мороза, передано почти без слов, через такие подробности, как заиндевевший кусок рельса, в который бьют при подъеме, как намордники на лицах, алая заря над снегами,— так в этом коротком эпизоде их прогулок почти без объяснений раскрыта обреченность, ненужность таких натур, как Агния. Она как бы сошла в мир пятилеток... с полотен М. В. Нестерова, из его «Великого пострига».

Антон еще пробует ее убедить: «Берегись, Агния... Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит — отстанет безнадежно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить...»

Что ей сказать на это? Напомнить ему о звуках небес, которые не могут заменить «скучные песни земли»? О том, что центром любой молитвы для нее является Христос? А для него — Ленин? Или ближайший «шеф»? «Метафизичны» все ее «доводы». Она не находит слов для обозначения тяжких утрат в бодрой, внешне благополучной и победоносной жизни Антона. Ей, как некогда героине новеллы И. А. Бунина «Чистый понедельник», а еще раньше Лизе Калитиной из «Дворянского гнезда» Тургенева, кажется, что что-то ее «отзывает из мира», требует отмолить его грехи.

«Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь? Еще искала.— А представь себе, что, когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по православному обряду».

Среди подобных лирических, исповедальных «микросюжетов» обширнейшего, тщательно спланированного полотна, несомненно, выделяется и прекрасный рассказ (сказ) крестьянина Спиридона Егорова о скитаниях его семьи в тылу немцев, о лагерях, о жизни в Германии и о лукавом заманивании пленных домой. Сцены свиданий (бесед) заключенных с женами у зарешеченных окошек, временами лишь чувствительные, порой тоже обретают истинно трагическое звучание. Ведь эти коллизии — мужья дают женам свободу... не ждать их, а они, наследницы еще не осмеянных этических традиций, не могут взять этого дара! — неразрешимы. «Ну изобрети им что-нибудь». «Спаси меня! Спа-си меня!» — эта мольба жены не оставляет память инженера Герасимовича.

Эта стихия лиризма, ощущение глубочайшей метафоричности, образности и музыкальности мира, то чувство, о котором Б. Пастернак сказал: «Мирозданье — лишь страсти разряды, человеческим сердцем накопленной»,— проявляется даже в мелочах. Хочется остановить мгновение, когда вдруг столкнешься с таким мыслеемким пейзажем, который, кажется, впитал все жизнеощущения арестантов на прогулке во дворе тюрьмы:

«Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. **Не было в нем ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землей.** Под резким влажным ветром снег оседал, ноздреват, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки».

Лирика в романе не сразу сдается натиску математики. Песня рвется и из горла, на которое наступил сам автор.

* * *

Солженицын как новичок в области романной формы как бы уже не доверяет одной интуиции, «настроениям». Он не хочет видеть «новеллистичность» жизни, россыпь только «случаев» и «дней». Воля к упорядочиванию, к созданию математически строгой системы образов и конфликтов, к пиршеству идей на пространстве Ноева ковчега определила почти все, даже стилистические искания. И здесь Солженицын при кажущейся спонтанности тоже всегда знает: надо пойти именно «туда» и принести только «то».

Он, к примеру, уже умеет осваивать «суженные стили» — тот же сказовый, пародийный, в духе студенческого капустника (комическая сцена суда ОСО — Особого совещания) над князем Игорем из оперы Бородина «Князь Игорь»). У него в романе под рукой такой удобный персонаж для проб в разных манерах повествования, форм иронического раскрашивания, метафоризации жизни, как филолог Лев Рубин...

Нужно, скажем, в ироническом ключе объяснить, что за место действия избрала жизнь для романа, что такое пресловутая **шарашка**? Пожалуйста, под рукой Рубин, ходячая библиотека, озвученный справочник. Он создает образец иронического стиля: «Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов. Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место».

В известном смысле освоена была в романе и манера монологического повествования, когда герой, под аккомпанемент авторской иронии или сочувствия, самовысказывается, наглядно движется от известного к неизвестному. Отношение автора, а не внутренние взрывы, ввергает его в двойственность, раскалывает изнутри... Эта манера будет основной в «Красном колесе». Здесь же она опробована в длинном монологе Сталина (глава девятнадцатая).

ЧТО ПРЕДПИСАЛА МАТЕМАТИКА

Эстетика Солженицына формировалась в тесном союзе с математикой. И прежде чем входить в «круг первый», в это Дантово чистилище, шарашку, на пиршество идей, вдумаемся в ту эстетическую систему, которой следует заключен-

ный и писатель Глеб Нержин. Тем более что эта система, его собственноручная «поэтика прекрасного» сохранит свою силу надолго.

* * *

Прежде всего сочинитель, по Солженицыну, должен обладать неистовой волей для того, чтобы найти некую «сильную мысль».

«Важно найти и с огромной энергией отстаивать ее. Верить — с ней побеждаю!»

«Ты пойми: мысль!! — он вскинул голову и руку.— Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — своя! Мысль, как живое древо, дает плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами».

Речь идет о том романе о русском Смутном времени, о революциях 1917 года, который пишет Нержин, перечитывая тридцать томов Ленина, собирая хронику 1914—1917 гг. Чтобы отсеять все субъективное, случайное, претендующее на роль главной причины, надо найти — верит советчик Нержина Сологдин! — математические законы событий. Ведь нет же двух таблиц умножения — для Ленина и для Керенского! Закон — выше причин, выше частных правд, идеологий. «Математичность» истории правдивей, чем буйная стихия, «физиология истории»... В кругу этих проблем жил и Толстой в период создания эпопеи «Война и мир».

Глеб Нержин и пишет роман, и живет... в романе («В круге первом») по этой методологии. Вся методология, бесповоротно «математическая», уже применена и в самом романе. Действие романа — с массой споров о судьбе революции, об иронии истории, бросившей в тюрьму самого яростного защитника правоты революции Рубина,— свершается в сжатые сроки, в неполные три дня. По сути, это сухая сжатость формулы, «решенной» в три дня. По существу, был реализован совет Нержину:

«— Будь же достоин своей... исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?

— Уже ясно! — торопил Нержин, он не любил размазываний.— Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и, наконец, нолевые. И кривая — вся в наших руках».

«Жизнь прожить — не поле перейти»? А зачем все поле

переходить, если есть костяк, скелет пространства, неначерченной кривой?»

Заглядывая несколько вперед, обратим внимание, что и первые, видимо, наброски, оценки Нержиным Февраля и Октября 1917 года (и прямого их следствия, с точки зрения героя, в виде «большого террора» и ГУЛАГа) выполнены на основе этой весьма математичной поэтики:

«Для математика в истории 17-го года нет ничего неожиданного. Ведь **тангенс** при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в **пропасть минус бесконечности**. Так и Россия, впервые **взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.**

Это и никому не удавалось с одного раза».

История вновь не раскрыта, а... вычерчена на основе «сильной мысли». С математической точки зрения, вероятно, вычерчена безупречно.

Этот метод будет применен, к счастью не столь последовательно, в «Красном колесе». Там огромная «кривая» революции, на которой либералы «объехали» слева неискушенные в политике или развращенные солдатские массы (да и самих себя!) в феврале — марте 1917 года, будет хотя и прочерчена «узлами», «точками», но они расплывутся в обширные хроникальные пятна. Сколько случайностей обогатит эти «тангенсы», точки разрыва и т. п.! Но в строго очерченных точках, где история меняет лошадей, сбрасывает всадников, только и будут попеременно являться почти не управляемые автором Столыпин и Богров, Самсонов и Ленин, Гучков и Шляпников. И будут становиться — пусть на миг — главными героями!

* * *

С математикой как будто и не поспоришь: ее законы неопровержимы... И все же возникает робкий вопрос: где же среди узловых точек, кривых, сильных мыслей, берущихся неизвестно откуда, тот, в чьих руках пребывает и жизнь, и творческая воля автора? Солженицын искренне считает себя подмастерьем Бога на земле. Он часто видит всю свою жизнь «в руке Божией». И вдруг тангенс вместо откровения, засилье чистой математики, формул именно в той сфере, где Бог, Его благие вести и откровения должны властвовать чуть ли не единолично, не деля свою власть с Евклидом, Лобачевским и Эйнштейном.

Нелегкий вопрос... А откуда вообще берется «своя сильная мысль»? Только ли из митингового желания выкрикнуть

«долой!»? Митинговое «долой!» — это грубая иллюзия сильной и тем более своей мысли...

Говорить об этом надо, ибо Солженицын будет колебаться между сильным (и не только своим) митинговым пафосом, математикой лозунгов-формул и тем действительно своим, что вложила в него трагическая исковерканная история, память погибших, воля «не дошедших»... Отсюда — обилие публицистичности, математичности в романах и пьесах, и наоборот — сильная лирическая струя, образное начало в его публицистике. Он, как античный дискобол, бросает свой диск всем телом, начав кружение от земли и закончив в кисти руки... Но часто он бросает его... лишь кистью, совсем недалеко!

* * *

Можно ли обойти эти рассуждения героя и прочие теоретизмы романа «В круге первом» как некие искусственные добавления?

Увы, нельзя. Все последующие характеристики творческого процесса, данные в романе на «языке предельной ясности», свидетельствуют, что власть механики и математики выдержана прочно, не ослабевает до конца. Особенно она ощущается в существенном моменте углубления Нержина в историю. Вспомним, что пушкинский летописец Пимен в каждый миг творчества помнит:

Недаром многих лет свидетелем меня Господь поставил
И книжному искусству вразумил...

Что стоит мое убогое знание, негромкий голос, мое плаванье в утлом челноке? Только божественное «недаром... меня Господь поставил» окрыляет мысль, вдохновляет превзойти себя. У Солженицына вместо испуга перед неведомым, осознания слабости, ожидания помощи и вразумления свыше часто является целая технология «бурения», раскопок клада, система поведения в царстве неведомого. Не остается даже малого места для Бога, для робости, для молитвы! Трудности — это повышение планки, обещание будущего «рекорда», отваливание плит неограбленной пирамиды:

«— В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад! Обычно чем труднее, тем полезнее... Когда трудности исходят от увеличенного сопротивления предмета — это прекрасно!! — Словно наш лом ударил в железный ящик клада!! И преодоление увеличивающихся трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмеренный встреченной трудности!»

Все избыточно разумно, «технологично» в этих уроках мастерства и... как-то обезбоженно. Сологдин излагает тех-

нологию шлифовки, нормативы взыскательности: «Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! И не откладывать ее, ибо строй мысли исполнителя уйдет из области последних вершков!..»

Сейчас трудно решить: почему вдруг Солженицын так упорно убеждал и героя, и себя, что самое рациональное — это и есть самое умное? Почему он как бы забывает, что художественный текст — это не весьма сложно построенный смысл (так считали структуралисты), а глас Божий, глагол бытия? А дух веет где хочет, и веет не совсем рационально? Есть вообще масса таинственных состояний творчества, в которых более прозорливым оказывается не математик и не механик с ломом, а безумец-поэт, чуткий к благой вести, к голосам «шестого чувства», внимательный к глубине, а не к поверхности событий, к невесомому, а не предметному. Лев Толстой говорил в «Смерти Ивана Ильича» о состоянии высшей проницательности своего героя, пребывающего «на пределе мысли и в начале молитвы». А Осип Мандельштам благословлял блаженное бессмысленное слово:

А за блаженное бессмысленное слово
Я и в ночи советской помолюсь...

Русский поэт-эмигрант первой волны Ю. Иваск очень мудро сказал о различии между строгой, четкой, математичной поэзией Николая Гумилева и непредсказуемой поэзией Осипа Мандельштама:

«Все же — на мой вкус — в его поэзии чего-то не хватает. Мало в ней волшебства. Да, есть мастерство, но где благодать?.. Романтика Гумилёва — упрощенная, его мысли и чувства часто сводимы к арифметическому $2 \times 2 = 4$... Все разъяснено, разжевано, и это вредит поэтической магии. Он слишком логичен для XX века, который вопреки всеобщей рационализации жизни, влечется к искусству эллиптическому, иррациональному. Вот его «триады», которые часто привлекали поэтов: землетрясения, громы, водопады... Победа, слава, подвиг... Это красивые слова. А Мандельштам вносит в «триады»-заклинания слова из разных семантических и стилистических планов: янтарь, пожары и пиры... Россия, Лета Лорелея».

* * *

Солженицын вычерчивает свои «вертикали» как математик, порой как геометр. «Вывихи» авангардизма ему чужды. Зачем ослеплять, «затемнять» себя, если хочешь ясно показать людям то, чего они еще не видят?

«В круге первом» — роман диалогов, это пиршество достаточно ясных политических идей, с которого, увы, почти все герои уходят голодными, неудовлетворенными. Не победившими, но и не побежденными! Иначе и быть не может: ведь в царстве логики голодно, пусто, риторика плохо питает! Нечто подобное происходило на рубеже XX века в чрезмерно мудрых пьесах Л. Н. Андреева («Жизнь человека», «Океан» и др.). История имеет свою «физиологию», это растительный процесс, в котором есть свой «низ» и «верх», сознание и бессознательный рост.

Возникает вопрос: усиливают ли рациональность, тезисность ткани романа, ураган споров — рельефность характеров? Понимал ли сам Солженицын, встав на путь самопознанья и сомненья, что не все сверхрациональное есть ум? Если слишком «дать слово словам», то может возникнуть полый грамматический механизм, а не характер...

Следы борений, отхода от деспотичной математики вбок и нередко вглубь, к чему-то бытовому или иррациональному, апелляция разума к молитве присутствуют все же и в данном романе, и в «Раковом корпусе»... Читатель романа, по сути дела, блуждает среди характеров, «готовых построек» и... так и не убираемых «строительных лесов»! Даже «складов стройматериалов»! Еще не использованных... Больше того. Эти «строительные леса», вроде тезисов о стратегии романиста, вычерчивающего «кривую истории», вступающего с ломом в кладовую непознанного и т. п., «строятся» часто параллельно, заслоняют друг друга. Прав был Г. Белль, увидевший весь усложненный роман как своего рода... Миланский собор:

«...Огромные своды, множество перекрытий, несколько измерений: повествовательное, духовное, историко-политическое, социальное; его арки перекинуты над множеством страниц и сторон, это собор среди романов, с точно выверенной статикой... и напряжение превращается здесь, вслед за сопряжением, в архитектоническое понятие...»

Плохо это все или хорошо? Генрих Белль обходит этот вопрос. Как в каждом соборе есть автономные постройки, замкнутые уголки, так и в «В круге первом» он отмечает пространства, заполненные «декоративными пристройками: часовнями или нефами, или — поскольку они возведе-

ны вне этого собора — времянками, в лучшем случае — изящными особняками. Форма, манера, способ, какими солженицынская проза себя выстраивает и смиряет; композиция, несущая к окончательной свободе,— все это говорит, что здесь потрудился не только большой писатель, но и математик, в общем, тот, кому не чужды естественнонаучные формулы... Духовная и эпическая ясность сходятся в параболу — в физико-математическом смысле слова».

СЮЖЕТ-ДУБЛИКАТ, ИЛИ НА ЧЕМ РАЗВЕШАНО «БЕЛЬЕ»?

Солженицын несколько раз рассказывал в различных беседах историю семи редакций романа «В круге первом», этапы разваливания и собирания его — по кирпичику — в новое «готовое здание», замены взрывного сюжета на «облегченный». Вслушаемся в его рассказ:

«В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем-нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49-м году у нас, в Советском Союзе, шел фильм, серьезно обвинявший в измене родины врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шел фильм, и все смотрели, серьезно кивали головами. И так я поставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный...»

Легкость замены одного сюжета другим не восхищает. Даже в дискуссии есть сюжет: порядок выступлений... А здесь? Вместо врача, передавшего французам лекарство от рака,— тема почти христианская, это прорыв души к общечеловеческим ценностям из мрака догм и ненависти! — явился дипломат, возник сюжет судьбы перебежчика на Запад Иннокентия Володина. Советский вариант супругов Розенберг, некогда осужденных в США за передачу СССР секретов атомной бомбы. Он позвонил в американское посольство, выдав секрет советской разведки (свершив величайшее преступление, едва ли оправданное даже при Горбачеве!) — место и время передачи СССР «атомных» чертежей. Естественно, Володин был засечен, и... пленку с записью его голоса должны были расшифровать на шарашке те же Лев Рубин и Глеб Нержин. «Уже» заключенные, перемежая пиршество идей с работой, ловят «еще» свободного...

Еще раз повторим: замена сюжета с врачом, победившим рак, на банальный вариант судьбы очередного пере-

бежчика, совсем не князя Курбского, открыто бросившего из Литвы вызов Ивану Грозному, и не Троцкого, трагически проигравшего свои игры Сталину, не радует. Солженицын прекрасно знал, что самый план «Ада» Данте — уже плод вдохновения, творение гения. А сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» — разве не хранили они семя гениальных во всем открытий? Сюжеты вырастают, как могучие деревья, с всеосеняющими кронами, а не как стебельки трав, не имеющие даже тени.

Во всяком произведении есть «поверхностные структуры», где словесная ткань иначе организована, чем в глубине.

Она, как правило, более хроникальна, даже газетна. Как, скажем, некоторые беглые описания театра войны в «Войне и мире», как «агитки», речи Штокмана или расстрельные деяния Бунчука в Ростове в «Тихом Доне» Шолохова. Но есть и глубиннные структуры — они в фабуле, в сюжете, в неслыханной лирической дерзости, удивлявшей того же Толстого в «этом толстом офицере» — в Фете! Такие сюжеты, укорененные в мифе, в архетипах, вызвавшие к жизни особое Слово, не сменишь и не заменишь ничем. Они единственны, уникальны.

Мы уже обратили внимание на иную организацию текста в сцене воспоминаний Яконова о встречах с Агнией, в картине тюремного неба, на которой исчезла высота и обозначился потолок... Признаки глубинных структур есть и в сказе Спиридона, и в простой констатации факта. Когда Нержина вызывают к Яконову — на миг? навсегда? — он сдает свои рукописи тому же Рубину, повелевая сжечь в случае невозвращения:

«— Чего глупости! Наша жизнь такая... Сожжешь там, знаешь где.— Глеб защелкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубина и *пошел неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждет только худшего*».

Солженицыну, видимо, был важен лишь внешний «обруч» для пира идей, бесконечного диалога. Для *этого* дубликатный сюжет с неожиданным «предательством» Володина подходил. Не в сюжете главная глубина. Нужна была веревка или проволока, чтобы развесить отстиранное, вымоченное «белье» мнений, программ, доктрин: подходит все, что это «белье» развернутые монологи держит, растягивает в подвешенном состоянии на виду.

А сам Володин? Странно, но Солженицын, которого все в романе влекло на ристалище идей, на турнир мнений, как-то и не подумал о «мелочи», об ответе на вопрос: как сложилась вся жизненная позиция Володина?

Жил он доселе пресыщенной жизнью ошеломленного могуществом доллара обывателя, женат был на Динэре («Дитя Новой Эры») Макарыгиной, одной из дочерей крупного номенклатурного чиновника, прокурора. Другим зятем Макарыгина был шумно-известный писатель Галахов... При желании можно усмотреть в портрете Галахова кое-что из особенностей любимца эпохи Константина Симонова: «...его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи... Он стал лауреат сталинской премии, и еще раз лауреат, и еще раз лауреат».

«— Этот подлый московский стиляга, карьерист...»

Этот диагноз, анатомия измены исключает всякую серьезную роль Володина в сюжете романа. Нержин защищает его от упрека Рубина: «...он спешит выслужиться перед боссами». Нержин выдвигает контрдовод: «Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским?»

Рубин угадывает психологическую подоснову всех изменников, которым измены не позорны: «...ему нужно продолжать серенькую безупречную служебнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька... А на Западе сразу — мировой скандал и миллион в карман».

Но Солженицын натужно героизирует Володина, и сюжет сразу же заходит в тупик. Начинается не психоанализ, а сооружение подпорок. Требовалось явное насилие или психологическое равнодушие, чтобы этого Володина, стандартную деталь привилегированного схематичного мира, сделать... своего рода Софьей Перовской, бомбометателем 50-х годов! Сделать это на почве психологии, потока сознания, летописи души, видимо, было невозможно. «Подвернулся» язык механических уподоблений, и вот Володин, как прообраз автора, бодающегося с «Дубом», ощущает себя в момент «решения», вызова Системе-Дубу маленьким Голиафом:

«Новый смысл представился ему в новом здании на Большой Лубянке (НКВД-МГБ.— *В. Ч.*), выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров, как восемнадцать орудийных башен, высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжелого быстрого корабля».

* * *

Впрочем, у этого «сюжета-дубликата», крученой «веревки», на которой висит «белье»,— два конца. Один ведет, как

мы сказали, в шарашку, где Рубин, Нержин (он откажется) будут узнавать по «видимому голосу» лик предателя, вычислять хлюпика, московского стилягу... На их столе это очередное острое «кушанье». Другой конец сюжетной «веревки» ведет в мир тестя Володина Петра Макарыгина на Калужском шоссе (его дом строил Нержин-Солженицын в первые годы «сидения») и его дочерей Динэры, Дотнары («Дочь Трудового Народа») и Клары. Все это условно-литературная элита, не знавшая, что значит ходить пешком, даже по Москве, бывшая «на ты» с писателями-лауреатами. Солженицын был вынужден подкрепить еще раз психологически «решение» Володина, доселе пустое, чисто служебное. Чем подкрепить? На первый случай — риторическими возгласами:

«Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал ее Родине?

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задушенным цыпленком? тому залатанному одноногому мужику?

Им нужны дороги, ткани, доски, стекла, им верните молоко, хлеб, еще, может быть, колокольный звон — но зачем им атомная бомба?»

Голос героя явно срывается, «усиливая», а не наполняя пустоту.

Другим усилителем, соавтором «решения» Володина, надувающим — и вновь бесплодно! — эту же пустоту героя, носителя сюжета, стал его дядя Авенир, персонифицированная память о революции, о демагогии большевиков, о разгоне Учредительного собрания. Авенир укрепляет Володина доводом из Герцена: «Почему любовь к Родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» Парадоксально, но именно к таким «доводам» будут прибегать пораженцы — и меньшевики, межрайонцы в канун Февраля 1917 года: это разложение армии Солженицын высмеет в «Красном колесе»! Сейчас он нередко окружает эти суждения ореолом мужества, отчаянной смелости.

Противоречий на пути самопознания, выработки какой-то цельности в романе «В круге первом» немало. С одной стороны, вроде бы Россия взлетела в Феврале 1917 года «к невиданной свободе». С другой же стороны, мы увидим уже в «Красном колесе», как жалка, презренна была Солженицыну эта «свобода» Керенского, Милюкова, Родзянко и прочих «маргариновых» вождей». Яростное неприятие сталинизма кое-где перерастает уже и в критику ленинских истоков террора: тот же Авенир уже тезисно излагает историю раз-

гона Учредительного собрания Лениным, Свердловым, Бухариным и комиссаром «тупенко-дубенко-Дыбенко».

Поэтому и не очень удивляет тот факт, что даже такие проницательные критики, как Л. Ржевский, оказались близоруки и схематичны в интерпретации конфликта романа. «Каратели и караемые; торжествующие и униженные; хор тюремщиков и хор жертв. Представляющая эти два хора структура романа полифонична, как, вероятно, назвал бы ее сам Солженицын»,— писал Л. Ржевский.

Подлинный полифонизм возникает в самом стане жертв.

НЕОЖИДАННЫЙ «СМЫСЛ» СРЕДИ АБСУРДОВ ТЕРРОРА

В книге воспоминаний Льва Разгона «Непридуманное» (1988) есть эпизод, безусловно, немыслимый еще в «антикультовской» прозе 60-х годов. В своей летописи лагеря Л. Разгон — пусть и утрируя, тенденциозно оглупляя многое — расскажет о дворянине-монархисте Рощаковском. Именно в 1937 году в Бутырской тюрьме он узнал счастье, пережил праздник воскрешения всего утраченного и наслаждение мести всем мучителям, «бесам» 1917 года:

«Я дождался того, что увидел тюрьмы, набитые коммунистами, этими — как их? — коминтерновцами, евреями, всеми политиками, которые так и не понимают, что же с ними происходит. Вот поглядите на них, милейший Лев Эммануилович,— крупные посты занимали в государстве... И все равно ничегошеньки не понимают! Ни того, что с Россией происходит, ни того, что с ними происходит. Все думают, дураки, что ошибка какая-то случилась. А я не политик, я просто думающий русский человек — все время ждал этого и надеялся на него, наконец-то ниспосланного нашей многострадальной родине.

— Ну, объясните мне, одному из дураков, что же происходит?

— Происходит, батенька, сызнова, как когда-то после Смутного времени, становление великого русского национального государства с его великими национальными задачами...»

Не будем углубляться в явно утрированную «версию» Рощаковского, предсказывающего, что Сталин «всех своих друзей бывших, всех своих товарищей, всех перебить должен», что в СССР возникнет лавина убийств, что и заодно некрасовского мужика-бунтаря скрутят... Детали в таких исповедях недоказуемы. Можно верить, а можно и сомневаться в прямолинейности, в махровости «махрового монархи-

ста». Хотя такая точка зрения, конечно, бытовала в СССР и в эмиграции. Сталин, дескать, вновь «подморозил» Россию, уничтожил всех, кто довел ее некогда до кипения, безумия саморазрушения, сколотил крепчайшее государство. Он, по сути, «наказал» всю либеральную интеллигенцию по давнему ироническому принципу: «За что боролись, на то и напоролись!»

Мог ли Солженицын не предложить своим героям обсудить этот парадокс истории? На мой взгляд, не мог. Он в своем романе не представил точку зрения одинокого Рощаковского, равно выбивающуюся как из хора жертв, так и из хора мучителей. Но косвенно — на роль Рощаковского! — в его романе все время выдвигается, вопреки его собственному желанию, вопреки всем неистовым обличениям Сталина... главный герой Глеб Нержин. И ничего с этим писатель поделать не может! Все-таки подмастерье Бога на земле не может уйти от своей судьбы: быть выше и сталинистов, и антисталинистов!

* * *

С таким парадоксом в судьбе главного героя, повествователя и судьи для других героев, оппонентов и наставников, трудно согласиться. Как это так — быть «выше», «вне» схватки сталинистов и антисталинистов?

Солженицын словно предвидел это нетерпение, жажду арифметики, привычного деления мира на «наших» и «ваших», «белых» и «красных». Он пошел, на мой взгляд, на множество утрат в характере Глеба Нержина, на некоторое обесцвечивание его, вынужденного больше слушать, сливаться с собеседником, чем... самораскрываться! Да если бы он сказал уже тогда, что для него и Ленин — не икона, что «первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин», как пелось в песне 30-х годов, это «два сапога — пара» и т. п., то с ним и говорить и тем более спорить не стали бы. Ему надо было скрыть радость по поводу Божьей кары, возмездия мастерам террора, воздаяния «чистейшим рыцарям». Он не Рощаковский, реликвия истории, которой это ликование и вздох облегчения — «ныне отпущаеши раба Твоего» — прощались. Да и в паек разрешенной свободы критика Троцкого, Зиновьева, Каменева, Дзержинского, Кирова тогда не входила! В 60-е годы можно было соревноваться в одном: в изощренной ругани в адрес Сталина... без всяких попыток заглянуть «дальше, дальше, дальше». Всякая иная позиция была предельно неуютна и враждебна сразу и «Новому миру», и «Октябрю».

Как же прийти в таких условиях к полной, а не частичной демифологизации сознания, к пониманию того, что с нами происходит? Получилось так, что именно Нержин подталкивается, помимо его воли, на самый сложный, опасный, мучительно-противоречивый путь поисков этой полной правды. Если для всех героев «Круга» все движение сознания — это приумножение свободы, изгнание мифов, иллюзий, наваждений, то свобода Нержина самая трудная, порой вообще неясная, мучительная.

КТО ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ?

Иоанн Предтеча, как известно, говорит в Евангелии от Матфея о своем скромном месте: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мной сильнее меня... Он будет крестить вас Духом святым и огнем».

Глеб Нержин встречает на шарашке сразу нескольких предтеч, своих оппонентов, учителей. И трудно решить, «сильнее» ли он их... Да и автор романа не преуменьшает колоритности и трагической яркости этих апостолов свободы, собранных на пиршество идей. Здесь много и «званых», много и «избранных». Кстати, многие из них, вроде Д. Панина, Л. Копелева, написали после освобождения собственные воспоминания об этом процессе крещения Духом и огнем на шарашке, о спектакле идей на тюремных нарах... Нержин в известной мере и стал собирателем пространства, оценщиком всех видов тайной свободы, достоинства, духовной красоты. Он учится и учащих себя требует. К счастью, еще много было людей, в которых зерно не обратилось в шелуху...

Всех исследователей Солженицына восхищает, как правило, та полнейшая, завершенная во всем свобода, тот вызов палачам, право на который выстрадал одинокий исполин инженерной мысли Бобынин. Он смело и вызывающе отвечает даже самому министру Аббакумову:

«— Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью.— У меня ничего нет, вы понимаете — **нет ничего**! Жену мою и ребенка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли... Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих».

Бобынин свободен от всех мифов. Ничто, никакой обман не может улучшить, возвысить историю для него. Его внутренняя свобода безгранична, она не стеснена даже страхом

смерти, но одновременно эта свобода полна безнадежности. Герой этот не ищет истины ни в прошлом, ни в настоящем. Он застыл в своем горе, как бы выключил себя из истории. В глубине души он понимает, что изобрести нечто гениальное (ради свободы личной) означает нечто большее, чем акт самореализации. А если это гениальное — бомба? Как ни страшна эта серенькая методичность недель, создающая вещество неволи, для Бобынина не отмерли начисто и какие-то великие нравственные обязательства.

Давно замечено, что Солженицын в связи с инженерами Бобыниным, Герасимовичем, Сологдиным выдвинул свою идею особых нравственных обязательств именно ученых, техноэлиты. В принципе они и в 20—30-е годы в меньшей степени жили по лжи. Он их как бы и не относит к «центровой образованщине», лепившей мифы о революции, «празднике угнетенных», о терроре как якобы быстрой и строгой, непреклонной справедливости, «метаморфозе», «эманации добродетели» (Робеспьер). В романе звучит такой довод, осложняющий проблему выбора, этической состоятельности ученых, но многое и упрощающий. Что это за довод? Инженер Герасимович, собеседник Бобынина, предполагает:

«— Но один родник просочился черезо всю чуму — это мы, техноэлита. Инженеров и ученых, нас арестовывали и расстреливали все-таки меньше других. **Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина.** Мы занимались природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты — не нам ли? Если **мы** не вмешаемся, то кто?..»

Все как будто так и было: математика выстоит перед террором, в науке нет ни царских, ни «пролетарских» дорог, и любая кухарка, якобы способная управлять государством, все же не войдет, даже по приказу, в неведомое ей царство электроники. Но как реализовать этот призыв — физикам восполнить этический провал в обществе, заменить лириков, деформированных или обреченных на безмолвие?

Гениальный Бобынин с его видом свободы — назовем ее свободой отчаяния — на многие вопросы не ответил.

РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ, ИЛИ СДЕЛКА С МИНОТАВРОМ?

Инженер-любомудр Димитрий Михайлович Панин — другой предтеча Нержина (в романе Панин выведен под именем Сологдина) — окончил жизнь в 1987 году во Франции,

успев написать и издать «Записки Сологдина» (1973). Он фактически назвал себя фамилией героя романа Солженицына.

Какой вид свободы исповедует этот любопытнейший персонаж, своего рода идеолог всей техноэлиты?

Некоторые этические заповеди, пусть и выраженные предельно математично, Нержин воспринял с глубочайшим вниманием. «Да, лучше вернуться к точности цифры, документа, формулы, чем в одиночку справляться с догмами ритуальной, абсурдистской лжеэстетики» — так думает Нержин после бесед с Сологдиным. Не культура в ее извращенном виде, а чистая математика может быть последним оправданием истории. Тут нет мифов, лжи, симптомов порочного круга, ритуала псевдомысли.

Но человек и его окрестности волей-неволей простираются и в мир политики. Нержин ждет от Сологдина мгновений, когда этот «Магомет», апостол науки, пойдет к «горе», в сферу политики. Оказалось, что он от горы и не отходил...

Лев Копелев в своих воспоминаниях о Мавринской шарашке выделил в Панине нечто жесткое и прямолинейное:

«Убежденный, что большевики — это орудие Сатаны, что революция в России была следствием происков злонамеренных иноземцев и инородцев, он верил, что спасение придет только вследствие чуда, по велению свыше. Но готовить спасение надо, очищая душу, мысли и... язык. С этой целью он решительно отказывался употреблять иностранные, или, как он говорил, «птичьи» слова. Вместо «революция» говорил «смута» или «переворот», вместо «коммунисты» — «большевики» или «большевички», «инженеров» называл «зиждителями».

Это было счастливой находкой! Солженицын, видимо, высоко оценил эти стороны личности Панина. В споре с Рубиным и Нержиным Сологдин действительно заменяет иностранные слова: «Вы — не *зиждители*», «А ты — библейский фанатик!.. то есть одержимец!», «...чтоб оба признавали прибавочную стоимость и *владычество рабочих*». Так на языке Предельной Ясности обозначалась «диктатура пролетариата»; не сферы, а *«ошария»* и т. п.

Сологдин передал Нержину ненависть к новоязу: «...даешь мне всякие клички, их у тебя в сумке много: мракобес! *попятник!* (он избегал иноземного непонятного слова «реакционер») — *увенчанный прислужник* (значило: «дипломированный лакей») поповщины. У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений».

Борьба за свой язык — это отвоевывание свободы, ломка той рефлекторной дуги, которая возникает между готовыми формулами (сигналами) и сознанием, формулами-окриками и командами, «формулами-кличками». В повести «Раковый корпус» Солженицын выведет Авиету Русанову, тип агрессивного сознания с рефлекторной дугой: она вся во власти этой «дуги».

При слове «Запад» у нее, как слюна на звяк половника, выделяется рефлекторный ответ: *«Хочет нас растлить!»* При слове «колесо» — целая цепная реакция: «Как будто *колесо истории* можно повернуть назад!» «Вывихи»? Они бывают только «идейные»... «Искренность»? И с ней все ясно: «Искренность никак не может быть главным критерием книги...»

Это все выглядит явной пародией, нарочитым сгущением, физиологией «совкового» человека, но в определенном контексте многое в позиции писателя понятно. Да на слова-сигналы реагирует и писатель Галахов в «Круге». Его физиология настроена на определенную волну: фамилия критика Ермилова, скажем, рождает оторопь и приводит в действие инстинкты приспособления и выживания.

Стараясь предугадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов «быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами...»

* * *

Но язык — это и народ... Нержин не знает, как ему определить устойчивость самого вектора изменений, происходящих в нем. Он духовно скитается — пусть на пятачке — между Рубиным и дворником Спиридоном. Ему важно узнать, какое место в том варианте тайной свободы, который принял для себя Сологдин, занимает народ как живое тело истории, как великий грешник и надежда.

И тут свершается неожиданный этический срыв Сологдина, разочарование в нем, которое Нержин едва ли объяснил самому себе. Сологдин избрал линию разумного эгоизма, весьма близкого к сделке с Минотавром, запродаже себя. Он предал и себя, и многие верования Нержина. Путь Сологдина «в обход» — мимо сталинизма и антисталинизма — оказался своего рода реализацией мечты Остапа Бендера о миллионе и Рио-де-Жанейро...

Сологдин — это концентрация опыта целого поколения интеллигенции, опыта поклонений народу и ссор с ним как «меньшим братом». Он пережил и похоронил многие «свет-

лообразы» (идеалы), видел «красные пасхи» (грубые вторжения активистов в храмы во время литургии). «Ваш комсомол — это только перевод **твердо-уплотненной** бумаги на членские книжки!» — бурно возражает он Нержину. Он переполнен опытом зрелищ, в которых «родной дикарь» — народ — шел путем профанации всего святого, хоронил в революционном утопизме остатки памяти, приходил в восторг или ярость от велений газетного листка. Может ли удивлять его пессимизм:

«Вот обнажающая плоскость: можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбожевший народ, наделавший столько преступлений, и безо всякого раскаяния — этот народ рабов достоин ли жертв, светлых голов, анонимно ложащихся под топор? Еще сто и еще двести лет этот народ будет доволен своим корытом — для кого же жертвовать факелом мысли?»

Солженицын еще не услышан, не понят... И те, кто зовет его «аятоллой», проповедником патриархальщины, певцом кнута, должны бы вслушаться в эти трагические упреки в адрес народа.

В итоге в Сологдине ожила давняя мечта — «приобрести **миллион**, именно, обязательно и точно — миллион, во чтобы то ни стало — миллион».

Может быть, это решение лидера техноэлиты — всего лишь самоэкзамен на делового человека, проверка себя на выживаемость, протест против казарменной уравниловки? Но после множества слов с большой буквы, после духовных застолий, где данный герой был поваром, готовившим самые утонченные «кушанья», этот склон судьбы, поворот — «а если начальство не перехватит (его идею.— *В. Ч.*), так и кусок сталинской премии» — в целом в чем-то наглядно-мелковат.

Законы диалога, пиршества идей, видимо, предполагают известную отчужденность мысли от образа поведения, разрыв между мыслью и деянием. Диалог — это экспонирование мнений, выставка идей, «белье», развешанное на веревке. Но такого разрыва, по существу, этической несостоятельности лидера техноэлиты, может быть, советского Оппенгеймера, трудно было ожидать. Столько говорить о замене исчезнувших гуманитарных собратьев, об их доле ответственности, взятой на себя! И отбросить... даже собственную ношу? Ведь совсем недавно, в другом коридоре Сологдин призывал даже христианство сделать карающим, воинственным: «Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы

должны иметь мужество видеть зло мира (в данном случае «урок», блатных.— *В. Ч.*) и искоренять его».

Этика оказалась для Сологдина весьма послушной, говоря на языке физиков, «свитой» ядра, частицей, «фрейлиной» инженерного разума.

Автору **некуда** было развивать, как и в случае с Бобыниным, тот вариант свободы, который выработал Сологдин: экспонатное пространство не позволяло... Видимо, и математичность как замена психологизма, универсальность физического закона в роли ключа к **индивидуальной** душе не всегда удачно срабатывают. Сологдин — изысканное «кушанье», но именно после него голод в Нержине... обострился.

В ПЛЕНУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ «СВЯТЦЕВ»

Между прочим, и в 1937 году, и в 40-е годы, когда Солженицын постигал трагедию пленников ГУЛАГа, никто не отменил многих призрачных догм, совершенно антихристианских «святцев». Кто задумывался, например, над тем, что в повести «Мать» Горького один из героев, Андрей Находка, говорит: «Мой грех (убийство.— *В. Ч.*) со мной умрет, он не ляжет пятном на будущее, никого не замарает он, кроме меня,— никого». Да это же чистая нечаевщина, самообман, бесовское наваждение, свидетельство того, что отблески писательской тревоги лежали на повести, этих «святцах» революции!

Приходится ли удивляться тому, что в «Круге» есть и совсем утешительный, оптимистический вариант сотворения свободы? Если в мемуарах Л. Э. Разгона «Непридуманное» этот вариант воплощает автор, Лев Разгон, в «Пережитом» (торопливо выдвинутые еще в противовес «Одному дню Ивана Денисовича» мемуары Б. А. Дьякова) тоже автор, то в «Круге» это главный оппонент Нержина Лев Рубин. Если самого Нержина счесть Онегиным, а Рубина — Ленским, то и о характере их дружбы-вражды можно сказать по Пушкину:

> Меж ними все рождало споры
> И к размышлению влекло...

В чем же сущность тайной свободы, оптимизма Рубина, и в шарашке оставшегося убежденным марксистом?

...Военный переводчик, контрпропагандист в годы войны, свой человек среди немецких писателей-антифашистов, Рубин не просто руководит самообразованием Нержина. Он знает весь круг чтения этого вчерашнего фронтовика, пости-

гающего историю Русской Смуты. «Сколько ты под эту марку (якобы для дела.— *В. Ч.*) перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони, «Работу актера над собой» (К. С. Станиславского.— *В. Ч.*). И наконец, совсем уж потеряв стыд,— исследование о принцессе Турандот? Какой еще зэк в ГУЛАГе может похвастаться таким подбором книг?» — ласково упрекает он Нержина.

Глеб Нержин — стихийный, «сырой» правдоискатель в его глазах — посажен за хорошее «преступление»: за крайний предел «официального правдоискательства», за типичную «краснуху», за чистоту ленинизма: «...всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что **Сталин якобы исказил ленинизм.** Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек **наш**, и потому Рубин имел терпение выслушивать его **вздорные запутанные временные мысли**».

Такой взгляд Рубина на Нержина — не его личный, а как бы надличностный, родовой, часто невысказанный. В целом он справедлив, хотя и слишком пренебрежителен к индивидуальности Нержина. Впрочем, русский простак, льнущий к оппозиции, к «борьбе» с властью — часто с любой властью, с идеей государства! — дело привычное на Руси. Рубин знает этот тип «бунтаря», восполняющего книжным правдоискательством некую врожденную неполноценность, нечто «вечно-бабское в душе» (Н. Бердяев).

Нержин — вполне свой простак для Рубина. Этот подопытный кролик для Рубина еще пребывает по ту же сторону информационного поля, что и он сам, и все либералы. Нержин одержим «разрешенным» — не тупой партократией, не догматиками, а либеральной интеллигенцией! — видом «свободолюбия», оппозиционности: Сталин исказил ленинизм, да здравствуют «хорошие» неискаженные принципы ленинизма! Собственно, и Твардовский, даже в 60-е годы, был убежден, что для атаки на сталинизм, на бюрократию не нужно никаких подсказок со стороны монархистов, эсеров, кадетов, Н. А. Бердяева или И. А. Ильина. Есть свое евангелие: «**Чистый** марксизм-ленинизм — очень опасное ученье (!), его не допускают» («Бодался теленок с дубом»).

Но ведь есть такое явное искажение ленинизма, как пребывание в тюрьме самого Рубина?

Сложный вопрос, но не для диалектика Рубина... Глеб Нержин улавливает, что Рубин, подбирая ответ на него, в чем-то предаст Бобынина, не желающего разделять мифы о всемирном торжестве Передового Учения, что он останавливает,

замораживает и его искания. Рубин усиленно поддерживает в себе полет «коммунистической мечты», веру в объективные железные закономерности истории. Он молится на эти закономерности... перед картой Китая! «Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение».

Катится «красное колесо» революции, бушует вокруг тюрьмы ковчега океан свободы,— и к чему возводить случайность, его судьбу, в упрямый факт! Какие-либо сомнения в возможном откате «красного колеса», в том, что мечта о коммунизме везде побеждает, летит над миром, как песня из популярной в те годы «Кантаты о Сталине»,—

Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит —

в Рубине совершенно отсутствуют. Он сам — всего лишь «спица» в колесе: пусть она вылетела, пусть надломилась...

Сейчас мы часто говорим о всеобщей иррациональной вере в поступь, шествие коммунизма, о наркотизации мышления утопическим ядом, о всеобщей «чокнутости», невменяемости. Но нельзя забывать, что даже в тюрьме этот наркоз не всех оставлял!

Лев Копелев, прототип Рубина, оставил воспоминания о пребывании в Марфинской шарашке, о процессе самопознания, собирания личности, шедшем в Солженицыне:

«Уже в самые первые дни Солженицын сказал мне:

— Ты мог бы мне последовательно рассказать историю революционного движения в России?.. Главное — чтоб без брехни, без замалчивания и, насколько можешь, объективно, беспристрастно. Ты, конечно, пристрастен. Ты же марксист-ленинец и, значит, должен быть всегда партийным... Только не темни, не агитируй и ничего не зажимай. Излагай и другие версии, другие точки зрения. И не мешай мне самому судить, выбирать. Не дави на мозги».

В романе много текстуальных совпадений с этими мемуарами. Так, в ходе одной из бесед Нержин прямо говорит Рубину: «...ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу — и в этом видишь свой ум? В отказе от развития — ум? В торжество вашего чертова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

— Да не вера — научное знание, обалдон! И — беспристрастность!

— Ты?! Ты — беспристрастен?

— Абсолютно! — с достоинством произнес Рубин.
— Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!»

* * *

Это пробуждение. Простак Нержин, до этого нюхавший воздух в поисках возбуждающего «озона», духа оппозиции, оказывается, не ко всякой оппозиции готов примкнуть. Он не хочет пополнить ряды простаков, очарованных Рубиным и его видом свободы.

Впрочем, все ли договаривал Рубин даже такому близкому для себя человеку? Недавнему незрелому марксисту, вдруг затеявшему покушение на святые для него миражи? На святого Ленина, на реликвию Октября?

Характер Рубина легко вводит в заблуждение многих. Многое в его поведении кажется намеренной мистификацией. Соорудил себе уголок оптимизма — карту Китая, постепенно закрашенную в связи с победами войск Мао Цзедуна. Навел, так сказать, мифологический «порядок» среди хаоса истории, случайностей личной судьбы. Говоря на языке философии, он «снял» противоречия прошлого и настоящего, «выправил» историю. А по существу, и спрятался от истории в прибежище из абстрактных закономерностей, из теорий прогресса, веры в марксистский вид разумности истории. При всем этом ухитрился ни словом не обмолвиться о нарочитой жестокости эксперимента с Россией, все трагедии ее списать на мировые законы или... на Сталина лично! Как будто он не знал, как бесновался «живчик» Бухарин в дни разгона Учредительного собрания, каким «дьяволом» был для Дона и Крыма Троцкий! Вот уж кто поистине «над Россией простер совиные крыла...».

Правда, есть что-то совсем не комичное, не наигранное в приглашениях Рубина, обращенных к Нержину: «...забудь про решетки на окнах, про драму пересылок, свиданий с женами, обреченными на ожидание или разрыв, поверь в великую Утопию!» Он зовет греться не у того «костра», что горит в тайге, в тундре, в бесчисленных Дальлагах, а у костра мирового пожара. Надо «катиться» мысленно и дальше вместе с «красным колесом» пролетарских революций, управлять этим Молохом интернационализма:

«— Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Все идет туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме».

Для Нержина невозможно принять этот новый вид религии, религии разрушительства, питавшей все секты бунтарей — от эсеров, меньшевиков до анархистов. Принять такую веру, выстроенную, как изгородь, вокруг неприкосновенной святыни — Февраля и Октября 1917 года,— значит вторично арестовать себя! Уже находясь в тюрьме, добровольно заточить себя еще в «темницу догм». Да и приглашение — «да поднимись ты» — для него непонятно. «А где «верх», где «низ»? Что значит «подняться» или «опуститься»? Если он идет беседовать к дворнику Спиридону, то «опускается»?

Нержин считает, что, «опускаясь» к Спиридону, наивному, далекому от политики крестьянину, он как раз и «поднимается». Куда? Он еще не знает точно, но во всяком случае куда-то выше рубинских вздохов перед «красной» картой Китая...

* * *

На всякого мудреца довольно простоты... Причем простоты, смущающей и обезоруживающей этого мудреца. Критик 30—40-х годов М. А. Лифшиц, на мой взгляд, растерялся перед смешной и чуточку скоморошьей фигурой Рубина:

«В моих глазах она (фигура Рубина.— *В. Ч.*) как бы двоится. Трудно решить, кто он — трагическое лицо, коммунист, продолжающий верить в свою идею, несмотря на все, что обрушила на него реальность сталинской эпохи, или это смешной и претенциозный болтун.

Автор местами настаивает на трагизме Рубина, он подтвердил серьезность этой фигуры сценой прощания с Нержиным. Между тем по содержанию своих речей и поступков, не говоря уже о манере держаться,— Рубин ничтожен... Непонятно, переживает ли Рубин серьезный кризис и духовно растет в тюрьме, как Нержин, или это пустышка, вчерашний сверхортодокс, завтрашний либерал... Мне кажется, что трагедия идейного коммуниста в сталинскую эру заслуживает другого изображения. Ведь перед нами проблема оценки всей нашей революции, ее историческое значение. Более того — здесь речь идет о вековом развитии революционных идей в России и во всем мире накануне русской революции. Нет, Рубин не та фигура, которая может выдержать такую нагрузку».

Здесь мы вновь должны отдать должное Льву Разгону и его собеседнику в «Непридуманном», старому дворянину-монархисту Рощаковскому! Должна была существовать и

проявляться именно такая — назовем ее «наивно ликующей» — точка зрения на сплошное истребление в 1936—1937 гг. всех прослоек старой, «ленинско-мартовской» революционной гвардии и ее оппонентов: от эсеров, левых и правых, меньшевиков до деятелей Коминтерна! Все они, эти наследники «векового развития революционных идей в России и во всем мире», немало, по убеждению Рощаковского и части белой эмиграции, внесли зла, безумия в сознание России, «напылили кругом, накопытили» (С. Есенин). Они оставили без всякого идейного обеспечения «белый стан», погрязли в партийных склоках и в эмиграции. «Проглядели» Россию... А Сталин как бы «внес мораторий» на лихорадку любого словоблудия, разложения, распада России, попросту... истребив всех «болтунов»! Он надолго подморозил Россию, чтобы она не гнила в пустой болтовне, дал ее сжатое евангелие в виде «Краткого курса».

Рубин, вероятно, именно так и понимает грубую, топорную логику действий Сталина. Но в глубине души он, отброшенный Сталиным на периферию, почти в яму, надеется еще на отыгрыш. Он верит, что «красное колесо» еще поднимет его, вновь выделит среди смертных, что Россия вновь «раскалится» докрасна. И найдутся в России толпы очередных слушателей и исполнителей его предначертаний, «теоретизмов», утопических идей.

Но сколько мук приходится вынести и ему в тюрьме до этого «разогревания» России!

Михаил Лифшиц не заметил, что «красный империалист» Рубин искренне страдает, когда видит, что его вера в закономерности, неоцененная преданность «красной» мечте поместила его в среду тупой номенклатуры, которая действительно боготворит Сталина. Для нее и стандартный «Краткий курс» — это плановая духовность на вырост!

В романе в целом весьма сложная система «зеркал». Нержин отражается сразу и в Сологдине, и в Рубине, и в художнике Кондрашеве-Иванове, убежденном, что «каждый человек носит в себе Образ Совершенства», и, естественно, в дворнике Спиридоне. Есть двойник, комический и жуткий, и у Рубина. Этот двойник — случайно оказавшийся в шарашке, «проштрафившийся» полковник Мамурин, начальник Особой связи, по кличке «Железная маска». Вот уж кто искренне страдает от того, что лишился доверия Иосифа Виссарионовича! Он читает — и что читает? — «Борьбу за мир» Ф. Панферова, «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского. От всего этого чтива Рубин, поклонник Данте и Брехта, конечно, брезгливо отвернулся. Мамурин считает Рубина... своим! Это ужасает эрудита:

«...Услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него,— все же свое время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь».

Как странно повторяются исторические ситуации! Мамурин подобно некоторым номенклатурным деятелям, не угодившим в случай, пишет... стихи! И норовит получить одобрение Рубина. Большей насмешки над достоинством знатока Гете придумать невозможно!

Что же остается Рубину? Нержин уходит из-под его влияния. Он ломает ограждения вокруг «святыни» — секретов и версий свершения Февраля и Октября. Он вот-вот придет к осмеянию всех болтунов от либерализма, проложивших дорогу к власти не себе, а свирепому тоталитаризму. Изгнанные или убитые Сталиным, они вторично умрут под стрелами иронии Нержина, этого вчерашнего антисталиниста! А теперь, когда он пошел «дальше», как его называть?!

Войти же в салон Макарыгиных, где хорошим советом относительно судьбы дочери считается одно — «Уж ты ее за чекиста, за чекиста выдавай, надежное дело»,— Рубин, выйдя на свободу, тоже не сможет. Он еще верит, что его революционное горение необходимо, что эта самодовольная среда номенклатурных обывателей когда-нибудь прозреет и уважит его. Смешное заблуждение! Да у нее уже есть свой идеолог и певец — псевдописатель, свой человек для прокуроров и чекистов, генералов и партократов — Колька Галахов.

«Хор мучителей», говоря на языке Л. Ржевского, поет совсем по иным «нотам». Рубин ему не нужен ни как солист, ни как дирижер.

Рубин — упрек тупости «хора» и опасность для него! Он способен защищать революцию умно, талантливо, средствами, которыми эта среда не владеет! Он вечно что-то... «подбрасывает». Этой среде не нужен ум, если все можно подавлять силой. Опасность Рубина в том, что свои средства он может употребить и на ее развенчание... дождавшись оттепели! Уже и сейчас ненависть к Мамуриным и Макарыгиным — но и заодно и презрение к Иннокентию Володину! — переполняет Рубина: «Когда и как они расплеменились, эта самодовольная непробиваемая порода? — из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые, сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь **аппарат**, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?..

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности...

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя»[1].

ОТВЕРЗИ МИ...

Судьбу человека создают не чьи-то мнения, не прогулки среди экспонатов, макетов чужих идей, а интуитивно принимаемые решения, надежды, иногда внезапные подсказки сверху, откровения. Солженицын часто вводит этот мотив помощи герою свыше, гласа Божия, вразумляющего путника. Когда в конце «пиршества», дегустации «блюд», непрерывного диспута Нержин решает все же идти в лагерь, вместо того чтобы создавать аппарат слежки, ловить Володина, во зло употреблять свои познания, то он чуть было не ошибся. Он хотел было передать блокноты с записями, набросками своего романа о смуте 1917 года Симочке, влюбленной в него охраннице, но «какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого». Этот же дух-советчик, который опирается и на лагерный опыт, подсказал ему: можно, не опасно спорить с оперуполномоченным Шикиным, «оттягивать» его из-за книги (томика Сергея Есенина)...

Нержин уже чуточку похож на... Ивана Денисовича.

Почти как Иван Денисович решает Нержин и «проблему Хемингуэя». «Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?» — говорит он Рубину. Как известно, быки и торреро, блистательный риск поединков являются частью увлекавшего всех «трагического» и игрушечного все же мира Хемингуэя.

Еще более народна оценка Нержиным войны, лагеря.

---

[1] В романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана запечатлена подобная же нравственная ситуация. Полковник Новиков, белая ворона среди самодовольной и тупой армейской номенклатуры, ощущает в 1942 году, что он бессилен в этой среде: «**Малограмотность**, иногда казалось ему, является силой, она им заменяла образованность; **его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью**. Перед войной ему казалось, что **у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так.**

Война выдвинула его на высокую командную должность. Но, оказалось, хозяином он не сделался, По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять».

Вакханалия повального малодушия малограмотных вождей в иной критической ситуации показала, что эта среда давно потеряла новых Георгиев Димитровых...

Стоило ему, например, уловить легкомысленное, наигранно-книжное суждение, что на войне есть что-то хорошее, как он буквально взрывается:

«Лев, пойми, ты был на фронте, кроме взятия этой крепости,— полный *придурок*, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя — ценою головы! — отступить. А я — придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...»

Но что помешало характеру Нержина до конца «довоплотиться», завершиться, достичь цельности того же Ивана Денисовича? По сути дела, его отшлифовывали, гранили и Рубин, и Сологдин, и, наконец, даже несчастный Руська, попробовавший играть в осведомителя и изломавший свою судьбу. Многое изменили в нем отношения с женой Надей в минуты поднадзорных свиданий, тюремный роман с Симочкой, но... Но какой-то рок словно обрекает его быть только формулой поиска, рабочей гипотезой самопознания автора. Самый автобиографический герой писателя, созданный с самой близкой натуры, он, увы, куда менее рельефен, чем многие другие в этом романе, чем Самсонов в «Красном колесе» или доктор Донцова в «Раковом корпусе». Столько словесных фехтований, столько идеологем и философем, столько ситуаций выбора, но цельности не достигается!

Может быть, причиной сглаженности, обесцвеченности Нержина является то, что он... составлен, собран из отраженного света, из частиц мировоззрений других людей? В нем есть и непреклонность Бобынина перед соблазнами псевдосвободы. Когда профессор Петр Веренев уговаривает его поработать в шарашке, научиться «жить, чтобы жить», он, помнящий о своей задаче, отвечает: «...и прощения у них не попрошу, и рыбки им ловить не буду!» Нержину близок и скептицизм Сологдина, его способ «ввинчиваться» в любую догму, «цельную» концепцию и взрывать ее изнутри: «...скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки». Собственно, вся страстность спора с Рубиным над священными писаниями ордена меченосцев, над тридцатью томами Ленина и «пузатым «Капиталом» рождена тем, что он, Нержин, еще... наполовину Рубин! И даже тот «не дотравленный троцкист Абрамсон», что слушает доклад **Сатаневича** о судьбе крестьянства в 30-е годы («хлынуло на город, затопило его мещанством, затопило даже сам партийный аппарат, подорванный чистками»),— этот Абрамсон и Сатаневич еще не умерли в Нержине. Правда, петь «славные революционные песни, вроде «Варшавянки»,

«Над миром наше знамя реет», он уже не будет. Да и «хлестать цитатами» из Маркса, Плеханова, Фейербаха и Кампанеллы он тоже не будет...

* * *

«СРАЗУ ВСПОМНЯТ КРЕМЛЕВСКОГО ГОРЦА...»

Так ли нужна была в романе особая глава о Сталине?

Сюжетно она, правда, привязана к шарашке: ведь именно по заданию Сталина, под наблюдением Аббакумова здесь и делают некий новый вид связи. Но сюжет, как мы видели, столь послушен Солженицыну, что может видоизменяться, почти исчезать, «тонуть» в диалогах...

Видимо, не один сюжет подталкивал Солженицына к созданию отдельной главы, по существу, монолога Сталина на даче в Кунцеве. Писатель, как заметил его оппонент Г. Померанц, часто пребывает «во власти реактивного мышления, схемы антинарод — народ», острого желания видеть «Мировое Добро в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло». Об этой реактивности мысли говорит вся книга полемики «Бодался теленок с дубом».

Писатель просто не мог обойти фигуру Сталина, если она в годы войны и после нее была у всех на устах. Как и во времена О. Мандельштама, даже у случайных собеседников:

Если ж хватит на полразговорца,
Сразу вспомним кремлевского горца.

Вспоминает властителя, «отца усатого» и Спиридон, якобы не употребляющий даже возвышенного слова «Родина»... Странно это, если вспомнить восхищение образом Василия Теркина, пережитое Солженицыным в годы войны...

Но что значат все эти случайные, импульсивные воспоминания перед тем развернутым «воспоминанием», которое создает о себе... сам Сталин в главах 19 и 22? Фактически это как бы фрагмент из «Красного колеса», напоминающий сходные воспоминания о себе Ленина...

Бесспорно, следует учитывать, что весь роман «В круге первом» рассчитан был и... на интеллигенцию Запада, должен был прозвучать как тревожная весть из недр империи зла, из-за железного занавеса, пусть и продырявленного в годы «оттепели». Поэтому в монологе Сталина много прямой публицистики, предупреждений Западу, либералам и пацифистам:

«...Ни Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британии

потому, что имели врага на континенте. А у него — не будет. Сразу с Эльбы — на Ламанш. Франция сыпется как труха (французские коммунисты помогут). Пиринеи — с ходу штурмом...

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!»

Но есть в монологе Сталина и нечто отдаленно напоминающее монолог монархиста Рощаковского в «Непридуманном» Л. Э. Разгона, оправдывающее радость некоторой части эмигрантов 30-х годов при созерцании жуткой картины истребления Сталиным старой гвардии большевиков. «Пусть Сталин проведет черную работу как можно дальше»,— писал генерал А. А. Лампе в 1937 году другому русскому эмигранту, замечая, что в СССР «жертвами теперь являются те, кого мы и сами без колебаний повесили бы».

Касается ли Солженицын именно в монологе о Сталине темы 1937 года?

Существует легенда. Однажды на вопрос А. А. Фадеева: «Можно ли писать о 1937 годе?» — Сталин невозмутимо ответил: «Если чувствуете себя Шекспиром, писать можете...»

Вся новизна и смелость проникновения Солженицына в характер, а вернее, идеологическую схему Сталина состоят, пожалуй, в одном,— в его снисходительных оценках Ленина, «опрометчиво поверхностного», в его полупрезрении к свите «тонкошеих вождей» вроде Ворошилова, в его оценках большевизма как некой опьяняющей «подземной жидкости, кипящего черного гнева». Солженицын этим самым не снимает вины со Сталина за случившееся в России после 1924 года, в 1929 году, в пору коллективизации, но сама мысль о вулкане с «подземной жидкостью», клокотавшей и до 1917 года, разлившейся якобы «под руководством» Ленина, а по существу, затопившей и его,— это и есть то «дальше», которого, видимо, так боялся Рубин.

Сталин — лишь продолжение и страшная «стабилизация» вулкана. Он даже «заморозил» эту кипящую темную лаву, как бы остановил перманентную революцию. Но в самой российской почве, под ледяной корой бюрократизированного строя, как выяснилось, были заложены революцией и Лениным столь «роковые яйца» (М. Булгаков), что они породили чудовищ национализма, разложения и много десятилетий спустя после Ленина и Сталина!

В полной мере оправдать заявку Нержина — увидеть революцию сквозь решетки ГУЛАГа! — главы о Сталине и тогда, и сейчас не могут.

В чем тут дело?

Михаил Лифшиц в закрытой рецензии на «Круг» был прав, когда предложил Солженицыну «воздержаться от малейшего журнализма», от «темных закоулков и тайн мадридского двора», от «завтрашней сенсационности». Он словно предвидел вседозволенность и разболтанность однодневных сенсаций Смутного времени так называемой «перестройки». Критик взывал и к гордости Солженицына:

«Он (Солженицын.— *В. Ч.*) говорит о многом, но оставляет без внимания более важное — тайную обиду и страшное чувство неполноценности, которое преследовало Сталина всю жизнь, его нечистую совесть перед лицом той роли, которую он взял на себя, боязнь того, что на свете еще сохранились люди, которые считают его не соответствующим этой роли. Сталин никогда не мог забыть, что в ранние годы он поневоле должен был держаться в тени перед толпой превосходно образованных, хорошо пишущих и красноречивых революционеров из интеллигенции. В нем жила ненависть ко всякому духовному превосходству, ко всякой интеллигентности. Это — обычная черта плебейского революционера, черта историческая. Она ярко сказалась, например, у Нечаева... И Сталин нередко был по-своему прав в своих антипатиях. (Оценки либеральных болтунов, всей Думы как «кипятильника словоговорения» в «Красном колесе» не менее суровы, чем у Сталина!) Но самое главное состоит в том, что это резко выраженное социальное чувство, эта энергия и мстительность, проистекающие из подобных глубин характера, вынесли его на гребень волны и даже позволили ему выразить до некоторой степени оправданные, хотя и темные настроения множества людей. Так он стал «бичом Божиим» или по крайней мере считал себя таковым.

А тот старичок, что действует у А. И. Солженицына, местами слишком безобиден и даже жалок по сравнению с реальной личностью Сталина».

Михаил Лифшиц принял в расчет даже план Солженицына — показать, «что обитатель уединенной дачи под Кунцевом не был гением человечества, а был обыкновенным средним человеком». Соглашаясь с этим, он уточняет: «Это, конечно, верно, однако обыкновенный средний человек на своем месте сыграл историческую роль, и обыкновенная человеческая психология уже не может быть тем ключом, которым отпирается этот замок».

Почему Солженицын не смог отойти от образа старичка, человека средней психологии? Это одна из загадок, ответ на который надо искать в «Красном колесе». Но мало

кто еще обратил внимание на эту сложную взаимосвязь. Вслед за М. А. Лифшицем, явно не удовлетворенным тем, что не всю вину за вселенскую катастрофу связал Солженицын со Сталиным и, стало быть, много виновников осталось вне его внимания, свое неудовольствие высказал и критик из Женевы Ж. Нива:

«Четыре главы «Круга первого» о Сталине — парадигма и эталон солженицынского метода: стареющий полубезумный деспот, закрывшийся в своем бункере, который защищает его от постылого солнца, тянет у нас перед глазами долгую канитель своих мыслей...»

В известном смысле «канительна», несколько натужна и система добродетелей главной жертвы Сталина — мужика Спиридона. Он обречен... быть добродетельным: ведь Нержин ищет в нем утешения от лжи образованщины, ищет физиологии жизни после сплошной «идеологии»... Но незаметно для себя писатель накладывает «лак» на всю историю скитаний, хождений по мукам Спиридона, его семьи: воля к идеализации практически сковала весь процесс познания народа... И опять — какой-то странный пробел: ни единого слова ненависти к фашизму, оценки нашествия гитлеровских орд в Россию не прозвучало в исповеди Спиридона. Природа этой немоты загадочна... Неужели низкое небо тюремного двора, грязная брезентовая крыша так сжали, сдавили помыслы вчерашних фронтовиков, обесцветили память? Видимо, «сверхзадача» писателя в известном смысле вмешалась и в сокровенные миры самодвижущихся сознаний, в работу воображения... Упрекать Солженицына в «почвенничестве», в «неославянофильстве» весьма трудно: Спиридон как «почва», как «земля» (народ) слишком рационален, не «самоброден», говоря на языке писателя. Место в сюжете ему найдено, он... не найден...

СВЕЧА НА ВЕТРУ
(Аксиомы религиозного сознания в обезбоженном мире)

«Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где».

А. Солженицын. «Раковый корпус»

«Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию».

Книга Иова.—36 гл.—С. 21.

«ПРОСТИМ УГРЮМСТВО...»

Один из критиков как-то сказал, что многое «съеживается» в сопоставлении с Солженицыным. Все, казавшееся до него простеньким и несложным, вдруг предстает сглаженным, фактически изуродованным, сущей тенью реального... Он резко увеличивает давление неразрешенного и неясного на каждое сознание.

А как Солженицын-писатель обращается с читателем? Даже самым доверчивым?

Солженицын-проповедник часто угрюм, совсем не ласков с читателем, он и его заставляет «сжиматься» от сознания своей беспечности, полного беспамятства. Временами кажется, что он обращается даже и не к отдельному читателю, а сразу к целой толпе непросвещенных простаков, обращается, даже несколько сурово раздражаясь, сетуя на родных дурачков. Зинаида Гиппиус в 1917 году, в разгар манипуляций с народным «сознанием», так же точно раздражалась, взывала, молебствовала. Даже в дневнике:

«Бедная Россия. Да опомнись же!» (22 февр. 1917)

«Бедная земля моя. Очнись». (23 февр.)

«Неужели — поздно?

...И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит». (4 сент. 1917)

«Несчастный народ, бедные мои дикари...» (4 сент. 1917)

Для Солженицына дневник — его произведения. Он, бесспорно, знает эти муки. Но молебствует он не часто, смягчается и делается приветливым еще реже. Правда, улыбка

сострадания, боль за пассивную, беспамятную «массу» все же сопровождают его проповедь. Все это создает неповторимую поэтику «разговорности». Такого сурового духовного пастыря-мученика еще, пожалуй, не знала русская словесность.

Стоит ему коснуться, скажем, такой темы, как Сталин и народ, Сталин и близкое ему окружение, вспомнить идиллическую картину их «единения» в былых «народных» песнях:

Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
А вокруг летали
Соколята стаей,—

как следует целый поток раздраженных возгласов и прямых объяснений по поводу «народа» и «вождей-соколят»:

«Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для этого и нужны были миллионы портретов по всей стране (а Сталину самому они зачем — он скромен)...»

«А эти все, с Вячеслава (Молотова.— *В. Ч.*) — Каменной задницы и до Никиты-плясуна (Хрущева.— *В. Ч.*),— разве это вообще люди?»

«Как царь Мидас своим прикосновением обращал все в золото, так Сталин своим прикосновением обращал все в посредственность».

Критики давно заметили, что для Солженицына характерны и такие инвективы-суждения: «лишь средство очищения, избавления от ярости, которая в нем клокочет» (Ж. Нива). Особенно много их возникает в «Архипелаге ГУЛАГ», «Красном колесе» и, конечно, в книге литературной полемики «Бодался теленок с дубом».

Справедливы ли они всегда — вопрос, не решенный еще временем. Но трудно не «сжаться» перед новым яростным пророком Иеремией! Особенно неискушенному, обманываемому политиканами массовому читателю!

Существенно другое обстоятельство: заставляя «сжиматься» других, уменьшая в них пространство сладостных мифов, лжи, иллюзий, Солженицын в то же время предельно сжимается и сам. Он концентрирует в себе луч света, пламя гнева. Ему чаще всего — не до беллетристики. В таком состоянии он начинает выхватывать из массы, с которой беседует, счастливо угаданные души единомышленников, всех прозревающих, идущих к нему за истиной.

Не отсюда ли поистине огромное количество людей, превратившихся из читателей в почитателей? Помогавших писателю хранить рукописи, пересылать их?

Сильнее всего, несомненно, было всегда властное жела-

ние Солженицына угадать в собеседнике, в читателе одно: способно ли к тому вернуться «дыхание и сознание», свободная речь после молчания? «По какой рубеж своя» эта новообращенная душа?

В пьесе «Свеча на ветру» Солженицын приведет выдержку из Евангелия от Луки:

«Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом,— но на подсвечнике, чтобы видели свет».

Этот вождизм, «гордыня ума», воля к самоутверждению и есть подсвечник для свечи его таланта. В то же время из силы воли, мужества «сметь свое суждение иметь» непрерывно строится вся солженицынская вертикаль от земли к Небу... Та самая вертикаль, по которой «веление Божие сходит на землю» и находит его на земле. Многое в чередовании строгости, назидательных «морозов» и лирических «оттепелей» в интонациях Солженицына, в произведениях, создававшихся нередко в одно и то же время, объясняется также и уникальным характером понятия «литературный процесс» для Солженицына.

Мог ли он просто «жить-поживать да добра наживать», как жили многие начальствующие литературные обыватели? Для них литературный процесс — это спокойное плавание по течению. Он же все 60—70-е годы именно «бодался», таранил, шел в рискованный бой на Систему, на пласты рабства, на инерцию покоя и невежества в читателях. «Дело Солженицына-писателя» в сентябре 1967 года, после его «Письма IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей» (16 мая 1967 г.), дело об исключении его из Союза писателей, дело борьбы за сохранение рукописей, дело защиты «Нового мира» в 1969 году от внутреннего измельчения и атак извне и т. п.— все эти «дела» превратили литературный процесс для него в обоюдоострую схватку, даже в дерзостную авантюру со своей фабулой и сюжетом, в игру тьмы и света.

Поистине непривычная судьба на фоне плановых судеб тех псевдописателей, которые «обсуждали» его на Секретариатах, «выездных» комиссиях! Они-то выстраивались в очереди на государственные премии, ордена, на звания Героев Труда... Для них понятие «литературный процесс» было совершенно иным: оно исключало, высмеивало творческие кризисы, муки Гоголя или молчание Чаадаева, предполагало легкость, переимчивость мысли, пафос «перебежек», смены кумиров, измены и оборотничество. Это показала эра новой керенщины, когда «разочарование в коммунизме» и быстрое очарование капитализмом стало просто элегантным жестом.

В этой атмосфере и создавалась повесть «Раковый корпус», тоже «задержанная» с публикацией в годы «боданья». И в ней «колебания свечи» также предельны: от почти полного затухания свечения до опаляющего пламени, от завалов публицистики до неподдельного лиризма и даже молитвенного экстаза.

ПРОПУЩЕННАЯ СТРАНИЦА В ЛЕТОПИСИ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ...

Роман «В круге первом» — это пиршество идей, мнений интеллектуалов на шарашке, с которого главный герой Глеб Нержин уходит в лагерь более «голодным» духовно, чем пришел,— создавался одновременно (или параллельно) с небольшой повестью «Раковый корпус». Это пиршество было противопоставлено с математической строгостью прямому обжорству в доме прокурора Макарыгина и ритуальным «карьерным триумфам», цинизму мысли в рамках «литературного процесса» писателя Галахова. Главный герой романа Глеб Нержин, изгой для Макарыгиных, уходит, однако, и от лагерных Сократов и Мефистофелей, уходит после бескомпромиссной полемики в лагерь. Он смешивается с народом...

Что же отличало повесть «Раковый корпус» от романа?

Заметим, что писатель побывал в годы ее создания в онкологической клинике в Ташкенте, где в 1954 году был спасен врачами.

Не будем вдаваться в сей вопрос, останемся в рамках доступного непредвзятому анализу. Допустим одно только предположение, на которое нас навела писательница И. Грекова: повесть «Раковый корпус» отмечена каким-то светлым, необычным восторгом перед чудом красоты. В ней меньше «математики», расчета, но больше того вдохновения любви, безрассудства ее, о котором сказал когда-то Б. Пастернак:

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею...

Это благоговение, почти «женобесие» главного героя Олега Костоглотова перед врачом Верой Гангарт («Вегой»), самым «воздушным» женским образом в творчестве Солженицына, его же «колесо игры», которое он в избытке жизнелюбия «катит» — в намеках, в ухаживаниях — с медсестрой Зоей, сделало автобиографичного героя... даже много моложе Нержина! Хотя он должен быть по крайней мере на десять лет старше Нержина!

Весьма существенно и другое различие романа и повести, которое можно назвать своеобразным «бунтом разума», уточнением ориентиров.

Этот бунт лишь назревал в романе «В круге первом», в духовно «голодном» Глебе Нержине. Его уже удручало, что слишком сливалось, догматизировалось личное «я» его собеседников-интеллектуалов с некоей персональной, но сверхличной истиной. Слишком далеко заходило превращение их в **глашатаев**, в «сделанных философов».

Весь роман — этот «Миланский собор» со множеством приделов, портиков, шпилей, приставных новелл — был, как мы сказали, слишком математичен, логичен по построению. Не будем гадать, откуда взялась уверенность, что все рациональное, предельно логичное — самое умное... А может быть, «великие мысли приходят из сердца»?

В «Раковом корпусе» изображена ситуация, когда именно разум возмущен своим могуществом. Он не унижается, не посрамляется, но делается внезапно бессильным. Для всех звучит напоминание о природном равенстве перед смертью. Для наивных и сверхумных — одинаково грозно. Это напоминание, всегда неожиданное и обидное, даже глупое и нелепое, особенно остро оскорбляет захваченных историческими деяниями и вещаниями людей обезбоженного XX века. Какое неприличие эта глупая железная «метла», вдруг выметающая, равнодушно погружающая во «тьму кромешную» всех одинаково!

Для Солженицына сам взмах этой метлы над ним был вдвойне оскорбителен и нелеп. Критик Евг. Шкловский довольно точно обрисовал внешнюю ситуацию — ее пережил и сам Солженицын, попав после лагеря и высылки в Кок-Терек в онкологическую клинику в Ташкенте! — в повести: «...жизнь вырвалась из застенка, из-за колючей проволоки, но — оказалась скованной уже не приговором ОСО (Особое совещание.— *В. Ч.*), а как бы самой природой».

Этот стук судьбы, конечно, неодолимой разумом, ужас смерти обнаруживает чувство богооставленности, даже чувство страха перед приговором Божиим, скрытое в каждом. Смерть кажется извне налагаемым наказанием, возмездием, мщением. «За что? Почему? — вопит, возмущается даже отъявленный безбожник.— Откуда свалилось на меня это смертное изнеможение, эта неожиданно повеявшая нездешняя прохлада?»

Подсказать хотя бы иллюзорное утешение, намекнуть, что для искренне верующего смерть как «разрешение души от уз тела» есть какой-то переход, великое откровение духовного мира,— сделать это в атеистической стране было

почти некому. Даже обычная жалость считалась апелляцией к слабости. И Нержин ушел со своего пира идей «голодным» именно в нравственном плане. Иван Денисович в «Одном дне...», как мы помним, только сердито отшутился от всех истин Алешки-баптиста.

Есть право предположить, что Солженицын, как и многие другие летописцы «русской Голгофы», поверхностные атеисты по воспитанию, даже по образованию, не воинствующие, как большевик Емельян Ярославский, внезапно увидел: мы все проглядели одну человеческую трагедию той же лагерной России. Вся наша проза и поэзия — вплоть до автора романа «Дети Арбата» А. Рыбакова и, увы, создателя хроники «Погружение во тьму» О. Волкова — проглядели трагедию гибели церковной интеллигенции в 20-е годы, выморочного существования церкви в 30-е годы. Где православные новомученики российские в нашей прозе?

Все, казалось бы, запомнил поэт Анатолий Жигулин в лагере, таежном «поселке странном у реки»:

Я не забыл:
В бригаде БУРа
В одном строю со мной шагал
Тот, кто еще из царских тюрем
По этим сопкам убегал.
Я с ним табак делил, как равный,
Мы рядом шли в метельный свист:
Совсем юнец, студент недавний,
И знавший Ленина чекист...
О люди,
Люди с номерами!
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы...

Странно, но сам ослепляюще-правдивый пафос этих строк, как и воспоминаний Л. Разгона («Непридуманное») или Е. Гинзбург («Крутой маршрут»), не позволял даже задуматься о трагической участи «проклятых попов». Многое в лагерной летописи и писалось как будто незаконно репрессированным... Павкой Корчагиным, который еще помнил свой «восхитительный» подвиг в приходской школе, когда он насыпал махорки в пасхальное тесто «гадюке вредному», «попу проклятому»... Во многом он, может быть, раскаялся среди натиска дистрофии, пеллагры, ужаса блатной морали, а вот о детском идейном озорстве едва ли даже вспомнил.

В других авторах лагерных исповедей или сцен раскулачиваний виден дурашливый люмпен-анархист 1917 года, солдат из крестьян, пострадавший в 1929 году, но забывший, как он же, Бог весть во имя чего, заполошно, сум-

бурно возглашал в 1917 году, как крестьянский поэт Пимен Карпов:

Сторонитесь, попы долгогривые,
Нипочем теперь мать и отец.
Разгулялось поволье гульливое,
Понакликало свету конец.

(«Русский ковчег», 1922)

Мы так одичали, что навыки покаяния вообще сделаны были постыдными. «Большевики не сдают взятых крепостей»[1]. А ведь, казалось бы, если столь многое в твоей судьбе «понакликало свету конец», то следовало бы просить прощения, искать покаяния у первой жертвы смуты, всего обезбоженного мира — у Церкви! И хотя бы на миг задуматься о тех, кому духовно было всех тяжелее среди обокраденного, ослепленного народа, среди людей, лишенных и перед смертью глотка «религиозного кислорода»!

К счастью, кое-какие свидетельства об этом разряде мучеников, увы, исходящие не от бывших либералов 1917 года, не от знавших Ленина «хороших» чекистов 20-х годов, в последние годы все же получают права гражданства. И мы узнаем, с потрясающими подробностями, эпизоды мучений даже икон — скажем, скитаний икон Пресвятой Богоматери — в разрушенных храмах, в обезбоженной России, видим муки тех, чьи моления до нас не дошли, чьи мученические венцы нам не были видны. Их мучили, оскорбляя их веру, даже память, те, кто не ведал, что творит, ликуя фактически на собственных похоронах. А эти священномученики-священники искали прощения и для своих мучителей, вымаливали их грядущее просветление! В час беды, болезни, натиска смерти. Один из этих безвестных мучеников — ссыльный священник — написал, не дождавшись покаянных строк от много пишущей поэтической братии, поразительные строки в историю русской Голгофы. Приведем эти строки, пополнив летопись ГУЛАГа:

...Цинготные, изъеденные вшами,
Сухарь изглоданный в руке...
Встаете вы суровыми рядами
И в русских Святцах, и в моей тоске.
В бараках душных, на дорогах Коми,

---

[1] Солженицын впоследствии написал статью «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», где на всеобщий суд вынес великий упрек народу, всем, кто страдал или умножал страдания: «Вот уж полвека мы движимы уверенностью, что **виноваты** царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты...— только **не мы** с тобой! Стало быть, и исправляться не нам, а им».

На пристанях, под снегом и дождем —
Как люди, плакали о детях вы, о доме
И падали, как люди, под крестом.
Вас хоронили запросто, без гроба,
В дырявых рясах — так, как шли...
Вас хоронили наши страх и злоба
Да льдистый ветер северной земли.
Без имени, без чуда, в смертной дрожи,
Оставлены в последний час...
Но ваша смерть палит, как пламень Божий,
И осуждает нас!

Можно только пожалеть, что в хоре «людей с номерами» у Солженицына, у Шаламова, даже у О. В. Волкова не прозвучал голос тех, кто и осуждал, и одновременно вымаливал прощение слепым мучителям России. Они говорили и в годину страшного разъединения о соборной целостности народа, о том, что не оставлена наша земля извечными ее заступниками. Вероятно, над ними бы посмеялись, от доводов их «отмахнулись бы». И все же миг всенародного воскресения был бы приближен...

КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ

Увы, русские Святцы еще и сейчас неполны... И в сером, унылом «доме в конце аллеи» (так, «помягче», хотели назвать «Раковый корпус» перед публикацией в «Новом мире».— *В. Ч.*), куда, как в ковчег спасения, являются и бывший узник ГУЛАГа Олег Костоглотов, и видевшие если не Ленина, то иных «вождей» номенклатурщики Русанов и Шулубин, не нашлось, конечно, священника. Плацдарм для расширения споров «в эту сторону» не был отвоеван. Но пограничная ситуация встречи со смертью заставляет всех видеть свою протекшую жизнь в свете совести, выяснять общую связь событий. А может быть, **итог** не есть еще **конец**? И разлучение души с телом лишь продолжение жизни? Это уже мысли, которые «не влезают» в материализм...

Фактически в повести онкологический корпус — исповедальня, место для причастия, последняя возможность выяснить собственную **падшесть**, ограбленность... Но где праведник, который скажет этим мученикам и горделивцам, порой просто лютым разбойникам, даже глумливым, что и в них в осколочном состоянии сохранен образ Совершенства, изображение Вечности? Кто спросит их словами апостола: «Итак, смотри: свет, который в тебе,— не есть ли тьма?»

От обычной, «нормальной» профанации смерти они спасают себя сами: хотя бы в невольных раздумьях о дурном

и хорошем, в бессознательном покаянии. Все больные — сами себя исповедуют и причащают. Это делает, например, измученный, не раз отрекавшийся и предававший Шулубин, цепляясь за некие осколки: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не все я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа...»

Исповедальня без священника... Каждый сам себя исповедует.

Шулубин, мог бы, вероятно, стать самой драматичной фигурой среди кающихся героев Солженицына, если бы... не чересчур заданно, либерально и публицистично звучали его демонстративные исповеди! Фактически он и на смертном ложе живет как орудие митинга, пушка крупного калибра, стреляющая... В кого? В традиционную мишень! «То лучшие комдивы гражданской войны — немецко-фашистские шпионы,— а он — верит? То вся ленинская гвардия — лютые перерожденцы, а он — верит?» Конечно, и ребенок скажет — это о Сталине... В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын будет иным: он выведет фигуру ленинского гвардейца Бухарина, засыпавшего «Его», «дорогого Кобу» уверениями в своей преданности партии, а «Он», зная содержание писем заранее, будет спокойно готовить «Бухарчика» для очередного процесса-спектакля...

* * *

Неспокойное движение заметно и в самой повести. В сущности, здесь, на жесткой больничной койке, на пороге небытия, исполняется для многих то неуслышанное предупреждение Агнии преуспевающему чекисту Яконову из «Круга»: «Остерегись и ты... Заинтересовавшись **процессом** жизни (карьерой.— *В. Ч.*), мы теряем... теряем... ну как тебе передать... Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка...»

Оно, предупреждение, попадало обычно в разряд пренебрегаемых величин! «За хмаркой (тучей.— *В. Ч.*) Бога нэма!» — так «объясняли» после агитполетов 20-х годов крестьянам украинских или воронежских сел суть мирозданья наивные механики-атеисты. Был утрачен язык для передачи многих тайн опустошенного (покоренного) пространства и времени. Агния не случайно сбивается: «...мы теряем... ну как бы тебе сказать...» Матрена в рассказе «Матренин двор» и такого обозначения «тайны» — «вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели» — не найдет. Когда у нее даже в церкви на водосвятии унесли котелок со святой водой, «вернулась Матрена печальная. Всегда у нее была святая вода, а на этот год не стало». И ведь мелкое дно у котелка, про-

зрачна вода в нем,— где же тут-то Бог? И здесь его, как за пресловутой «хмаркой», явно нет?.. А «этот год» оказался роковым образом последним в жизни Матрены.

Солженицын вовсе не зовет всех сразу уверовать в некий высший нравственный образец: то, что отнималось десятилетиями, не вернешь эстетическим декретом. Он лишь напоминает, что вырождение нравственной активности ведет к возникновению в человеке и вокруг него фиктивного, плоского мира, укрощенного во всем, разрушившего память и множество связей между людьми и пространством... Сам он давно уже слышал это предостережение Агнии (невинной, безгрешной — по-гречески). И ход времени для него — не мелькание дешевых событий, календарь съездов или памятных речей. Ход времени для него — это незримый процесс развития, расширения Мирового Духа, влекущего за собой человека. В «Круге» Нержин неожиданно начинал искать такую «**точку зрения**, которая становится дороже самой жизни». Что это за точка? На какой спирали она находится? Есть спираль выковывания души, у нее — особый календарь, который отметает мелочные «события». Если процесс «выковывания души» не остановлен, то человек преодолевает и главную опасность, которой так боялся Нержин,— «погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: **не море топит, а лужа**».

* * *

«Раковый корпус», и в частности супружеская пара старичков Кадминых, болеющая бедой своего соседа Костоглотова, живущая столь же тихо, как Матрена, заставил вспомнить о некоей «мелочи», об очередной пренебрегаемой величине в мире Солженицына. Если и шарашка, и лагерь, и больница — это ковчег, то где ближайшее окружение Ноя, где спасаемые им твари?

Вспомним, что даже В. Шаламов не сразу понял Солженицына в этом плане. Он заметил автору по поводу «Одного дня Ивана Денисовича»: «Какие там еще кошки на вахте? В нормальном ИТЛ всех кошек давно уже съели». Но вскоре появится «Матренин двор» — и в нем опять у хозяйки колченогая кошка с перебитой лапой и еще однорогая коза. Большего «лодка» ее не выдержит. В том же «Круге» дворник Спиридон вспомнит лошадь Гривну, на которую он ни разу кнута не поднял. В «Раковом корпусе» явятся на свет кошки библейских стариков Кадминых и предельно близкий меньшой брат человека — пес у доктора Орешенкова:

«...Этот пес становился на задние лапы не служить, а в знак дружбы положить передние на плечи человека. Орешенков именно угостил его пирогом как равного — и тот как равный неторопливо снял зубами с ладони-тарелки, может быть, и не голодный, но из вежливости».

Для героев Солженицына характерно именно мирное и даже братское содружество с этими козами, кошками, лошадьми. Люди как бы спасают эти существа от потопа, от... озверения! Т. Лопухина-Родзянко заметила, что есть особое кроткое состояние души библейского Ноя и членов его семьи в отношении к животным, состояние, послушное во всех нюансах голосу Бога. Она вспоминает, что и на иконах, в житиях святых мы часто видим образ святого, вокруг которого кротко собираются как бы спасенные, обязанные человеку лесные звери, доверчиво лижущие ему руки. Это и есть изначальное райское отношение человека и твари!

Память о ковчеге, где спасены были «все вместе», отчасти ожила и в Олеге Костоглотове, когда он после чуда, спасения в онкологической клинике почти невольно идет... в зоопарк. Здесь он постепенно восстанавливает свою «цельную утреннюю душу», созерцая клетки и загоны винторогих козлов, бурых медведей, фазанов и барсуков...

Солженицын всегда политик, его «ковчеги» плывут «сквозь извилистый заблудившийся поток проклятой Истории». Но тем поразительнее все его попытки пробиться к самой мучительной тайне бытия: «...претворение зла в добро через страдание».

ВПЕРЕД, НО... ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД!

Великий русский философ Сергей Булгаков, как бы снисходя к немоте и глухоте обитателей «ракового корпуса», к их слепому поиску утешения, однажды очень просто и ясно разъяснил им же смысл их мучительного промежутка:

«Смерть не безусловна и не всесильна. Она лишь надрывает, надламывает древо, но она не непреодолима, ибо уже побеждена воскресением Христовым.

Если Христос почтил восприятием человеческое естество, то Он почтил его через восприятие человеческой смертности, потому что без нее это восприятие было бы неполным. И если Христос искупает и воскрешает всякого человека, то потому лишь, что он с ним и в нем со-умирает. В эту полноту смерти, точнее соумирания Христова, включена смерть всякого человека и всего человечества...

Земная жизнь обращена лицом к смерти, но страшный

час смерти есть и радостный час нового откровения, исполнения «желания разрешиться и со Христом быть».

Короче говоря, человеку есть на кого оглянуться. Даже самому неверующему. И чем больше умирает в тебе и с тобой Христос, тем сильнее будет энергия воскрешения! На более будничном и простом языке — языке общечеловеческих ценностей — один из героев Солженицына, по сути дела, говорит об этом же всем устрашенным обитателям больничного или лагерного ковчега так:

«В человеке от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы ядро человека, это его я! И неизвестно еще, кто кого формирует! Жизнь — человека или сильный духом человек — жизнь! Потому что... **ему есть с чем себя сравнить. Есть куда оглянуться**...»

Есть куда оглянуться и есть во что заглянуть! И совсем близко — в собственную душу: «...насколько удалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным — изображение вечности, зароненное каждому».

Солженицын и сам пережил потрясение, которое, видимо, и его заставило оглянуться на Голгофу, где испил всю полноту чаши смертной Христос. Он сам рассказывал об этом потрясении — натиске раковых метастаз и избавлении от смерти: «Однако я не умер. При моей безнадежно-запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель...»

Эта мимолетная мистификация, своего рода мифологизация собственной судьбы и всех ее мгновений понятна. Пророк должен поддерживать в себе чувство вечной новизны, необыкновенности. Ему необходимо ощущение, что он ось и вершина многого, что духовно значимо, что происходило в России в 60—70-е годы. И дух — непрерывный «ткач» всех покровов его судьбы.

Важно другое: психологическое обоснование зарождения страшной, почти непредсказуемой болезни. Старение души, очевидно, поддается исследованию. Когда-то казалось, что рак — это первый звонок усталости, старения, утраты пластичности организма. Ведь старение — это постоянное накопление повторяющихся и лишенных новизны моментов в жизни, сужение желаний, даже словаря, всеобщее «опрощение».

Антитеза старению — обилие всего неповторимого, нового, цветущая сложность желаний и... недостаток слов для передачи этой сложности, воля к языковому расширению. В болезни, настигшей Солженицына, была заключена некая

загадка: она выглядела в его глазах местью природы за какую-то навязанную извне неестественность, неорганичность жизни, за какое-то «торможение» и опрощение человека, за предписанную старость... среди молодости! Он сказал однажды:

«Рак — это рок всех отдающихся жгучему, желчному, обиженному, подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут... Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется... скажем, дух».

С этой точки зрения — кто пошатнул дух, кто заложил клетки «старости» в людей? — автор и всматривается в пассажиров роковой палаты № 13.

Можно сказать, что какая-то закоренелая, долговременная теснота, духота, обида сдавливала жизнь всех, кто попал сюда. Оглядываясь на прожитое, они видят, что даже кажущийся простор, «размах», разгул их жизни был, в сущности, обманчивым! Они порой ощущали себя вольно, свободно только потому, что сами предельно сжались, упростились, «сократились»! Что оглядывались они (или восторженно заглядывались!) на очень условные, однодневные образцы, лозунги, плакаты! И всех их было легко утешить... Чем? «Напоминаньем больших зол»...

Вся повесть в известном смысле — это непрерывный этический, даже «богоискательский» процесс, порой гротескно отражающий все предшествующее бытие героев. Такой необычной «телеологичности» (богоискательства, покаяния и оправдания) на отрезке жизни, стольких гримас, немоты, пробующей вдруг заговорить, еще не было, пожалуй, в советской прозе... И самое любопытное, что в наибольшей степени оказались способными опрозрачнеть душой, увидеть изображение вечности, «оглянуться» на Христа те герои, которые были далеки от всяческой политики. Солженицын вновь находит праведников, без которых не стоит ни город, ни земля.

Одна из таких праведниц — врач Людмила Афанасьевна Донцова. Это человек из очереди, из утренней массы спешащих на работу, живущий вне всяких льгот и привилегий. Единственное ее достояние, фактически подвиг в условиях профанации всех ценностей — сохранение святости ее труда, спасение этой сферы от поругания, отчуждения, безразличия. Но сколько обид наносит и ей жизнь на этом клочке ее бытия! Каждое мгновение ее жизни — обход палат, беседы с сестрами, изучение историй болезни (увы, «завершающихся», скомканных историй!) — это абсолютно тесная, «обиженная» жизнь. Все подробности ее ежедневного тру-

да — редкий образец лиризма, задушевности прозы Солженицына. Вслушаемся в скрытую мелодию одного из описаний, всмотримся в перемещение лучика света в предметном слое событий, окружающем эту героиню:

«Она сошла, где надо было пересаживаться на другой трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и *решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушел.* В рыбном нечего было брать — селедка, соленая камбала, консервы... Она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.

Но пока она тут стояла за двумя человеками — *какой-то оживленный шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ, и все выстраивались в* гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна *дрогнула* и, не дождавшись получить в бакалейном, *ускоренным* шагом пошла тоже занимать *и к продавцу и в кассу.* Еще ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но *теснившиеся женщины точно сказали,* что будут давать ветчинно-рубленую *по килограмму в руки.*

Так удачно она попала, что был смысл *чуть позже занять и вторую очередь*».

Как зорок «киноглаз» Солженицына и как безошибочно его нравственное зрение! Что вещать о волнах потопа,— мы все бредем через лужи подобной прозаичной нужды, «вздрагиваем» не от благой вести, а от шума сгружаемых внезапно ящиков с вермишелью или ячневым концентратом. Эти «лужи» нас и топят... Миллионы русских женщин — матерей и жен — так вот метались и мечутся ныне с устало-трагическим выражением лиц между кассами и очередями. Между «первой» и «второй» очередью... И при этом им еще надо чутко ловить волны странной «информации», растекающейся по очередям, порхающей с улицы на улицу, по внешне беспорядочным и пассивным толпам,— информации о том, где и что «выбросили», «хватит ли», по скольку дают «в одни руки». И надо еще думать, чтобы тебя «признали» в одной очереди и не вытолкнули в другой!

Это вновь комплекс Ивана Денисовича,— нет, не хищнический, не уголовный, согласно которому «умри **сегодня** ты, а завтра я!» — комплекс, в котором к навыкам выживания еще долго бывает примешен какой-то коллективизм, чувство общей судьбы, равенства в беде, слабеющий принцип человеколюбия, неосознанного высшего единства людей во Христе и через Христа. Позорны не эти метания, не воспаленность ума и агрессивность в поисках лишнего кило-

грамма «ветчинно-рубленой» или двух бутылок подсолнечного масла. Позорно, что наиболее частым поприщем проверки пресловутой «соборности», человеколюбия, доброты становятся именно очереди, «списки» еще живущих душ, знаки чернильным карандашом на ладони...

Что остается в душе той же Людмилы Донцовой, если «вычесть» из состава ее эмоций груз забот, погони за хлебом насущным для семьи, тяжесть унижений очередей, постоянных ударов «потопа», агрессивного расчеловечивания? Казалось бы, ей никогда не высвободиться из ощущения ущербности, острой нехватки сил для продолжения поединка с жизнью, с веком. «Были мы люди, а стали людье»,— горько писал об этой эволюции человека О. Мандельштам. Увы, все же не стали... И результаты «вычета», изучение того, что все же оказывается «в остатке», вероятно, способны поразить западного читателя. Все, что остается «в людье»,— это уже священно.

Нельзя никак иначе оценить ни единого душевного движения, ее, этого Христа в белом халате, когда Донцова обходит свою палату, мысленно беседуя с каждым больным. Это не обход, а шествие... Да как же ты не вымолочена до конца, не ограблена начисто? А ведь Донцовой надо еще вести изнурительные «месткомовские» бои за лучшую сестру Олимпиаду, которую готовятся перебросить на бездельную «общественную работу», укрывать свою помощницу и преемницу Веру Гангарт (она, на беду свою, оказалась... немкой!). И самое кошмарное — ей предписана плановость «оборота койкомест». Проще говоря, ускорение движения всего конвейера страданий, превращение ее труда в фикцию. Значит, кого-то надо выбрасывать, не долечив, не убедившись до конца, что «ошиблась все-таки смерть, а не врач».

Проще говоря, наша лужа топит образ Совершенства в человеке. И тем удивительнее, священнее та доброта, которая связывает Людмилу Афанасьевну с ее больными. Главный герой повести, вчерашний зэк Олег Костоглотов определяет этот великий и святой «остаток» души, который не разорен жесткими ударами, так: «В том ледяном мире, который отформовал, отштамповал Олегову душу, не было такого явления, такого понятия: «нерасчетливая доброта». И Олег — просто забыл о такой».

Все сцены обхода больных Донцовой как бы озвучены этой неощутимой, безмолвной и нерасчетливой добротой. Возникают диалоги, которые понятны только родственным душам, сохранившим начала доброты и сердечности.

Солженицын очень тонко, незаметно показывает, что и в Донцовой, и в Вере (Веге) Гангарт великая идея челове-

ческой доброты, сострадания поднята до уровня высочайшей духовно-исторической ценности. Кругом развешаны плакаты с цитатами «вождя», крылатыми формулами Горького, а они оглядываются, поистине через головы поэтов и правительств, на совсем иного заступника людей. И безо всякой позы! Прекрасен весь диалог Донцовой (тоже заболевшей раком) и смертельно больного татарина Шарифа Сибгатова:

«Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но верные союзники, перед тем как хлыст победителя разгонит их в разные края».

«Ты видишь, Шариф,— говорили глаза Донцовой,— я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже».

«Я знаю, мать,— отвечали глаза татарина,— и тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я спасать тебя — не могу».

Четкость линий, прочность слова не нарушены: ни разу в Донцовой или том же Сибгатове не мелькнет риторика об осколках Мировой Души, о личном духовном Ренессансе перед лицом смерти. Всматриваясь в нечто сокровенное, не замутненное в себе, эти герои бессознательно преодолевают безбожное самодовольство...

* * *

Но скептик может торжествовать: в итоге немыслимых перегрузок, из-за полноты самоотдачи Донцова и сама, как она выражается, перешла из благородного сословия врачей в податное, зависимое сословие больных! До каких же пределов должно вообще простираться самопожертвование, часто уже не просветляющее, а подавляющее человека? Ведь знала же Донцова-врач о своем состоянии, об опасности перегрузок:

«Совсем было ей неполезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых, *но вот так все цеплялось.* Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты ее, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч... *Но повелительная инерция работы не легко отпускала ее*».

Рак — рок... Объяснений тут почти нет. Если бы еще «цеплялись» заботы Донцовой, ее сверхнормативное пребывание под лучами рентгена, среди облучаемых за карьерное колесо, наматывались на его обход, если бы ее влекла власть, честолюбие, жизнеощущение оракула, предрекающего и изменяющего течение судеб людей! Этого нет и в помине. Донцова помнит, конечно, что жизнь дается один раз. Но она же помнит, что и «совесть дается только один раз».

В этой точке она, простой человек, совсем не мнящий себя праведником, резко расходится со всеми, для кого совесть «релятивна», относительна, имеет разменный «курс», соизмерима или с собственной выгодой, или с велениями классовых программ, партийных доктрин. Для фарисеев все в мире «тонет в фарисействе», все окрашено в его «диалектические» краски. Для блатных и лагерного начальства все тонет в «принципе»: «Подохни ты сегодня — а я завтра». Этим персонажам, оборотням совесть дается много раз, и каждый раз разная!

С чем же они приходят к роковому испытанию, износив, как одежки, десятки видов «совести»?

ЧТО СГОРАЕТ В ПЛОТНЫХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ?

Бесспорно, неподвижность, замкнутость пространства предопределяет неизбежность обильных бурных самохарактеристик героев. Многие из них, как это видно из исповеди Шулубина, и публицистичны, и излишне красивы. Это, конечно, очевидная слабость повести. Если герой живет в состоянии, когда

> На стекла вечности уже легло
> Мое дыхание, мое тепло..,

то тут не до звонкой риторики и не до грубого самобичевания.

К счастью, с другими героями, менее мудрствующими, все вышло гораздо удачнее. Почти все они ощущают, что болезнь бросила их в некие плотные слои, где вмиг сгорают все групповые, партийные, даже религиозные различия, где трещит и улетучивается броня и позолота догм. Человек просто должен уяснить: что же сохранилось в нем из непреходящего, из общечеловеческих, вечных ценностей? Все предшествующие испытания — властью для номенклатурщика Русанова, разгулом нравственной безответственности, люмпенской свободы для Поддуева, даже лагерем для Костоглотова — оказываются мелкими перед вопросом: а ради чего ты вообще жил? Есть ли в тебе хоть что-то неприземленное, неизвращенное, готовившее к встрече с чем-то Высшим, с источником «иных, не материалистических только, прозрений и толкований жизни»?

И что же оказывается?

Как отработанные космические корабли, входя в плотные слои атмосферы, сгорают и падают на землю оплавленными, бесформенными осколками, космической пылью, так и многие победоносные системы, концепции, «принципы», подпиравшие ограниченные натуры, подгонявшие их под текущий момент, под доклад, смену генеральной линии, мгновенно

стали сгорать и оплавляться. Пресловутое «небо страха», терзавшее Шулубина при жизни, стало еще страшнее.

И какое безотрадное горение! Ведь все сгорает в душах людей, не имеющих моральной опоры, не знающих навыков молитвы, праведнического смирения. В повести вновь возникает страшное «пиршество» — поисков покаяния, смирения, дара молитвы.

Сергей Есенин когда-то просил мать:

И молиться не учи, не надо...
К старому возврата больше нет...

Сейчас многие в этой палате № 13 хотели бы, чтобы их научили молиться, вернули к старому, поруганному ими же. Это им — ох как «надо»! При всех навыках трафаретного пустого словоговорения... Как ни суров Солженицын, он все же ищет любой возможности убедиться, что есть еще бесконечность человеческих возможностей, воля выйти за пределы самого себя, что мир — это не композиция застылых предметов, догм.

В повести появляется, скажем, Ефрем Поддуев, человек, усвоивший все обычаи люмпенизированной массы, живущей как бы в «ничьей» стране, делающей везде «ничейную» работу, создающий — раз плюнуть! — «ничейные» семьи.

«А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Это языком он себе выговаривал плату там, где ее не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирнозадые, *только всегда без политики. И волжские песни пел.* И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить».

Сейчас мы назвали бы такого человека безнадежным «совком», люмпеном, «бичом»... Впрочем, он легко «конвертируется», превращается — при таком-то даре притворства... без притворства, легкости жить по лжи уже без указаний и велений! — в кого угодно: в стахановца, выполнившего вмиг... десять норм, в представителя от «трудящихся» на любом форуме. Если нужно, в демократа и монархиста... Единственное, что еще как-то страшит его,—давняя, неисполненная угроза заключенных, которых он замучил на одной стройке: «Ничего. И ты будешь умирать, десятник!» Тогда он отмахнулся от нее. Но вот здесь в больнице да еще про-

читав толстовский рассказ «Чем люди живы?», Поддуев смутно чувствует, что ему страшно: философию жизни надо было созидать так, чтобы она хоть чуточку «спасала» и в смерти.

В повести есть и наивные попытки спасти от небытия, от уродующего дыхания смерти (пусть и отбитого!) какую-то частицу внешней красоты. Добродушная интонация редко, как и беглый луч юмора, мелькает в мире Солженицына. Если Поддуев бродит ошеломленный по коридорам больницы с брошюрой Толстого, пробует «оправдаться», то совсем еще молоденькая Ася в ожидании операции искренне горюет совсем по другому поводу:

«— Да как же я на **пляж** пойду?! — вскричала она, проколотая новой мыслью.— На пляж!! Купаться как??! — И ее штопором скрутило, сжевало, и куда-то от Демки прочь и вниз, к полу, свалился корпус ее и голова, обхваченная руками.

Невыносимо представились Асе купальники всех мод...»

Даже обещание ее друга, ровесника Демки,— «я на тебе всегда охотно женюсь» — утешает ее только после отчаянного шага: пусть хоть он в последний раз увидит ее красивой, неизуродованной!

Эта юность, младая жизнь еще безгрешна, она имеет право так играть и у гробового входа!

* * *

Свобода — это не абсолютная независимость от всего и всех, а непрерывно растущая или слабеющая независимость от зла, одичания, пошлости, упрощения. В процессе создания такой свободы — а другой нет! — чувства нередко обгоняют мысль. Сомнения, человеческое воображение начинают что-то создавать, комбинировать, чем-то обольщаться. Этот сумбурный, непредсказуемый процесс на плывущем ковчеге многократно усложняется от появления новых лиц, «спасаемых» из волн потопа, вносящих свою лепту в общий хор.

Разве драма вчерашнего люмпена Поддуева была только его личной? «Люмпенизация» сознания, когда человек «брал на горло», вырывал незаработанное, легко клялся тому, во что не верил,— это типичное состояние многих людей, во всех слоях.

Ни Ефрем Поддуев, ни Павел Русанов, типичный бюрократ, закоченевший среди прописных истин, страдающий только оттого, что против болезни у него нет «конкретных мер воздействия», так и не пережили подлинного ада в своих душах. Один еще ничего глубоко не понял в Толстом, дру-

гой — никогда не поймет ничего, что написано «не на его языке». Но вот Алексей Шулубин, в чем-то похожий на Льва Рубина из «Круга», старый большевик, напоминающий раненую большую птицу — «крыльями, обрезанными неровно, чтоб она не могла взлетать»,— подошел к пониманию очень многого. Этот образ мог быть поистине трагедийным.

Что «обрезало» ему крылья, лишило всякой надежды на полет? А проще говоря, на свободу как полную независимость от казенной пошлости? Солженицын, вспоминая о судьбе «Ракового корпуса» в узилище цензуры, в дебрях Секретариата СП СССР, с чрезвычайным сарказмом отметил перестраховочное «забегание», толкование ключевого эпизода драмы Шулубина: его невыносимой тоски от сознания всеобщей покорности, малодушия, его протеста против вечного стремления многих «идти на мировую» со Злом... Как этот порыв героя «осознался» в коридорах власти?

«Помнилось ему (Твардовскому.— *В. Ч.*)... якобы есть там (в повести.— *В. Ч.*) длинное рассуждение, что лагеря проросли страну, как метастазы (будто это пришлось бы размазывать на страницы)... Я уверял, что нет такой страницы, он не верил... Тут втерся в дверь маленький Кондратович и живенько стал поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина! Я стал при них пробегать шулубинские страницы и еще давал Кондратовичу смотреть, как своему, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза — *это не его были глаза, а вставленные подменные глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряженные нюхательными волосочками цензуры,*— и он уверенно-радостно *выкусал клок*:

— Вот! Вот!
— Где?
— Вот!
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник!
— Так это — про метастазы?
— Все равно что про метастазы. Еще хуже!»

(«Бодался теленок с дубом»)

Вероятно, следует оставить в стороне выразительный, типовой портрет перестраховщика, живущего под «небом страха»,— он произвольно наложен на А. И. Кондратовича! — и вдуматься в смысл всей сцены. Шулубин в повести, процитировав эти строки Пушкина, затем горестно вспоминает жизнь, не ища даже утешения у собеседника:

«Нет, выбор нам оставлен троякий. И если помню я, что в тюрьме не сидел, и твердо знаю, что тираном не был, значит...»

Костоглотов все же утешает его, отводит тяжкое обвинение в невольном предательстве: «Ломает в бурю деревья, а трава гнется — так что — трава предает деревья?»

Вступать в затяжной спор о том, что лучше — непрек-

лонная «философия дуба» или податливая «философия камыша»,— как и посмеиваться над тяжеловесными монолитными натурами, стоящими на своем, ни Шулубин, ни Костоглотов не хотят. Это слишком замедляет действие, превращает героев в резонеров. Да и не в духе это Костоглотова, благоговеющего, как мы сказали, «пред чудом женских рук, спины, и плеч, и шеи»... Шулубин умер с надеждой, что осколочек Мирового Духа не убит в нем. Да и не столь важен, пожалуй, этот утешительный финал.

Солженицын всегда обращен и к истории. И он доносит до читателя мысль, что в истории общества бывают периоды, когда от людей апатичных, люмпенизированных, живущих по инерции, наделенных мыслештампами, превращенных в массу Молчалиных, зависит столь же многое, сколько и от людей активных. Такие состояния общества — запуганности или прострации — неистощимый ресурс для укрепления тоталитарного единомыслия, для идеологической псевдонаучности. И для действия особой магии — «магии больших чисел». Такому обществу даже и вождь, диктатор становится необходим уже не как устрашающая личность, а скорее... как функция, мышца бранная или неподвижный экспонат, отвлеченный идол!

Такое, предельно «ритуализированное» общество, где обряд, ритуал важнее смысла и убеждений, где все кошки только серы, выращивает чудовища посредственности, «граммофоны» от идеологии, сплющивает сознание плитами таких догм, которые не сгорают и на смертном одре. Наиболее завершенное выражение этой магии больших чисел, больших догм, идеологии, сведенной к ритуалам,— это, конечно, карикатурный образ Павла Русанова.

ПОСЛЕДНЯЯ «АТАКА С ХОДУ»

Известно, что у иконописца нет натуры... Весь иконостас в каком-то высоком смысле есть **видение**. Это представительство невидимых свидетелей, мира невидимого... С кого иконописцу списывать лики своих героев? Только с внутренних образов своего духовного сознания. А потому, как заметил П. Флоренский, «иконописцы свидетельствуют не свое иконописное искусство, т. е. не себя», а выводят наши мысль и чувство «за предел чувственно воспринимаемых красок и холста», свершают «закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест престола живого облака свидетелей».

С этим суровым выводом трудно смириться почти любому патриоту. Ему легче жарко оспорить, скажем, весьма спра-

ведливую мысль Б. Слуцкого, отрицавшего земные прототипы, какую-либо крестьянскую, рязанскую или московскую натуру, якобы воспитавшую кисть Андрея Рублева:

Он на колени падал пред
В начале бывшим Словом,
И мужиков искать не след
В архангелах Рублева...

Нет, именно «след», даже обязательно надо искать! Признаться, и автор данной работы когда-то искренне возмущался подобной позицией... Есть русская натура за этим одухотворенным согласием, за явлением Божией благодати! Не дадим отнять, «денационализировать» Рублева!

Солженицын начинает повествование в «Раковом корпусе» с вселения в палату № 13 весьма «натурального», имеющего тысячи прототипов бюрократа Павла Русанова. Он, правда, все воспринимает несколько «погашенно», говорит «неавторитетно». Но административный зуд и бодрость не покидают его. Сыну он говорит на прощанье: «Возьми сразу *правильный тон. Никакого благодушия*!» Его задевает стихия равенства, «такое *необузданное* неподчинение, такое неконтролируемое своеволие». Реплика соседа Костоглотова рождает в нем поток «резолюций»: «Сколько еще в *нашем населении* неискорененного хамства!» «И нельзя *поддаваться* первой поповской книжечке. Вы *практически играете* на руку» (это о чтении Поддуевым брошюры Толстого «Чем люди живы».— *В. Ч.*).

Как бы само собой отметается вопрос: с натуры ли пишет Солженицын этого очередного «антихриста» бюрократии? Конечно, с натуры, даже тысячекратно повторенной, обступающей его, давно заполнившей земное и небесное пространство. Он и в финале повести, покидая палату, ведет себя в духе бессмертной натуры, чудовища бюрократии. Обгоняя того же Костоглотова на аллее, он бросает, как служебную характеристику, слова: «Классовый враг... В другой бы обстановке...»

И все же не будем обманываться. Русанов не списывается с натуры, он плод множества реакций, впечатлений, сгруппировавшихся в некую конструкцию. Он — гость схемы, созданной всецело автором, своей воли у него нет. Фактически и его явление, и посрамление — это продолжение атак с ходу на монстров номенклатуры, бюрократии, сковавших, сохранивших, но и обесплодивших Россию. Не будем забывать, что эти достаточно схематичные обобщения — Макарыгин, Русанов — Солженицын создавал до появления таких исследований, как, скажем, книга «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» М. Вослен-

ского, до расхожих обличений архаичной «партократии» и т. п.

Мог ли Солженицын в 60-е годы, даже мужественно сражаясь с «партократией», угрожая, как его Захар-Калита: «Я до Фурцевой дойду! до Фурцевой!» — и действительно доходя и до Хрущева, и до Суслова, избавиться от духа номенклатуры, от ее способов абстрагирования, типизации явлений, от ее обобщений? На наш взгляд, это в 60-е годы для него, как и для В. Тендрякова, Ф. Абрамова, В. Дудинцева, было еще невозможным. Да в плену бюрократического «новояза», ломаемого им, высмеиваемого, был и одержимый ненавистью к бюрократам, орде Чингисханов с телефонами, Андрей Платонов. Его ли беда, что сейчас, чтобы оценить всю «соль» его сатиры и романтики, все эти формулы — «Все **замещено**!», «Все стало **подложным**!», «Я ведь предполагаю попасть в **вечный штатный список** истории» и т. п.,— надо прикладывать к его сочинениям... комплект руководящих статей «Правды» за двадцать лет!

Увы, любые доспехи ржавеют после битвы... Но в 60-е годы даже очень серьезный критик Л. Ржевский, ранее увидевший «два хора» (мучеников и палачей) в романе «В круге первом», и в «Раковом корпусе» увидел такую ось внутреннего конфликта: **Костоглотов — Русанов**. Одного ведет «боевой дух непокорства, правды и жизнелюбия» (Костоглотова, вчерашнего узника), другой на чашу весов выкладывает «самодовольную ограниченность, бездушную исполнительность, анкетное хозяйство».

Скрытое воздействие пропущенной страницы «русской Голгофы» — религиозного опыта героев и автора — еще не все ощущали. Резкого разрыва Нержина с «образованщиной» в «Круге» еще не оценили всерьез.

И вот опять — две чаши весов... И никакого сожаления, что Солженицын не использовал более взрывчатого динамита: как интересен был бы конфликт Шулубин — Русанов, конфликт во многом внутривидовой, т. е. более страшный?

Но даже и он, на мой взгляд, уже не стал бы главным. Твердит еще Русанов о «классовом враге», демонстрирует «новояз» его дочь Авиетта («у меня не будет идейных вывихов»), ищет формулы нового социализма Шулубин («один только верный социализм есть: нравственный»), но ось истории уже сместилась. И сместилась она в самом творчестве Солженицына — уже в «Красном колесе».

На наш взгляд, главная ось всего творчества Солженицына — его движение к глубочайшей тайне, к претворению зла в добро через страдание — все же пролегает и в повести мимо этих очевидных чаш весов, этой схематичной

«полярности». Нержин в «Круге» не победил Рубина, хотя и попробовал воинствовать на его площадке. Он просто пошел гораздо дальше, к «Красному колесу». Костоглотов, отдав дань популистским прениям о «махровом идеализме», о том, что «люди живут не только идейностью», тоже пошел дальше. Он выпал из схемы.

В какой-то мере он переживает, с одной стороны, несколько «солнечных ударов» влюбленности, прежде всего в Веру (Вегу). А с другой — ему открылась нравственная дорога к тихим, праведным душам Кадминых, научивших его понимать, что «мягкое слово кость ломит...». Правда, «солнечный удар» не столь силен, а путь к «мягкому слову» был еще только начат...

* * *

Не одни восторги сопровождали, естественно, и движение «Ракового корпуса» до публикации и после.нее. Даже в близкой писателю среде. Неофициальное общественное мнение в 60-е годы действительно вне трибун и печати, но при этом достаточно могущественно. И можно отметить, что критик Н. Губко, человек безусловно близкий Солженицыну, уже в 60-е годы отмечала некоторый стратегический просчет писателя, связанный с Русановым. Герой этот, скажем, любит петь «Волочаевские дни» и «Мы — красная кавалерия», он же придумывает себе на работе тамбур перед кабинетом (всякий проситель «попадает как бы в короткое заключение»). На реплики собеседников он реагирует кратко: «Это же типичный ответ диверсанта» или «Классовый враг»...

«Что все это,— писала Н. Губко,— как непереносимая современная либеральная публицистика, которая почему-то нашла место даже в таком произведении?»

Продолжая свою мысль, она добавила: «...Сатиру (Русанов) можно духовно окрылить только внутренним преодолением, стремлением придать ей второй, непреходящий, общечеловеческий смысл. Без откровения — нет искусства. А Вы попытались решить трагический конфликт в пределах данного исторического момента. Ваш Русанов скорее гнусен, чем страшен. Но для подлинной трагедии (а ведь именно такова Ваша повесть) нужны силы равновеликие.

Неужели можно думать, что истоки безмерной боли, которая затопила Россию (судьбы людей корпуса номер тринадцать и все, что около них),— в таком ничтожном существе?».

Либерализм 60-х годов медленно заходил в тупик. Еще шли в театре «Современник» в 1967 году «Декабристы»,

«Народовольцы», «Большевики» — либеральная версия истории, славящая «хороший террор», триумфы трех этапов русской революции,— а в обществе уже вызревали более глубокие идеи, прозревались совсем иные противостояния. Оппонент Солженицына Г. Померанц скажет об этих прозрениях, создававших, как он выразился, «республику идей»:

«...Сказал когда-то Нильс Бор: бывают истины ясные и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками противостоят друг другу равно глубокие истины».

Какую бурю могут создать эти ветры, сталкиваясь друг с другом, захватывая тысячелетнюю историю России? Это мы могли только предчувствовать в 60-е годы, надеясь, умоляя судьбу...

А борьба карикатурного сталиниста и жизнелюбивого, сражаемого «солнечными ударами» влюбленности либерала? Какая уж это ось! Они, по сути дела,— по одну сторону, в царстве «ясных» истин, прилипли к двум сторонам одной фанеры. Как в известном анекдоте о находчивом ловце тигров. Рекламируя свое открытие, свою прибыльную игру, этот ловец говорил: «Поймать тигра очень просто. Надо только поставить перед тигром фанерный щит, нарисовать на нем издалека видимую овцу или козленка, а самому спрятаться с другой стороны фанеры с молотком и гвоздиками. Тигр доверчив, он увидит «добычу» на щите, примет ее всерьез, прыгнет и когтями на лапах пробьет фанеру. Остается всего лишь молотком загнуть ему когти — и он пойман».

Время такой доверчивости быстро проходило, и Солженицын, великий импровизатор судьбы, первым почувствовал это. Он опрокинул многие фанерные «щиты» с плоскими рисунками и пойманными «тиграми» — т. е. успехами у либеральной интеллигенции — и начал другой, куда менее гармоничный виток пути. Вместо «атак с ходу» — трудная поступь «ГУЛАГа» и тяжелые обороты «красного колеса». Вместо очевидной, плоской натуры «кабинетов с тамбурами» — грандиозный духовный континент и сокровенные огни «русской Голгофы» и «русской Смуты XX века», предвестницы наших роковых дней.

РУССКАЯ ГОЛГОФА, ИЛИ «ОКАМЕНЕЛАЯ НАША СЛЕЗА»...

(«Архипелаг ГУЛАГ» — чаша страданий, неотмоленного греха, воскрешения свободы)

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед...
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей...

Н. Заболоцкий. «Где-то в поле возле Магадана» (1956)

...И тогда поднимем в оправданье
Медный, мукой мира стертый крест.
Крест погибших в тюрьмах и изгнаньях,
Крест для Бога брошенных невест.
Крест детей без хлеба и без крова,
Нашей повседневной нищеты,
И того, кто светоч мира — Слово
Нес в года великой немоты.

Безвестный священномученик ГУЛАГа (20—40-е годы)

ОГНЕННЫЙ ЗНАК ВОПРОСА НАД ПРОЖИТЫМ

Имя Александра Солженицына, даже после появления многих его произведений о советских лагерях и тюрьмах 20—40-х годов — публицистических пьес «Истину знают танки», «Республика труда», «Олень и шалашовка», романа «В круге первом»,— неотделимо от панорамы крестного пути, от лобного места безбрежной «русской Голгофы XX века» с символическим названием «Архипелаг ГУЛАГ». Как имя нарицательное оно вошло в определенную знаковую систему XX века наравне с Освенцимом, Бухенвальдом, Хиросимой, Чернобылем, стало обозначением скрытого ранее геологического разреза огромной страны. Был «материк», монолит континента. Солженицын как бы раздробил его на причудливое скопление жутких огражденных островов, нанес на карту. А вернее...

«Я сразу смазал карту будня»,— бросил некогда, словно на бегу, Владимир Маяковский. Солженицын создал новую карту. Именно «ГУЛАГом», своим главным криком он заста-

вил себя выслушать. Даже западного читателя. Последний до этого вяло воспринимал огромные научные исследования о «красном терроре», карты и летописи «большого террора», книги перебежчиков и т. п. Лишь отчасти ему помогла особая акустическая среда, созданная «ледоходом» 50—60-х годов на исходе либеральной оттепели...

«Не я талантлив, тема моя талантлива»,— говорил иногда о своих темах В. В. Розанов. «Тема» Солженицына была столь важна и «трагически талантлива», что воздействие даже скрытого труда на этой ниве резко меняло соотношение сил несокрушимого внешне «дуба» и одиноко бодавшего «дуб» «теленка». «Когда он зашел, просто одетый, в рубашечке без пиджака, то я сразу почувствовал — вошел некто сильнее их,— рассказывал в «Новом мире» Твардовский об очередном обсуждении («осуждении») Солженицына на Секретариате СП СССР.— Сила за ним... Они начали лебезить перед ним. Есть за ним такая сила, что и они становятся иными, даже не замечая этого».

А ведь «Архипелаг» еще только писался в те 1967—1968 годы. И тема его была и нова, и трудна для любого читателя. О каком западном понимании социологии страха, этого «потустороннего ощущения несуществования» (Б. Ямпольский), могла идти речь, если и былой советский читатель при чтении «ГУЛАГа» должен был поистине «работать» на пределе возможностей разума и души! Он впервые встретился с таким Чудовищем, правда, весьма «родным», понятным, знакомым в мелочах и подробностях... Может быть, в Солженицыне исполнилась надежда М. Волошина, писавшего в 1921 году среди моря мрака:

Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы революций,
В себе самих укрыли наше солнце,
На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви...
(«Потомкам. Во время террора»)

«Главный крик», но одновременно и «слитный стон... все невысказанные завещания погибших»... В какой-то миг, повторим еще раз: после «ГУЛАГа», остались позади многие, куда более цельные, полифоничные обличения террора, казармы. Странно, но на фоне страшных и рационально-мудрых антиутопий XX века, таких, как «Мы» Е. Замятина, «Слепящая тьма» А. Кестлера, «1984» и «Скотный двор» Дж. Оруэлла, роман-исследование Солженицына выглядел скромно: внешне это собрание пестрых глав, картины шествия «потомков» бессловесных, бесписьменных узников лагерей разных лет. Часто это пересказ «молвы», аморфного,

бессистемного лагерного фольклора. Фольклор этот был неудержим: он кочевал по островам ГУЛАГа (скажем, легенда о «помилованной» Лениным эсерке Фанни Каплан, молва о создании лагерей именно Нафталием Френкелем, слухи о войне «воров в законе» и «сук» после 1945 года и т. п.), «переливался» за зону в песнях... Простодушие сейчас не в цене. Появившиеся позднее антиутопии А. Платонова, Н. Нарокова, та же математически строгая «Слепящая тьма» А. Кестлера оправданно потеснили «простодушный» фольклор «ГУЛАГа»... Справедлив отчасти и такой вывод: вторичная литература «сильнее», совершенней первоисследовательской, и потому бытовые подробности, составившие фактуру огромной книги, сейчас повторены совершеннее. Они пересказаны и многократно «пропеты» в песнях бардов. Покойный А. Галич чуть позже появления «ГУЛАГа» писал:

Над блочно-панельной Россией
Как лагерный номер — луна.
Обкомы, горкомы, райкомы
В потеках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма трахомы
(Давно никому не знакомы),
Безликие лики вождей...

Это тоже солженицынская, будничная Россия демонстраций, торжеств, людских толп на площадях, ликования в интерьере безликой «наглядной агитации» в виде ослепляющих здания портретов вождей. Но уже острее, гротескнее... Литература и даже предлитература бардов научились куда более «ловко», популистски-наглядно связывать модель лагеря и модель общества, каламбурить (великий перегиб — великий «перешиб», исправительно-трудовые лагеря — «истребительно-трудовые» и т. п.). В лагерной живописи — еще свободнее идет оперирование знаками, схемами, всем вторичным: без конца мелькает, например, сюжет «песочных часов» — Сталин на фоне этих часов, в которых ссыпаются не песчинки, а... черепа!

На этом фоне «ГУЛАГ» как летопись, временник «русской Голгофы», пожалуй, «отстает»: он и поражает именно будничной, «заземленной» достоверностью деталей и их огромным количеством. Но не слишком ли все ординарно, стандартно? Следователь Езепов, своего рода Понтий Пилат в судьбе автора, сидящий под алтарным (тоже безликим) портретом Сталина, вяло, буднично «лепит» дело... Уголовники, блатные не узнают покаяния даже на кресте... Прозаичны клятвопреступники, фарисеи, особенно из слоев ископаемых догматиков, «образованщины». О безликих пала-

чах из арестного «машинного отделения», «перерабатывающих» такую массу народа, из охраны, предупреждающей, что «шаг влево, шаг вправо — побег, прыжок вверх — агитация», и говорить нечего. Тут нет никаких Макиавелли, Великого Инквизитора, Иуды Искариота... «После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица»,— сообщает автор о полярном Освенциме. И все...

А сам Христос в ГУЛАГе? На эту роль изначально «смотрелся», конечно, сам автор, интуитивно угадавший, что и «Красный террор» С. Мельгунова, и «Большой террор» Р. Конквеста были как бы... Голгофой без Христа. Авторы этих «энциклопедий», как и беглый секретарь Сталина Бажанов, вовремя сообразивший, что его благополучие под угрозой, разведчики-перебежчики Орлов, Кривицкий и другие, «намекнувшие» на «ГУЛАГ», не имели глубины пережитого. Солженицын эту глубину имел. Но что характерно для его присутствия в «ГУЛАГе»? Редкая скромность, а порой... мальчишеские порывы. Он, считавший себя «подмастерьем Бога на земле», предстает в «ГУЛАГе» всего лишь грешным, слабым человеком, совсем не пророком. Он признается даже в такой непростительной для Христа слабости, как вербовка его в осведомители, получение им клички Ветров! Он раздумывает даже: «...избежал я кого-нибудь посадить (А близко было)». Линия между добром и злом в этом Христе ломалась то и дело: «то к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем все».

Солженицын, хотя и явно продолжал в ГУЛАГе свой путь возвращения в лоно православной церкви, начатый еще в лагере, но небо его надежд и прозрений в «ГУЛАГе» еще не заставлено, не заткано ни куполами, ни минаретами. Для многих нынешних «богоискателей» все цветистое фразерство о грехе и покаянии, о бессмертии во Христе — часто вид духовного туризма, способ утепления «интерьера» жизни.

Кто почувствовал ту «силу Солженицына», которая смущала фарисеев? Перечитаем хотя бы бегло оценки «ГУЛАГа» в разные годы: на что указывали стрелки барометра?

«Солженицын — создатель грандиозной фрески страданий и мытарств — Марк Аврелий «ГУЛАГа», новый Данте. Его самого после «Архипелага ГУЛАГ» нельзя уже мерить привычной меркой европейских интеллектуалов: левый — правый, националист — универсалист» (Ж. Нива). Он — «Тацит наших дней», а его творение изумляет, как и у римского историка, «античной мощью построения и изложения» (А. Битов).

Алла Латынина, используя фактуру новейшей истории,

памятный зрительно-акустический образ реактора в Чернобыле, «возмущенного» некомпетентностью, разбросавшего при взрыве графит, видит в «Архипелаге ГУЛАГ» не «обломок графита, косвенное свидетельство катастрофы, но саму хронику взрыва».

Варианты похвал не так-то легко свести к одному типу. «ГУЛАГ» вознес Солженицына, но, полагают некоторые, не слишком ли? Он — как автор «Архипелага» — стал слишком велик даже для эпохи оттепели и «гласности», когда вновь предписана возможность заданного спора: кто «лучше» — Сталин или Бухарин, был ли Троцкий «демоном революции», или было в нем немного и «ангельского»?

Но есть в ГУЛАГе то, чего не может достичь никакая «вторичная» или «наукообразная» литература.

«Неведом ему (Ивану Денисовичу.— *В. Ч.*) даже путь, приводящий к такому парадоксу: «Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой. День «освобождения»! Как будто в этой стране есть свобода! Или как будто можно освободить того, кто прежде не освободился душой!»

Эта высота и доныне недоступна никому. Как может быть надуманной мысль о свободе?! Как это так еще Иван Денисович «может совсем уже не допускать, что ступит когда-нибудь на волю»? Посылок из деревни пусть не ждет, пусть не «провоцирует», но хоть бы на идее амнистии сосредоточился. Что это за Христос в бушлате?

* * *

Солженицын и библейский Давид, бросивший глыбу в Голиафа, он же, отмеченный печатью избранничества,— победитель Левиафана, тоталитаризма, этой всепроникающей моноцентричной власти. Таково суммарное мнение почти двух десятков критиков в анкете «Год Солженицына», в «Литературной газете» (1991 год).

Но все ли его броски были точными и, главное, согласованными?

«Обломки графита», собранные Солженицыным в своей летописи, как оказалось сейчас, еще совсем не остыли. Они выжигают многие иллюзии и предписания. И критик А. Латынина справедливо заметила, что «ГУЛАГ» уже давно вызывает огорчение у многих либеральных почитателей «Одного дня Ивана Денисовича». «Не туда он бросает камни»,— не туда идет дальше: «...считать, мол, сталинизм порождением революции, видеть в репрессиях 1937 года продолжение репрессий, начавшихся 1918 годом,— значит оправдывать Сталина».

Бдительные поклонники писателя сразу же после «ГУЛАГа» стали иронизировать над многими не спланированными ими догадками и пророчествами писателя: «Пророческий дар от Исайи до Исаича, увы, неузнаваемо деградировал» (Л. Пинский. «Парафразы и памятования»).

Возникает типичнейший парадокс, явный тупик либерального сознания. Да, «Архипелаг ГУЛАГ» — это «огненный знак вопроса над 50-летием (в 1977 году.— *В. Ч.*) советской власти, над всем советским экспериментом» (из немецкой газеты «Форвертс»), но... не слишком ли жжется этот огненный вопрос? В восклицательный знак его «разгибать», пожалуй, не надо, но как бы сделать его не столь обжигающим, «неолиберальным»?

Историк А. Галкин мягко и гадательно увещевает Солженицына: «...на данном этапе мы вошли в полосу исторического поражения социалистической идеи... Но... ситуация эта не может быть постоянной. Меняются обстоятельства, и в полосу поражений вступает другая идея». «Историю надо понимать»,— деликатно советует он Солженицыну. Выходит, что Солженицын не вполне конструктивно, взвешенно пересмотрел многое, что он поспешно сотворил очередную систему новооткрытых и упрощенных истин, впал в излишнюю нетерпимость... И преждевременно радовались, что «ГУЛАГ» как бы опроверг давнее, печальное признание О. Берггольц:

Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы...

Но ведь даже для того, чтобы наступила новая полоса, чтобы потерпела поражение другая идея, надо не ждать, а... входить под арку, под этот «огненный знак вопроса»!

Солженицын не входит, он врывается в недра вулкана... Попробуем идти с ним рядом...

«ПРАВИЛЬНО» ЛИ СОЛЖЕНИЦЫН ДОПРАШИВАЕТ... БУХАРИНА?

Солженицын признается однажды: «Мои навыки каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан **не больше**, чем каторге, я воспитался **там**, и это навсегда...»

Признание очень честное и, кстати говоря, многое объясняющее и в окрестностях «ГУЛАГа».

Каторга и культура... Это две разные, но порой странно взаимодействующие стихии. Есть писатели, которые и после

каторги все же принадлежат больше литературе, даже беллетристике. Таковы, например, О. В. Волков в «Погружении во тьму» и даже В. Шаламов. Он создавал истинные «стихотворения в прозе» на жутком материале, умел тонко управлять эмоциями, «темперировать эмоции» бессилия, умирания, тоски. Это наш русский «эксистенциалист», который даже свой запредельный, чудовищный опыт передает с соблюдением стилистической нормы, с постоянным присутствием интеллекта, памяти. Он поет... по нотам! Он даже начинает многие свои зарисовки «из области культуры» и замыкает их в этой же области. Вечные тачки забоев, обмороженные ноги, помойки, где выбраны все объедки, санчасть... Но как память до конца убить?

«Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» — нашел свое неожиданное выражение в забоях Крайнего Севера» («Сухим пайком»).

«Больные, врачи, санитары, каждый брал камень, а то и два, подходил к краю топи и бросал камни в болото.

Таким способом строил дороги, засыпал моря Чингизхан, только людей у Чингизхана было... побольше» («Облава»).

Фактически Шаламов и умирание свое связывает не с голодом, а с утратой Слова, с неумением написать жалобное, чувствительное письмо по заказу, потому что «там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти» («Термометр Гришки Логуна»). А воскрешение из небытия начинается с того, что в мозгу родилось слово, непригодное для тайги, для общения с блатарями:

«Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

И я захохотал».

(«Сентенция»)

Все это привело к совершенно необычной структуре текста, соединению «низкого» и «высокого», уязвимости и хрупкости этической позиции, беззащитной, но сохраняемой, возникновению множества способов усилить основной смысл за счет частных, побочных мотивов. Каторга Шаламова — это поле побед культуры, изнуренной, сдающейся, но не умирающей...

Есть, между прочим, писатели, которые, не имея прямо каторжного опыта, но, как и Солженицын, премного обязаны именно антилитературе каторги; таков, на мой взгляд, Виктор Астафьев и даже Василий Шукшин... И дело даже не в обилии блатных словечек, «острот» такого плана — «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках!» «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков» (В. Ас-

тафьев «Людочка»). И не в обилии всякого рода «чувствительных» философствований...

Не с воспоминаний о культуре, не с культурных ассоциаций начинаются у них зарисовки, помыслы героев, а с улицы, вокзала, рабочего барака, окопа, с говоров жизни. И вместо стилистической нормы Шаламова — полнейшая стихийная свобода от нормы, эмоциональный, жанровый и всяческий иной беспредел... Проще говоря, у В. Астафьева есть жизнь, которая сильнее, даже мощнее текста! Везде — эмоции, от которых расползается любая литературная традиция... Да о ней просто не вспоминается!

Это и не плохо и не хорошо. Но как отлична эта стихийная литература от любой строки Н. Заболоцкого, который даже в описании страшного замерзания двух зэков в тундре при игре северного сияния создавал прежде всего «текст», помнящий о культуре, о музыке:

Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил...

Солженицын, как и Шаламов,— весь во власти образов истории, культуры, политики. Его никогда не оставляет уверенность, что рационалистический охват действительности все же сильнее «нутряных» постижений. «ГУЛАГ» — это интерпретация лагеря сквозь призму культуры. Но если уподобить поверхность его, «ГУЛАГа», поверхности реки поздней осенью, в крепнущие морозы, то эта движущаяся поверхность как бы не может оледенеть, «остекленеть» льдом! Ледовое «стекло» все время что-то разбивает! Опыт каторги заставляет его не деликатничать, он видит все сверхчувствительным зрением. Своих героев он «допрашивает» с либеральной точки зрения совершенно «неправильно».

* * *

Как «допрашивает» Солженицын — а проще говоря, излагает историю гибели и грехопадения — Н. И. Бухарина? Деятеля, с которым все шестидесятники и перестройщики долго связывали возможность «демократической альтернативы»? Видели в нем спасительную антитезу тоталитаристу Сталину? Либерал начал бы с оговорок, с предыстории, с Бухарина-человека. Солженицын сразу спрашивает с Бухарина-политика:

«Однако еще долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии — и в своей кремлевской квартире, в Потешном дворце Петра

полгода жил как в тюрьме... И все эти месяцы он бесконечно писал письма: «Дорогой Коба! Дорогой Коба! Дорогой Коба!..», оставшиеся без единого ответа.

Он еще искал сердечного контакта со Сталиным!

А *дорогой Коба*, прищурясь, уже репетировал... Коба уже много лет как сделал пробы на роли и знал, что *Бухарчик свою сыграет отлично*».

О многом говорит этот фрагмент!

«Архипелаг ГУЛАГ» — при всей его многоплановости, известной наукообразности, даже рутинности социологических анализов, обилии цифр и статистических выкладок — является книгой непрерывных эмоциональных «ста́ртов», «бросков», спринтерских рывков мысли и чувства. Он практически переполнен лирическими возгласами, комментариями, ироническими отступлениями. Солженицын похож на бегуна, который вечно финиширует, пришпоривая, взвинчивая себя. Медленно творится только медленное, скучное, вчерашнее. Нельзя, говорит опыт лагеря, бросать судьбе вызов вяло и осторожно. И если ты взялся очистить пространство русской Голгофы от псевдомучеников, ненадежных героев, от грешников, не осознавших своей вины, то делать это надо изо всех сил, истово, пламенно, жестко.

По существу, «опыт художественного исследования» (подзаголовок «Архипелага ГУЛАГ») то и дело напоминает... спектакль, во время которого (а отнюдь не после!) автор выходит на сцену и... досказывает многое за актеров. А нередко и «прогоняет» их с очевидным презрением! Причем свершаются вторжения порой во время как бы отчужденного, спокойно-монотонного повествования. «Спортсмен» финиширует, когда и ленточки финиша еще не видно!

В вышеприведенном фрагменте, выдержанном, казалось бы, в отчужденно-беспристрастном духе, слепленном из документов, внешне сдержанное повествование словно прослоено этими рывками мысли. «Бегун» вот-вот сорвется.

Текст, конечно, не выносит слишком явного присутствия автора, диктата его воли: он перестает быть документальным, но едва ли становится чистой психологической прозой... Вдова Н. И. Бухарина в своих мемуарах передала гораздо большее число и совсем иной состав мыслей и чувств некогда могучего члена Политбюро, теоретика военного коммунизма. Бухарина-человека Солженицын тоже жалеет. Но что значит его личная беда перед той бедой, что принес весь «эксперимент»? И богатство нюансов Солженицыну, человеку лагерного опыта, не нужно. Он не исследует, он сразу карает! Почти с той же поспешностью, как... и трибунал.

«И остался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:

— Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии? — Вообще — да. *Фактически* — да. Но борьба против Партии не может не перерасти *в войну* против Партии? — По логике вещей — да.— Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли быть совершены *любые мерзости против Партии* (убийства, шпионства, распродажа Родины)? — Но позвольте, они не были совершены...— *Но могли бы*? — Ну, *теоретически* говоря...» *Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход.* Договорились?

Солженицын врывается, если угодно, на сцену... в мантии прокурора. Он усвоил даже ироничную ухмылку Сталина. «Присутствие» Солженицына в этой многозначной, отнюдь не трагической сцене именно карающее. Актер будущего процесса еще пишет письма Сталину, надеется избежать спектакля, а «режиссер» (т. е. Сталин) уже написал и канву судебного сюжета, и реплики! Мысль и чувство Солженицына, повторяем, как бы «рвутся» к барьеру. Он готов развеять туман бухаринской наивности, книжных иллюзий! Ему стыдно за любой шаг «Бухарчика». Этическая оценка входит в текст, даже в паузы беседы актера (Бухарина) с помощником «режиссера» — прокурором Андреем Вышинским. Фактически идет не следствие, а заучивание сюжета, оттачивание реплик. Бухарину дается «простор» для импровизации, для самооговоров оппозиционера в строго заданном направлении, без помощи суфлера.

* * *

Критики уже отмечали такую черту стилистики Солженицына, как разная степень лиричности, сгущенности эмоций в соседствующих текстах. Он пишет как будто не одним пером! Да и не очень синтезируются в «ГУЛАГе» историческое исследование, исповедь, сборник свидетельских показаний, репортаж. «*Быстрый, обобщающий рассказ* чередуется с замедлениями, необходимыми для «аккомодации» (перенастройки.— *В. Ч.*) глаза, которому предстоит увидеть ту или иную сцену... В двух словах — речь идет о технике **зрения**»,— заметил Ж. Нива.

...После относительно «спокойной» беседы Бухарина с Вышинским следует этот «быстрый» и обобщающий рассказ, бросок к финишу. Солженицын, завороженный сконструированной им сценой, собственным «переселением» в души знатного подсудимого и генерального прокурора, «освоени-

ем» кабинетов Лубянки, опять врывается на сцену и почти от имени узников ГУЛАГа и «шестидесятников» дает пощечину наивному актеру, Бухарчику! Что иное, если не «пощечина», неожиданный совет — не идти на мировую со злом, не уступать и тем более не «помогать» следствию! Надо было использовать ресурсы бунта, эффект последнего протеста! Столько петь о непреклонности и твердокаменности «вождей», о том, что нет даже для музея «плачущего большевика», а что за сделка творится здесь!

«А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули бы по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!» (т. е. атмосфера после XX и XXII съездов КПСС.—*В. Ч.*).

Таковы броски, «прорывы» мысли и чувства создателя «ГУЛАГа». Их скорость так велика, что автор подгоняет и обгоняет время, «тащит» героев туда, куда ему хочется.

* * *

Справедлив ли этот «неправильный» допрос? Не смешон ли чисто юношеский призыв перенести 60-е годы в 30-е?

Юрий Карякин, когда-то одним из первых приветствовавший «Один день Ивана Денисовича», вспоминая об одержимости «шестидесятников», потрясенных сенсациями XX съезда КПСС, докладом Н. С. Хрущева о Сталине, определил состояние многих, вспомнив роман «Маугли» Р. Киплинга, как «мауглизм». Мальчик вырос в джунглях, среди волков, но затем он вспомнил, что его семья человеческая! «Человеческий детеныш, попавший в стаю волков, никогда уже не станет нормальным человеком. В лучшем случае может достичь самоощущения, самосознания Маугли, тоски по тому, чтобы стать человеком. Так вот: все мы Маугли, мы рождены и воспитаны в бесчеловечной социальной среде»,— писал критик.

Солженицын едва ли согласился бы с этим пессимистическим блеском образной мысли. Он разогнулся, встал с четверенек и сразу хотел бы увлечь за собой других. Освободи своего «внутреннего человека»! Пришла благая мысль — уговори себя не откладывать ее исполнение, сорви паутину малодушия! Помни, что множество грешащих, малодушных вокруг тебя — не оправдание: Бог не смотрит на число...

Рой Медведев также был только отчасти прав, упрекая Солженицына в отсутствии милосердия к пострадавшим в 1937 году творцам переворота 1917 года, к ленинской

гвардии, к меньшевикам, эсерам. Но дело не в отсутствии милосердия. Природа иронии Солженицына сложнее и выше жалости. Надуманным является и упрек в противоречии, противостоянии таких текстов, как «Матренин двор» и глава «Сорок дней Кенгира» из «ГУЛАГа».

«Если уж ты славишь праведницу Матрену, кроткого Ивана Денисовича, то как же можно воспевать «сорок дней Кенгира», благословлять ножи, смастеренные бандеровцами, блатными из консервных банок, вообще идеализировать союз во имя свободы офицеров, большевиков и... тех же бандеровцев и уголовников?»

«Не чистый ли волюнтаризм мысли звучит в пафосной оде в честь «сурового и чистого воздуха мятежа»?»

«Откуда вдруг взялась уверенность, что в Кенгире все вдруг поднялись на высокую духовную ступень, что и это не был русский бунт, бессмысленный и беспощадный?..»

Вопросы, вопросы, ропот молвы... Таких вопросов, упреков, точек приложения для игры саркастического высокомерия вокруг Солженицына может возникнуть множество, и еще не раз. Читатель и сам легко заметит явные перескоки автора в иные психологические миры уже в первой главе «Арест». Солженицын почти кричит покорно идущим жертвам: «И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы **кричать**! 〈...〉 И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? может, аресты не стали бы так легки?» Он напоминает, что «смирная овца волку по зубам», что можно было бы даже арестным машинам, воронкам, хотя бы... скаты прокалывать! Вот как дерзок прозревший Маугли!

Крик или призыв к крику слышен и в обличениях автора великой мировой литературы, что «выдумала нам образы чисто-черных злодеев», которые уже сущий балаган рядом с чудовищем зла Ягодой. Он «увеселял» себя стрельбой по иконам!

«Допросы» Солженицына, как и его предположения, обличения, призывы к активной самообороне, один из критиков назовет «едва ли не мальчишескими — и по силе и чистоте мгновенного жаркого порыва, и по наивности предполагаемых оборонительных мер». Но дело, еще раз повторим, не в наивности, как и не в отсутствии терпимости, в «неспороспособности» Солженицына. Многим читателям действительно есть с чем вступить в спор в том же «ГУЛАГе». Скажем, по поводу трагической судьбы генерала А. А. Власова, преступлений (неужели только геройств?) национали-

стов в Западной Украине, по поводу куда более сложных причин поражений в 1941 году.

Солженицын — отдадим должное его правилам игры! — предупреждал: «Тюрьмы — крылья... Тюрьмы — коробы мысли. Голодать и спорить в тюрьме — весело и легко». Но едва ли он предполагал, скольких джиннов выпустит он из бутылки, какая толчея мнений и споров возникнет на всех «лобных местах», на больших и малых «русских Голгофах»! Одних мучеников, не выдержавших экзамена, даже «проб» на участь, на терновый венец Христа от революции, он открыто изгоняет. Так были «изгнаны» Бухарин, Зиновьев, Радек, Рыков, Горький. Других пострадавших, вроде писателей 20—30-х годов И. Бабеля или Артема Веселого, он не вспомнил... Солженицын к тому же порой «волюнтаристски» возводит на нее других (например, бандеровцев). «Если я гневаюсь, значит... я прав!» — говорит этот Юпитер. И не все, вероятно, можно оправдать доводом: книга создана «во тьме... толчками и огнем зэковских памятей».

Эта сумятица имеет глубочайшее оправдание. Ах, «нарушение законности»! Ах, «перегибы-перешибы»! На сколько вопросов эти либеральные объяснения не дают ответа. Перед Солженицыным, возможно, не сразу, а по мере накопления материала, возникли совсем иные вопросы. Не был ли «ГУЛАГ» некоей черной дырой, в которую скатились, провалились какие-то всемирные надежды и иллюзии? Мы «подвели» не одну ленинскую теорию, дурно исполнив ее принципы и догмы,— это беда, но наша беда... Есть более грандиозная беда, всеобщий грех — фальсификация народного сознания (она-то всегда предшествует террору). И более великая, чем обличение «искривителей догм», сверхзадача: воскрешение народного сознания, идеалов жизни не по лжи.

ГДЕ «ЖЕРТВА», КОГДА ЗВЕРЬ ЗВЕРЯ ЕСТ?

Упреки в отсутствии милосердия сейчас становятся для Солженицына как бы... полегче, даже невесомее. Дело даже не в том, что, «допрашивая» на свой лад Бухарина или наркома юстиции Крыленко, проведшего множество громких процессов, пока сам не «загремел», не получил одну из словесных «нашлепок» террора[1], Солженицын, как мы сказа-

[1] М. Волошин воспроизвел эту страшную терминологию, к которой привыкли в годы революции и гражданской войны и будущие жертвы 1937 года:

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год

ли, и смеется, и почти плачет. Это-то наконец стало ясно.

В «ГУЛАГе» как художественном целом есть загадочное, трагичное, может быть, даже запредельное. Все обычные вопросы — «Кто виноват?», «Породила ли революция 1917 года ГУЛАГ, или его породило личное «несовершенство» Сталина, «искривившего» ленинизм?» — перед этим сверхвопросом тускнеют.

Эпизодом предстает и судьба Бухарина, не нашедшего в 1937 году сил нарушить расписанный распорядок действий, утонувшего в революционном фарисействе, и история падения создателя «булатных статей» Уголовного кодекса, вроде 58-й, прокурора Крыленко. Последнему посвящены блестящие по искусству сарказма главы «Закон-ребенок», «Закон мужает», «Закон созрел». И даже Нафталий Френкель, создатель потогонной системы эксплуатации, самоконтроля самих узников в лагерях, даже Ягода, который и на собственном процессе, зная, что Сталин, возможно, сидит и сейчас за ширмой, истошно кричит: «Я обращаюсь к **Вам**! Я для **Вас** построил два великих канала!»,— всего лишь мелкая дичь, крупицы трагедии в кровавом колесе, липкая грязца. Это не крик жертвы...

Где здесь политика, где мистика?

Есть ужас, почти иррациональный, извиняющий и весь стиль Солженицына, лихорадку выбеганий на сцену, наивность советов насчет прокалыванья шин у «воронков», драк ломами и молотками с ночными гостями. Он возник, вероятно, непредумышленно. Количество могло перерасти в качество. Отбирая десятки свидетельств, писем «лагерников», посыпавшихся после появления «Одного дня Ивана Денисовича» в 1963—1964 гг.,— а в итоге только свидетелей набралось 227 человек! — Солженицын стал явно ощущать не просто какие-то «нарушения законности», какие-то личные слабости или ошибки людей, «неразумный» перебор в жертвах.

Сколько войн вела Россия в прошлом? «А предателей много было на Руси? **Толпы** предателей вышли из нее? Как будто нет»,— вопрошает он, едва предстала перед ним трагедия, какой-то чудовищный паралич воли у сотен тысяч сдавшихся в плен в 1941 году. Обратившись к нашим дням,

---

Речи и быта оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку...
(«Терминология», 1921)

Солженицын мог бы адресовать этот вопрос тем перекрасившимся, фактически «предавшим» кормившую их идею номенклатурщикам... Не очередная ли это метаморфоза Зла и Лжи?

Таких вопросов возникало много... Они множились один на другой, создавали новые вопросы. Так, вроде бы «единомышленники» в «Новом мире» оказались... очередным знаком вопроса. Видимо, даже Твардовский изумил Солженицына тем, что не мог вообразить, что, скажем, тот же Бухарин, как и положено члену партократической верхушки «Ордена меченосцев» (им видел Сталин всю партию, а вернее, номенклатуру!), не имел никаких принципиальных отличий в этом плане от Сталина. И для него партия взяла власть в стране вовсе не для того, чтобы с кем-то ею делиться!

«И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно: боязнь быть исключенным из Партии! лишиться Партии! Остаться жить, но вне Партии! Вот на этой-то (их всех!) черте и великолепно играл дорогой Коба...

...Наконец, он вполне созрел быть отданным в руки суфлеров и младших режиссеров — этот мускулистый человек, охотник и борец!»

Одна психологическая загадка, повторяем, усиливалась другой, умножая впечатление страшной фантасмагории в русской истории, «чокнутости» всей действительности. Еще не успел Солженицын остыть от игры на два голоса — беседы Бухарина с Вышинским, как набежал новый материал о том же психологическом сдвиге, скажем, с меньшевиком Якубовичем. Его Крыленко попросил «помочь» следствию «провести суд», выполнить интеллигентно и чисто свой последний идейный долг перед партией: «Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут».

Можно сказать, что неожиданное качество, которое из количества возникло в «ГУЛАГе», резко отделившее его и от «Одного дня...», и от «Круга»,— это захватившее Солженицына чувство мирового катастрофизма, небывалого психоза, просчета всего человечества, злейшей иронии истории не над одной «социалистической мечтой». Вроде бы и всегда точны и конкретны маршруты движения поездов и кораблей ГУЛАГа, наглядны эпизоды бытия в Соловках или Экибастузе. Но порой кажется, что какая-то безликая космическая Бездна, логически необъяснимая, без начал и без конца, поглощает всех героев. «ГУЛАГ» — это мировая неправда, сатанизм в истории, страшный феномен единения многих жертв и главного режиссера ада. Задолго до ны-

нешних вещаний об общечеловеческих ценностях, чисто «просвещенческих» надежд на них Солженицын задумался о вселенской природе зла, о бесовщине, не знающей пространственных и временных границ. А ведь Зло и Ложь — это тоже общечеловеческая, но «антиценность»! Русский «ГУЛАГ» сейчас можно увидеть и в таком плане, а не только сквозь призму «конкретной» политики... Такой же взгляд, по нашему разумению, объяснит многое и в «Красном колесе».

Кто «жертва», кто «палач» в этой давильне, в спицах «колеса», если обе стороны часто патетически отрекались от себя, от своего (как правило, общего) прошлого по велению какого-то загадочного гипноза? Почему для того, чтобы освободить человечество, надо было так закабалить себя догмами, бесчувствием разрушительства?

Это загадочное, иррациональное «нечто», целый клубок ярости, сверхличного хаоса, превращающего даже народы в узников, в безликий конгломерат людей, одержимых утопическими целями, Солженицын в годы создания «ГУЛАГа» назовет символически — «красное колесо». И поскольку покатится это роковое колесо, как колобок в сказке, с русского подоконника, его взгляд надолго будет в эти годы прикован к 1917 году, к самой яростной стадии «крестового похода безбожия». На этом историко-философском фоне «ГУЛАГ»— одна из борозд, пропастей,— но не последняя! — вырытых ободом «колеса»... «ГУЛАГ» — послесловие к «Красному колесу»...

* * *

Не будем забывать, что писалось все — и «ГУЛАГ», и «Колесо» — в какой-то мере параллельно. И в атмосфере 60—70-х годов. Общество занято было «мелкими бесами», и мало кто мог понять, скажем, определение «ГУЛАГа» как страны, как незримой «державы». Кто в эти годы вспоминал, что Ф. И. Тютчев называл революцию «державой», а ее властителя, дьявола, именовал «имеющий державу смерти»! «ГУЛАГ» — держава смерти...

Открывший эту державу должен был... помалкивать. Солженицын не скрывает, что он часто в одиночку, видя слабость своих сил, стучался в еще очень плотно закрытую дверь. Или стоял перед нерушимой стеной. Почти физически ощутима его боль, его удары о стену «державы смерти»: ведь он все время двигался вперед рывками, ударяясь в стену, как птица с лета ударяется в стекло. Поражает, как у огнепального Аввакума, накал его вопрошаний, резкость упре-

ков, безжалостность сарказма и жажда переписать, как черновик, давно совершенное и сказанное. В «ГУЛАГе» совмещены приемы «плача», исповеди, яростных библейских обличений, утопических, конечно, мечтаний о нетленных нравственных ценностях:

«О, барды 20-х годов, кто представляет их светлым бурлением радости! Даже краем коснувшись, даже только детством коснувшись,— ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров,— в 20-е-то годы они и отъедались.

Но видим теперь, что и с восемнадцатого...»

Едва ли Солженицын думал в момент создания этого «возгласа», что он одной битой сбивает (или задевает) целую городошную фигуру, созданную, между прочим, и поэтами-романтиками революции, тем же певцом пресловутого матроса Железняка (М. Голодный), бардом ЧК М. Светловым («Пей, товарищ Орлов, председатель Чека... эта ночь беспощадна, как подпись твоя»)...

В другом случае Солженицын горестно смеется над наивностью тех, кто не видел того, что ему-то так ясно: в мир уже пришел бес, сатана, людоед!.. Обязаны были видеть, если рискнули на переворот, на владенье Россией: ведь уже вырисовывается, как громадный мираж, как воздушный силуэт, будущий ГУЛАГ...

«О благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать» («Сдавши шкуру, сдай вторую!»).

«Эй, довольно лгать, продажные перья! Вы, наблюдавшие блатарей через перила парохода да через стол следователя! Вы, никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности!

Урки — не Робины Гуды! Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «Умри ты сегодня, а я завтра!» («Социально-близкие»).

«Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А еще отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (сорок километров от Эльгена). Да, Алексей Максимыч... «вашим, товарищ, сердцем и именем»... «Если враг не сдается»... Скажешь лихое словечко, глядь,— а ты ведь уже не в литературе» («Корабль Архипелага»).

В таких прямых «выходах» автора из-за сцены привле-

кает не только богатство разговорных интонаций, оттенки сарказма, иронии. Хотя и чисто художественное богатство, неведомое нашей прозе, открытую мудрость иронии невозможно переоценить[1]. Самое важное — в том, что мечущийся, выбегающий на сцену автор на протяжении всего повествования изменяет свою природу. Это не «векторный», целеустремленный Солженицын, а скорее одушевленное броуновское движение. И в стиле преобладает мозаичность и пестрота склеенных кусков, скачкообразных возгласов.

Фактически мы видим Глеба Нержина, совершенно вышедшего из-под влияния и Льва Рубина, и разумного Сологдина, не признающего самых святых икон.

Бесспорно, что в «ГУЛАГе» берет свое начало и обращение Солженицына к страстному обличителю тепловатого либерализма К. Н. Леонтьеву, к его историософии, идеям обустройства России на путях обращения к Византии, к твердости старообрядчества, к их воле к самоограничению.

Значение этих разнонаправленных метаний, стремительных бросков в разных направлениях (как выясняется, одинаково глубоко выстраданных!) — в двух авторских выводах. С одной стороны, «ГУЛАГ» — это окаменелая слеза, это обвинительный акт мучителям родной земли. А с другой — это книга о коллективном, еще не отмоленном грехе. Здесь все жертвы и соучастники — и те же Крыленко, Раскольников, Дыбенко, Горький, и доверчивые крестьяне, слепо сжигавшие дворянские библиотеки и убивавшие юнкеров в 1917 году, а в годы коллективизации составившие самый большой поток ссыльных. Из цепочки «порываний» смятенной мысли Солженицына и вызревает весь парадоксальнейший вывод о личном катарсисе автора, о спасении его от внутренней «запыленности», заселенности души ложью и пошлостью самодовольства: «Благославляю тебя, тюрьма...»

Вся книга — это апология личности, защита человеческой души от загрязнения, от разрыва с Небом. Л. Ржевский, первым сопоставивший образ горящей свечи у Б. Пастернака и у Солженицына, справедливо сказал о редком богатстве «творческих форм непримиримости и обличения», «об

---

[1] Жорж Нива, отмечая сложное превращение иронии и сарказма в лирическое одушевление, перец ума, заметил:

«Ирония — известь, скрепляющая эту исполинскую массу письма, она организует книгу и вносит в нее ритм, она прячется в примечаниях, проникает в скобки, неистовствует в шутовских пародиях и зловещих каламбурах. Исследование, посвященное «нации зэков»,— пародия на антропологический трактат, где автор симулирует объективность и беспристрастность какого-нибудь Палласа или Линнея».

апологии совести, справедливости, правды», о вечной «неприземленности души». Эти качества и концентрируются в образе горящей свечи.

* * *

Можно сказать, что приливы и отливы пытливой мысли Солженицына, его воля к свободному манипулированию эмоциями читателя, к созданию особого эмоционального движения, чередованию льда и пламени свелись к выводу, резко осложнившему затем все его положение среди либерального крыла. Он резко свернул с традиционного для многих пути. Он стал каким-то Гамлетом среди политиков, далеко опередившим в своих сомнениях, в катастрофизме тревог за Россию и Запад почти всех российских бунтарей 60—70-х годов. Если бы он был только доверенным летописцем лагерной жизни! Увы, в своем «опыте исследования» он явно вышел за предел дозволенного либеральным каноном оппозиционности. Это был уже «всемирный запой» (А. Блок) ниспровергательства. Ностальгической благопристойной тоске по «хорошему Ильичу», замученному и извращенному плохим наследником, прогрессивным гаданиям о том, как удалась бы история, если бы «сняли Сталина» согласно мудрому «Завещанию» Ленина, уверениям, что именно «с Бухариным» победила бы тоталитаризм демократическая альтернатива, Солженицын не последовал. Этот Гамлет уже на протяжении всего хождения по мукам, сомнений перед феноменами всеобщей «классовой чокнутости» вдруг все чаще стал бросать... рапиру скептика, ирониста. И обращать свой взор к кресту. Придет день Страшного суда, покаяния за коллективный грех, за слепящую тьму, и что же мы поднимем в свое оправданье? Не пучок же брошюр Троцкого и Бухарина вместо «Краткого курса», а все тот же Крест:

И тогда поднимем в оправданье
Медный, мукой мира стертый крест...

(«...В ЛУЧШИЕ МИНУТЫ, В ХРИСТОВЫ МИНУТЫ»)

А совместимы ли в одном лице Гамлет и Христос, Шекспир и Евангелие? Не слишком ли убыточна будет цена подобной «подвижки», размывания великого Первопорядка?

К счастью, ко времени создания «Архипелага ГУЛАГ» в памяти всех присутствовал замечательный образец умножения трагедийности, шекспиризации Голгофы. Это «Гамлет» Б. Пастернака в тетрадке стихов Юрия Живаго, замыкавших роман «Доктор Живаго». До сих пор загадочна та есте-

ственность и простота, с которой совмещены театральные подмостки, кулисы («Гул затих, я вышел на подмостки, **прислонясь к дверному косяку**»), ропот Христа, его моления («Чашу эту мимо пронеси») и тем более «тысячи биноклей на оси» (т. е. теснота театрального зала) и совсем иное пространство:

Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить — не поле перейти.

Катастрофизм многих жизнеощущений повествователя в «ГУЛАГе», его глубочайшее разочарование в «соли земли», в тех, кто бесславно «проиграл» все поединки, все «игры» со Сталиным, не позволяли вначале даже предположить какое-либо воскрешение надежды, очистительный катарсис. Многие «шестидесятники», естественно, материалисты, еще сожалели о «ленинской гвардии», а Солженицын понимал, что эта гвардия потому и помогла «провести процесс», совала голову в хомут, что и для нее вся правота мира была заключена в партии, в замкнутом «ордене меченосцев». Быть правым или неправым для них можно только с партией, имеющей и «приводные ремни» для реализации своей правоты! Это пусть обыватель, художническая богема, наивный поэт-вещатель гордятся какой-то абстрактной, мистической правотой своих открытий, образов, крылатых формул! Скромное закрытое решение внутри ордена, решение «для посвященных», обеспеченное силой, способно положить конец всякой «классово неопределенной», смутной «правоте», претензиям на нравственные абсолюты!

Театр, сумрак ночи в зале Солженицын, безусловно, всегда любил. И недаром он написал несколько пьес, сценариев. В романе-хронике «Красное колесо» он введет даже «экраны», послушный, дробный видеоряд событий, самообъяснение улиц. В «Архипелаге» также есть вдохновенные мечтания о целом шествии мучеников:

«...Это когда-нибудь еще увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты одного цвета, рукава к ним — другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или бушлат — **огонь** (лохмотья как языки пламени). Или заплата на брюках — из обшивки чей-то посылки, и еще долго можно читать уголок адреса, написанного чернильным карандашом...

Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица. Слезящиеся глаза, покраснелые веки. Белые, истресканные губы, обметанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками.

...узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага».

(«Туземный быт»)

Но не просто будет «впихнуть» эти антитеатральные колонны людей с номерами, «канализационные потоки» арестантов разных категорий на сцену!.. Они собьют все «дверные косяки», растопчут любые театральные подмостки!

И вложить своим узникам в руки крест или свечу Солженицын не спешит. В отличие от многих нынешних «духовных туристов».

Мало кто обратил внимание на сцену, в которой впервые появляется крест. А ведь это подробность, которая стоит множества обобщений. Крест возник, можно сказать, из плоти и духа «ГУЛАГа», он здесь унижен, извращен, он возник в ходе самозащиты:

«Когда один блатной остановился против него, он (заключенный из фронтовиков.— *В. Ч.*) свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочередно бить их этой крышкой, пока она разлетелась,— а крестовина там была из бруска-сороковки. Блатные перешли к жалости... «Что ты делаешь, **Крестом бьешь!**»

Признаюсь, меня поразила эта потрясающая подробность: воплощение чистоты, крест возник из нечистоты, из грязи тюремного быта, им стала крышка с отхожего места!

«Крест» здесь не просто опошлен, но изгажен. Библейских воров история превратила в блатных, людей без морали. А заступник общечеловеческой морали вынужден не умолять — «если только можно, авва Отче, чашу эту мимо пронеси»,— а «обижать», оглушать этих псевдолюдей вонючей доской, крестовиной. Они же лицемерно укоряют его: «Крестом бьешь! Ты же здоровый, что ты **человека** обижаешь!»

Достоевский, вероятно, был бы изумлен тем, что люди, уцелевшие в аду ГУЛАГа, часто вынуждены были добывать, «стяжать» абсолютные ценности, свое достоинство зверскими и грубыми способами. Он писал когда-то: «Грех есть дело преходящее, а Христос вечен. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, в Христовы минуты, он никогда в правде не ошибается».

* * *

Может быть, это справедливо, но путь от ошибок и пакостей до прозрения правды в XX веке крайне удлинился. Жизни не хватает многим, чтобы дождаться утешения, своего божественного младенца! И даже светлые, праведные, пришедшие Христовы минуты можно... не узнать! Они так не-

отличимы, как эта драка, где крест возник из орудия драки, от минут зверских и пакостных. И все же именно эти минуты составляют моральную сердцевину огромного, в трех томах и 64 главах повествования Солженицына. Реестры страданий, преступлений, академически аккуратные, вроде «Большого террора» Р. Конвеста, весь мир, слушая, не услышал. А «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг», повторим сказанное, стали теми криками, от которых случился обвал, началось великое прозрение. Интуиция автора «Матренина двора», искателя праведности в народе, и в «ГУЛАГе» не подвела Солженицына. Собирая документы, свидетельства очевидцев лагерного лихолетья в жизни страны,— их в «ГУЛАГе» не менее трехсот! — он ощутил на достаточно раннем этапе, что груда жестокостей, кадры террора — еще не Голгофа. Как груда кирпичей, даже самая «монументальная»,— еще не собор. Пирамида человеческих черепов, как на известной картине Верещагина или в конъюнктурных аллегорических схемах многих расчетливых художников, где живописный «Сталин» взирает, скажем, на песочные часы, в которых ссыпаются вместо песчинок черепа,— это тоже еще не Голгофа. Это всего лишь «машинное отделение», которое есть и в его «ГУЛАГЕ».

Вообще, что такое без Христа... сама Голгофа? Обычная, даже не очень высокая гора в Иерусалиме. Ее моральный статус не изменился бы, если бы без Христа казнили там очередных разбойников... И. А. Бунин когда-то с иронией писал:

Голгофа не всегда свята,
И воры ведь распяты были,
Но ни Голгофы, ни креста
Они ничуть не освятили...

Да и как может «освятить» хоть какое-то лобное место в России тот обитатель «дома на набережной», кто всего лишь проиграл Сталину свои аппаратные игры? Кто фактически злодействовал без угрызений совести, да еще с поразительной свирепостью, в гражданскую войну, в годы коллективизации? Сострадать им мы все обязаны, особенно если гибели предшествовало покаяние, но возводить их же в святые?! В один ряд с патриархом-мучеником Тихоном? Многие из них, как свидетельствовала Н. Я. Мандельштам, уже в 30-е годы жили с печальным сознанием неотмоленной вины: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ — и никогда себе этого не простим».

* * *

Кто же способен освятить гору страданий? Помочь одолению торжествующего Зла?

Всеволод Сурганов справедливо заметил, что автор «Архипелага» непрерывно развивается, он живет в «перестраивающемся» автобиографическом герое. Вот он уже обещает апрельскому небу: «Я многое пойму здесь, Небо! Я исправлю свои ошибки — не перед **нами** — перед тобою, Небо!»

Собственно, этот путь исправления, поиск святых Христовых минут был начат раньше.

«Итак, смотри: свет, который в тебе,— не есть ли тьма?» — этот вопрос апостола Луки весьма важен был и для Глеба Нержина («В круге первом»), и для героя пьесы «Свеча на ветру». Образ горящей свечи — символа высокой человеческой души, требующей сбережения, сжигающей даже малым светом все преграды к правде,— объединяет, как заметил Л. Ржевский, «Доктора Живаго» и «Архипелаг».

Но, пожалуй, только к моменту завершения «ГУЛАГа» Солженицын приходит к своей излюбленной идее — идее победы над Злом через жертву, через неучастие, пусть и мучительное, во лжи. В финале своей книги-реквиема, приговора тоталитаризму Солженицын произносит слова благодарности тюрьме, так жестоко соединившей его с народом, сделавшим его причастным к народной судьбе: «Благодарю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни».

В год публикации «ГУЛАГа», словно приписывая морализаторский эпилог к своему приговору, «каменному Слову»[1], он в письме к патриарху Пимену заговорил о совсем нелиберальных путях победы над злом: «Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло. И указало путь — **жертву.** Лишенный всяких материальных сил — в **жертве** всегда одерживает победу».

---

[1] Есть известная перекличка между строкой А. Ахматовой о приговоре («И упало каменное слово») и солженицынским определением своего «контрприговора» («камушек неподъемный, окаменелая наша слеза») В 80-е годы Солженицын в связи с одной акцией общества «Мемориал», водружением «камня» на площади Дзержинского, подтвердит свою верность давнему определению «ГУЛАГа» как окаменелой слезы: он скажет, что уже положил в мемориал свой камень.

«ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ...»

Дар жертвы — дар случайный, редкий, не дающийся «даром». Человеческий дух не является чем-то бесплотным, независимым от мира бытия, как дух ангелов. В основе религиозного катарсиса, очищения-освобождения лежит представление о том, что в результате мук, того или иного потрясения человек духовно выходит из плена, что порок и злодейство как некие судороги души, задавленной, оторванной от Бога, остаются позади, сбрасываются, и человек свободно строит новую духовность. Пыль всяческой суеты, которую человек поднимал, оседает, и человек видит Небо. Иногда можно ускорить прозрение, «зажечь» свой дух о чужую духовность, сосредоточенную, скажем, в искусстве или в иной «незапыленной», сохранившей себя душе. Русский философ-эмигрант первой русской волны И. А. Ильин заметил, что человек в период очищения-освобождения переживает сложное состояние «выселения» и «новозаселения»: «Иногда бывает так, что отвержение и «выселение» сильно опережают процесс «новозаселения» души, и тогда человек переживает настоящий кризис опустошения».

Вероятно, и помимо явного кризиса бывает множество переходных, сумеречных состояний. Едва ли сразу человек восходит на большую высоту. Все праведники Солженицына — от Ивана Денисовича, Матрены до Захара-Калиты — часто никакой гражданской высоты не знают. И при создании «Архипелага» Солженицын, видимо, прекрасно понимал, что процесс «покаяния», «новозаселения» душ остается для него неизвестным, закрытым. Чем была «заселена» душа того же Крыленко, Френкеля, Ягоды, было ясно. Крыленко в зените славы и власти, как творец нового «права», согласно которому трибунал — вообще не суд, а орган классовой борьбы, ясен до последнего нюанса. А вот перед гибелью? Описывая способы перевозки зэков в «вагон-зэках», в купе с тремя ярусами — на 20—30 человек! — Солженицын лишь мельком сообщит, что в самый страшный, низший, куда и втискивали-то людей из коридора, был «помещен» создатель «новых этических норм» Крыленко... Молиться там было негде, да и едва ли этот железный нарком ощутил в себе дар молитвы...

Есть в «ГУЛАГе» переходные состояния между колокольной громкостью и тишиной, между звукорядом набата и зреющей в душе молитвой. Для меня лично они — самые драгоценные. Солженицын как бы все время стоит в отда-

лении, как пророк. Он верит, что его книгу-декрет, книгу колокол читатель возьмет с надеждой на изменение мира, исправление фальшивого осознания эпохи. Эта воля и породила причудливейшие отношения текста и жизни в книге. Фактически стал исчезать текст как самодостаточное художественное явление, началась полоса «инкорпорирования», внедрения документов в этот текст, возникло мучительное пульсирование разнообразных стихий. Из «Архипелага», между прочим, берут начало многие линии «Красного колеса» и публицистики Солженицына. Хорошо ли это? Внеобразный путь поиска правды обманчив. Правду нельзя перенести из жизни в искусство как ворох документов, «один к одному», как заметил критик А. Архангельский. За правдой может поспеть только образ...

Редки, как бы случайны поэтому в «ГУЛАГе» и пейзажи, в которых живет эта «тоска острожная, железная», и моменты, когда и герои и читатель выпадают из зловещей феерии процессов-спектаклей, почти нероновских.

...К счастью, внеобразная стихия еще не одолела образную. И в небольшой главке «Архипелага» с тоскливым названием «Цепи, цепи...» возникает вдруг удивительный пейзаж, мгновенный фотоснимок, стихотворение в прозе о переходном состоянии души; это еще не молитва, но беседность, исповедальность, предшествующая «новозаселению» души:

«Стояла долгая сухая осень,— за весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен,— он *дул тонко, щемяще и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся* нам даже с лесов БУРа (тюрьмы.— *В. Ч.*),— ни поселок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша еще проволочная зона не закрывали от нас *беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадежности этой степи*.. Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и еще бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мел по степи».

Солженицын не скрывает щемящего чувства от затянувшейся неволи, запретной близости простора. Но герой рад и тому, что есть возможность задуматься, связать клочки жизни. Писатель никогда не идеализирует прерывистый процесс самопознания и самоспасения в человеке. Порой он меланхолически замечает, что его вера в человека то подвергается серьезнейшим испытаниям, то как бы исчезает.

Это позднее, уже за рубежом, он скажет, что «Россия совершила как бы исторический прыжок», что она «по своему общественному опыту оказалась впереди всего остального мира» (интервью испанскому телевидению, 1976). Но как страшен маршрут этого обгона! Да, птички, живущие весь век на экваторе при плюс 30, не узнают, что испытывают птицы, живущие при минусовой температуре: они попросту погибнут уже... в зоне при нуле градусов!

Опасно и другое: гордость выживанием, тщеславие нищеты, самодовольство примитива... Перед открытой степью, перед глухими годами неизжитой еще каторги о многом думалось иначе, приглушенней и потому точнее:

«Думай. Выводи что-то и из беды. Все это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключенных. Они издали в массе похожи на копошащихся вшей, *но ведь они — венец творения, а?* Ведь когда-то и в них *вдохнута была слабенькая искра Божия.* Так что теперь стало с ней?»

* * *

Солженицын не скрывает, что многие «выводят», вычисляют из беды, из несчастий и ужасов, да еще по соседству с блатными, страшные результаты: одни выбирают путь к самоубийству, скорейшему расчету с жизнью, другие предписывают себе: **«выжить любой ценой».** Первый путь для писателя — это банкротство: человек имеет истеричную, вспышечную силу воли (чтобы умереть), но не имеет более сильной воли (чтобы жить). А это нередко труднее в условиях, когда «даже звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей» (Н. Заболоцкий).

Еще ниже по моральному итогу и то «думанье», вернее, бессознательная, звериная хитрость тех, кто лижет чужие миски, кто доносит без конца на соседей по нарам, бараку, кто живет по принципу «Умри сегодня ты, а я завтра». На эту породу человекообразных существ — среди заключенных или охраны — писатель даже и беду не хочет накликивать: с его точки зрения, эти мучители «наказаны всего страшней: **они свинеют** или уходят из человечества вниз...»

Здесь, конечно, скрыт намек на библейских свиней, в которых вошел бес и повлек их к пропасти. Может быть, в силу такого понимания главного ужаса лагерей — «этики» блатных, всеобщей обязанности пригибаться до этого растления, всегда волновавшего В. Шаламова! — в «ГУЛАГе» относительно немного внимания уделено отчищению русской Голгофы от этого, уже неизлечимо больного, разряда заключенных? Во 2-й части книги «Вечное движение» мельк-

нут страшные соседи по купе — образины, гадкие хари, увы, порой с крестиками... «Эти странные гориллоиды скорее всего в майках — ведь в купе духота... В этом жесте «глаза выколю, падло!» — вся их философия и вера... Болтается крестик, ты смотришь на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчета: кто из нас сошел с ума? кто еще сходит?»

Чтобы родилась такая спутанность, общая безжалостность, среда бесчеловечия, надо было столько раз ломать, приспосабливать нормы общечеловеческой морали к обстоятельствам, программам, изречениям вождей, к «законодательству» и т. п.

* * *

К счастью, было и иное «думанье», чуждое деградации, удобному «релятивизму», поплевыванию на вечность, не признающее банкротства самоубийц. Человек осознавал, что под ним и перед ним «бездна», готовая его поглотить, унизить, смять, но... Над этой «бездной» — что? — Небо, некая высшая сила. В старину говорили смелее: «дух Господень...» И если ты долго не видишь этого Солнца, Неба, то вовсе не оттого, что свет или высота их «оскудели», «обессилели». На самом деле скуден твой дух, твое зрение загромождено ложью, пеленой всяких мерзостей.

Солженицын предлагает читателю «ГУЛАГа» любопытнейшую точку для концентрации внимания:

«И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой» — и пошел, куда идут спокойные и простые,— удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном».

Солженицын оценил малейшие возможности преображения, духовного восхождения героев в самых катастрофических условиях.

При всем этом нельзя усматривать какую-то систему в цепочке крупных и мелких просветлений, добрых жестов, в случайной игре солнечного света, который «золотит» отдельные пылинки лагерного быта. Свойства системы часто в корне отличаются от свойств элементов, ее составляющих. Да и не складываются как будто в систему все мимолетные состояния доброты, милосердия, жалости!

Вот вдруг один из героев признается, что «до сих пор помнит своего первого приговоренного к смерти»: «...было жалко его». «Ведь на чем-то сердечном держится эта память,— удивится автор-повествователь.— Как ни ледян над-

зорсостав Большого Дома — а самое внутреннее ядрышко души, от ядрышка еще ядрышко — должно в нем остаться?»

В другом случае «убежденный беглец» Георгий Тэнно, герой особой новеллы, рассказывает о том, как его везли после поимки связанного в кузове грузовика, как ударяло его головой о борта и доски. И вдруг — неожиданность: «Когда я перестал бороться с кузовом и совсем уже бесчувственно бился головой о доски, один конвоир не выдержал — подложил мне мешок под голову, незаметно ослабил наручники и, наклонясь, шепотом сказал: «Ничего, скоро придем, потерпи» (Откуда это сказалось в парне? Кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким...)».

Сами беглецы, которые после лагеря могли быть обижены на весь свет, тоже проявляют удивительную деликатность к людям, обогревшим и накормившим их. Ненадолго попал в поле зрения читателя беглец Степан, ушедший в безводную степь, питавшийся сусликами и тушканчиками, но трудно забыть его благодарность людям: не смог он украсть лошадей у простого рабочего, приютившего его на ночь. «...Он не мог обидеть хороших людей — и ушел пешком».

Критики, изумленные неожиданной воинственностью Солженицына, восторгом перед восстаниями в Экибастузе и Кенгире как чем-то несовместимым с моралью праведничества и непротивления, не заметили глав «Убежденный беглец», «Белый котенок», «Побеги с моралью и побеги с инженерией». Писатель специально исследует редкую человеческую породу беглецов, которая не поддается самообману, ищет любого способа разомкнуть цепи. Этих беглецов смиряют... сами лагерники, увещевают насмешками: «Что ты можешь найти на воле, особенно теперешней?» Но мало кто замечает, что, уже создавая группу, в которой никто не выдаст, не донесет, убежденный беглец умножает свою свободу, восстанавливает исковерканную веру в человека. Во всей главе «Сорок дней Кенгира» самое убедительное — это «непредсказуемый ход человеческих чувств», выразившийся в протесте против грубого способа унизить, убить достоинство людей, разлив среди них... помои, липкую грязь в виде 600 сотен гориллоподобных воров.

Бесспорно, того своеобразного фокуса, в котором сосредоточились бы все христианские микродвижения души, будничные жесты, порывы к добротолюбию, фокуса, подобного главе «Замок святого Грааля» в романе «В круге первом», нет ни в одном томе «Архипелага».

А может быть, и хорошо, что нет. Пиршество идей, «сократическое беседованье» интеллигентов, рыцари Грааля,

символа Совершенства, Вечности,— это пиршество стало уступкой филологии, даже «германистике» одного из героев «Круга» — Льва Рубина. Зачем подобная книжность, цветистая цитата в «ГУЛАГе»?

* * *

«Архипелаг ГУЛАГ» — куда менее математичное произведение, чем «Круг». Но именно эта книга — «окаменелая слеза» — самым убедительным образом свидетельствует, что среди всех линий борьбы в мире всего важнее для автора одна:

«Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями,— она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра».

Может быть, именно эти скрытые эмоциональные толчки, «изгибающие» линию между добром и злом, и не позволяют поверхности «ГУЛАГа», как мы заметили, остекленеть, застыть, на глубине остыть. Это роман вечного волнения, «ледохода», порой просто вечного паводка... Солженицына еще будут возводить в родоначальники «реально-исторического направления лагерной прозы», противопоставляя «экзистенциальному» направлению, исследующему запредельный опыт страдания, умирания, отрицания предметного мира как чего-то подлинного,— его лидером, русским Камю стал В. Шаламов (Д. Лекух. «Ад — это мы сами»).

«Архипелаг» действительно «каменеет», как энциклопедия ужасов, путеводитель в исчезнувшую страну отчаяния. Он превращается в грандиозный мифический мир, видимый и осязаемый. Но с другой стороны, он как незаглушенный реактор, все еще непрерывно переваривает свой «уран», разряжает «боеголовки», плавит монументы и святыни, культы и культики, объекты поклонения и штампы. А ведь если акты грандиозного поклонения — это магические операции часто невероятной силы, при которых безучастный кумир, ритуал требовали огромного энергетического наполнения от поклонявшихся, то и разрушение идолов, миражей, абстракций — это часто взрыв, высвобождение множества энергий, огня.

Солженицын однажды искренне признался: «Я ли не спорил. А чем же я занимался в тюрьмах? и в этапах? и на пересылках?.. И вот что — ото всех этих споров остался

у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе — один слившийся человек. Из разу в раз он повторит в том же месте — тот же довод и теми же словами. И так же будет непробиваем,— непробиваем...»

А все ли мы «пробиваем» сейчас, когда сменилась часто лишь терминология, ритуал лжи? Другой «уран» заложен в «реактор», другие догмы сложились в демократический, рыночный талмуд... Но и в нас та же воля к фальсификации, те же способы институировать ложный образ миропонимания! Читаешь сейчас главу «Благонамеренные» как газетную полосу:

«— А смотрите — деревни наши нищие: солома, избы косые.
— Наследие царского режима.
— Ну да и советских лет уже тридцать..
— Исторически ничтожный срок.
— Беда, что колхозники голодают
— А вы заглядывали во все чугунки?
— Но я сам видел колхозы...
— Значит, нехарактерные...
— Но во многих магазинах прилавки пустые.
— Неповоротливость на местах.
— Да и цены высоки. Рабочий во многом себе отказывает
— Наши цены научно обоснованы, как нигде»

Да это голос очередного экспериментатора! Новейший, слившийся из множества «прозрений» демократических простаков в непробиваемую идеологию, вновь отвергающую очевидное ради желаемого! Ложный общественный идеал может и впредь эксплуатировать нашу веру, мечту и наше горе...

Мы победили террор, но другой «Архипелаг» — террор утопизма, становящийся набором отчужденных мыслештампов, рабской волей к фальсификации, в конце концов «новоязом», целой антикультурой, предстоит еще очень долго побеждать. Не будем себя утешать и тем, что сейчас вроде бы «красное колесо» то ли рассыпалось, то ли покатилось назад... Мы долго будем жить под его руинами, в «его колее», а потому: «Да будет вечно святое беспокойство, неостановим «ледоход»!»

РОМАН, ПРИТВОРИВШИЙСЯ. МЕМУАРАМИ

(«Бодался теленок с дубом» — дневник сотворения свободы, прощания с либералами из «оттепели»)

«Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться. История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно»

*А Солженицын
Предисловие к сборнику «Из-под глыб» (1974)*

«...Почему это на жизни одного человека весьма видна нить, за которую Господь выводит его из лабиринта его собственных страстей и умственных блужданий, а на жизни другого проследить ее труднее,— не знаю! Да и кто знает это?»

К. Н. Леонтьев.— В В. Розанову. 13 апр. 1891 г

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС... ДЛЯ САМОГО СЕБЯ!

История культуры в послеоктябрьской России часто создавала удивительные типы управляемого «литературного процесса». Вернее, она получала их сверху. Были трагические эпизоды «управляемости» — высылка философов, «людей мысли», из России в 1922 году, сбрасыванье Пушкина с «корабля», загадочные уходы из жизни Есенина и Маяковского. Литературный ряд выравнивался путем обвальной критики Андрея Платонова или Михаила Булгакова. Всему этому, конечно, предшествовала эмиграция, а точнее, кошмар беженства многих деятелей культуры, берлинская или константинопольская «волны». Это была Голгофа русской культуры.

* * *

...Уже первые главы «Теленка» — с нарочито дерзкими, авантюрными, может быть, несколько «конспиративно-подпольными» заглавиями «Обнаруживаюсь», «На поверхности» — говорят о том, как необычен был дебют Солженицына. Он дерзнул разрушить официозный литературный процесс, регламент игры, и превратить «тайную свободу» в явную, открытую. В предмет подражания, в норму для всех.

Все чересчур дерзкое всегда несвоевременно! Уговорить человека стать другим — это почти все равно что упрашивать его сломаться, умереть. Аллергия Солженицына ко лжи, к заклятиям неправдой была такова, что даже в «Новом мире», как скоро стало ясно из реакций либерального окружения Твардовского, Солженицын показался бунтарем, чересчур резко «совлекающим Твардовского с проверенного мощеного пути»... Он уверенно распоряжается своим иммунитетом славы, ищет — для своего дела! — той защиты, которую дает Нобелевская премия, поражаясь «беспомощным» заявлениям Б. Пастернака.

А надежна ли была даже такая ступенька в новом литературном процессе, выстроенном в 1962 году, как «Один день Ивана Денисовича»?

В 1964 году, как известно, пал Хрущев, «сбросили Никиту», и перед одиноким бунтарем возникла дилемма: «Выдвинутый одним этим человеком — не на нем ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы загреметь и я?.. Беззвучный и бездеятельный до снятия Хрущева, я намеревался теперь стать еще беззвучней и еще бездеятельней...»

Необычность всего пути Солженицына в условиях застоя, при явной «усталости» либерализма, разрешенной оппозиции в 60-е годы состояла в чередованиях настроений «бунта», «боданья» и вполне понятных настроений смирения, желания уйти в беззвучность и бездеятельность.

Достаточно вспомнить главу «Подранок» или горькое сожаление о потере друзей в надежде на потомков в 1971 году. Повествователь — то в капкане под угодливое обгавкивание лягавых хватких волков, то вдруг — на скале, на свободе. Да еще с гордым сознанием, что «Теленок оказался не слабее Дуба». Эта «страстная человеческая воля», говоря языком Варлама Шаламова, позволяет сказать, что здесь разбужены были поистине тайные, надличностные силы памяти, долга.

Время Солженицына — главного героя «Теленка», захватывающей лирической прозы,— часто распадается на отдельные застывшие миги: «Обнаруживаюсь», «Подранок», «Петля пополам», «Душат», «Пришло молодцу к концу» и др. Это время взорванное, исколотое на эмоционально различные миги, часто самодовлеющие, завершенные в самих себе. Но читатель видит драму героя: как ни пытается он уйти в «укрывище», обеззвучиться, стать бездеятельным, пригнуться, щадя Твардовского, но надеть чужое лицо, «чтобы и к месту и к костюму»... это для него невозможно!

Солженицын «обнаруживается» — прячась, он «на по-

верхности» — даже ныряя, он на свету — в «укрывище». Его рукописи можно украсть, но спрятать некуда! Разорванные мгновения не застывают, а текут в вечность, взаимосвязываются благодаря тому, что все они одухотворены великой целью — создать свободу для всех, не для одного себя. Разрушить «Дуб» — это значит обрести Россию... в России.

* * *

Грандиозный пролог поединка, сразу соединяющий мотивы смирения и ярости, демонстрирующий поразительную, перевитую, скрученную эмоциональную ткань «Теленка»,— это, конечно, развернутые картины «управления» казенным литпроцессом — встречи Н. С. Хрущева с деятелями культуры в 1962 и 1963 гг. Это берег отплытия.

В чем суть этих легендарных ныне, наивных во многом встреч на правительственных дачах, сразу с Главным идеологическим домом? Встреч внешне «страховидного», но по существу «прирученного» Никиты с творческими «подданными», фактически вассалами?

Солженицын, вчерашний учитель из Рязани, автор «Одного дня...», конечно, понимает, что «встречи» — это не «меценатство», не развитие прекрасных традиций русских культурных салонов, гнезд (Абрамцево при Аксаковых или Мамонтове и др.). Тут, на «тусовке» литвождей, редакторов, модных популистов от «оттепели», разрешенных бунтарей творится совсем иное действо.

В каком-то извращенном, изгаженном виде присутствовал в этих встречах — с показной непринужденностью и «шутейностью», с обильным кормлением — и момент расчетливого внимания к властителям дум, учета природной русской доверчивости к печатному слову, к песенному тексту: как поразительно долго используется в России эта доверчивость! Но все определяла главная идея Хрущева, теснимого уже всесильным партаппаратом: «Мы разоблачили культ личности Сталина... Сейчас мы крепко дадим по рукам всем, кто слишком резво... за нами последовал!» Следовать руководящим докладам надо было до известной (кому?) точки и на неизвестное — кому? — время.

Ночь на Лысой горе... Бесовское кружение, толчея, своекорыстные карьерные схватки возникли на глазах Солженицына у подножия «престола». Крепко схватились те, кто давно привык бороться за овладение стремниной литературного потока, кто знает, как надо грызться,

...деля между собою кость
или хозяинову трость...

А трость, булава, маршальский жезл в руках незабвенного Никиты Хрущева, «плясуна» на пиршествах у Сталина, в те 1962—1964 годы, в преддверии заката, еще устрашала своим величием. Он «погремливал» весьма «осадисто».

«— С кем, товарищ Сурков, вы хотите сосуществовать?»

«— Всем холуям западных хозяев — выйти вон!»

Он, этот «погремливающий» и немного уже бутафорский Никита, действительно был смущен тем, что натворил он с «оттепелью», с половинчатой свободой, с «чрезмерной» критикой «культа» на XX съезде. Он «выправляет» ситуацию и на своем языке пытается загнать джинна в бутылку:

«Если недостатки так называемой лакировки сравнить с недостатками тех, кто сидит на мусорной яме?.. А Сталин звал на борьбу с врагами... Но Сталин потерял сдерживающие центры, как Ленин говорил еще в 1923 году».

Когда-то М. Цветаева, любимая Солженицыным поэтесса XX века, сказала, обращаясь к условному преследователю: «...Ты погоня, но я есть бег. Не возьмешь мою душу живу...» Он сам, записывая выступления, вбирая атмосферу этого бесовского действа, тоже «есть бег», есть «душа жива». Его записи — как мгновенные фотоснимки, ретушируемые ироническими штрихами:

«...В руинах дымился весь XX съезд. Сейчас внесут портрет Сталина, объяви Никита: «На колени перед портретом!» — и все партийные повалятся, и вся когорта повалится радостно,— и остальным куда ж деваться? Попробуй уйти!»

Откуда однако у Солженицына этот лучик улыбки, снисхождения к когорте преданных, даже жаждущих «внесения портрета»?

Следует помнить, что Солженицын уже в рассказе «Случай на станции Кочетовка» мягко, но весьма внятно сказал о том, что государство, тем более партократия, всесильно-бессильная номенклатура, не «покрывает», не замыкает на себе весь народ, что история России богаче и по крайней мере длиннее истории ВКП(б) — КПСС...

Социально-психологический пейзаж «встреч» удивителен. Лица, жесты, мимика говорят о привычности навыков житья в искусственном «литпроцессе», в плановой фабрике иллюзий, утопий. Здесь все знают приемы подталкивания и преображения действительности. Эта книга, прикинувшаяся мемуарами, в действительности несет в себе свободу и мощное «ясновидение» психологического романа. «Теленок» бодается сразу с несколькими противниками. Этап освобождения от бесовского наваждения псевдокультуры, от фразеологии и духа фасадной идеологии почти сразу же после панорамы «встреч» и публикации «Одного дня...» перерастает в

затяжной процесс освобождения от либеральной схемы, от власти «образованщины», от ее «двоемыслия» и диктата. Здесь, увы, были свои догмы, своя принудиловка несвободы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ... ОТ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

В 1969—1971 гг.— в чистках, проработках, «исключениях» инакомыслящих — Солженицын уловит какой-то дребезг: это все фасад, за которым скопились все виды пустоты, неуверенности и страха, недомыслия и сложной «диалектики» предательства. Больше всего — затаенного преклонения перед тем же, до поры ритуально проклинаемым, Западом. «Общественная жизнь была убита. Действовала лишь ее имитация... И руководили не люди, а имитаторы»,— скажет об этой пустоте за фасадами Н. Коржавин. Талантливой реакции не получалось. Величие «дуба» было уже в годы застоя миражным, а все его защитники — это говорящие муляжи, которые загромождали пространство. Здесь уже зрела готовность ко всяческому обмену, к «свободной конвертируемости» — душ, сердец, должностей, превращаемых в любые виды буржуазной «валюты».

Тема «обмена» вообще витала в атмосфере.

Юрий Трифонов, автор прозорливой повести «Обмен» (1969), истории вырождения, власти вещизма, омещанивания, обмена идеалов на «хищные вещи века», первым затронул ее. Но он едва ли до конца проник в глубины этой готовности к обмену. Не пафос раскаяния за искалеченную историю возникал в будущих «прорабах» русской Смуты 90-х годов, а суетливая готовность мгновенно «разочароваться» в социализме и «очароваться» хотя бы диким капитализмом. Да ведь уже давно лицемерная болтовня заменяла присягу на верность!

Солженицын позднее, в сборнике «Из-под глыб», скажет о том, какую печаль рождали в нем всеобщая недооценка именно дара раскаяния, дара милосердия, взыскательного отношения к своей собственной лжи: «В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти... Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило...» Забегая вперед, скажем, что и сейчас мы не продвинулись вперед в этом плане и по-прежнему злобно ищем виноватых где-то вне себя, вне своей группы, партии, движения, нации. Стало быть, и исправляться не нам, а тем, что вне нас, не с нами, против нас!

Носители тоталитарной идеи, естественно, не знали само-

го понятия «прощеный день», высоко стоявшего некогда в русской годовой череде. Что тогда говорить о них! Сейчас, зная «Красное колесо», «Архипелаг ГУЛАГ», мы можем понять, почему так мало говорит Солженицын о горах лжи, о сожженной совести ряженых псевдолитераторов. В его «Добавлениях» чаще всего нет даже выпадов против тех, кто в 1974 году называл его «докатившимся до края», «литературным власовцем», «подрывателем основ советской государственности», «Иудой Искариотским»...

«Но мимо, мимо, зачем говорить об этом?» — это восклицание Гоголя в «Мертвых душах» будет уместно и здесь. Все эти «полканистые» или скорпионные фигуры и их мнения (их ли они?) не просто стали микроскопически малыми.

В тех боях, атаках с ходу, «боданьях» 60-х годов Солженицын, повторяем, так близко увидел своего противника, что уже тогда уловил его... страх, неуверенность, имитацию идеологичности! У них не было завтрашнего дня. Таков закон, «ясновидение рукопашной»... Именно в ходе ее становится ясно, когда наступает миг — «ура! мы ломим, гнутся шведы!» Когда бодрые, знающие, «вö как писать надо», литдеятели превращаются в хоровод теней, призраков, не понимающих, что прошло их время. «Прошло ваше время, заразы, срока давать»,— так сказал еще до 1953 года герой «Одного дня...».

Да как же оно прошло, если?.. Бывший инженер-химик Петр Демичев на посту идеолога удовлетворенно констатирует: если на нормативного пацифиста Ремарка Солженицын непохож, то с ним «все в порядке»! Какое же убожество сознания и беспамятства надо иметь, чтобы не вспомнить о куда более грозной и очищающей русской традиции бунта — Достоевского и Толстого! — преодолеть какой-то иррациональной, иссушающей силы, исходившей от догм Всесильного Учения!

А мог ли возникнуть талантливый... либерализм? После «оттепели», в преддверии распада тоталитарного режима?

* * *

...Если бы Солженицын не писал в те годы «Красного колеса», где крах либеральных болтунов, растливших толпы, раскачавших Россию до космического взрыва и не сумевших управиться с ее осколками, был очевиден для него, если бы сквозь весь «ГУЛАГ» не продернута была мысль о победе над Злом через страдания, личное покаяние, то... никакой «пророк, диктатор, обвинитель образованщины» — не сыграл бы своей роли. Вероятно, «второй» фронт, разлад с так

называемым «шестидесятничеством» (иное обозначение того же тепловатого либерализма), не обозначился бы столь явно.

Но судьба сильнее биографии! В Солженицыне возникло глубинное противостояние не только тоталитарному деспотизму, сталинизму, но и плоскому либерализму, всем, кто «волка» (систему цитат из «Передового Учения», из классиков «изма-изма») звал при облаве на неославянофилов, на «мужиковствующих», на «почвенничество» в помощь.

«На «ура» принимали меня, пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и все общество было со мной. В первых вещах я маскировался перед полицейской цензурой — но тем самым и перед публикой».

Литературная маска борца со сталинизмом — вовсе не маска для Солженицына. А если маска — то одно из многих его... естественных лиц. Он долго не снимал «ее», щадя в какой-то мере... Твардовского! Хотя тот, вероятно, и догадывался, что в серии переменчивых и прозрачных масок Солженицына всегда видны лица Ивана Денисовича, Матрены, Нержина, врача Донцовой. И тем не менее едва снята была «видимость» (маска) борца только со сталинизмом, начался самый сложный этап «дружбы-борьбы» с Твардовеким.

БУНТУЮЩИЙ ПЛЕННИК ЛИБЕРАЛИЗМА

...Образ Александра Твардовского возникает в «Теленке» как бы в некотором отдалении от либерального окружения.

Он, «верхний мужик» в «Новом мире», восхитившийся в рукописи повестью «Один день Ивана Денисовича», не имеет на московской почве надежных друзей, чтобы проверить себя, опереться, продвигая повесть, на чей-то нелицеприятный отзыв. Если общей чертой либеральной интеллигенции являлась известная отчужденность от общенациональной жизни, кружковость, кастовость сознания, чаще всего «европоцентризм», то Твардовский еще помнил:

Мы все почти что поголовно
Оттуда люди, от земли...

И тем не менее он одинок среди тех, для кого Россия была только... интеллигенцией.

В дальнейшем Солженицын на свой лад пополнит окружение Твардовского, человека, в котором поражает «детское выражение лица — откровенно детское, беззащитно детское, ничуть, кажется, неиспорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже «обласканностью троном».

* * *

Небольшое отступление от жанра «Теленка» крайне необходимо. Хотя бы для того чтобы не обижаться на режущие края, на терпкую ироничность емких характеристик всех «новомирцев»...

Надо понять, что Солженицын, по мысли критика Ж. Нива, «приступил к титанической мелиорации истории нашего века... осушая болота наших душ». Что же обижаться, если он начал с «Нового мира»?

Да и не мемуарист он вовсе... То, что Твардовский в «Теленке» — это грандиозное обобщение, почти герой романа,— для всех очевидно. В редакции и в Рязани на Пасху 1964 года, на Секретариатах и на даче — везде показывается его включенность в общенациональную жизнь. Он выше многих так называемых «деревенщиков», которые часто рисовали не русский народ, а русский деревенский этнос. Эта сопряженность с трагической судьбой народа раскрыта Солженицыным крайне своеобразно: он видит сходство Твардовского с генералом Самсоновым, честным русским солдатом, потерявшимся в водовороте интриг, заговоров российской «закулисы», с Иваном Денисовичем, Матреной... Интерпретацию реальных характеров Кондратовича, Лакшина, Дементьева сквозь призму культуры и сквозь призму «образованцев» из «Одного дня...» и «Круга» легко отметит любой критик.

Впервые об этой интерпретации и ясновидении романиста в «Теленке» заговорил Б. Парамонов в статье «Мандельштам о Солженицыне». Заметив, что от произведения к произведению вихри истории как бы «вымывали», выедали вымышленных героев у Солженицына, делали их невольными самозванцами на местах, занятых реальными творцами или жертвами истории, куда более тусклыми рядом с Лениным, Керенским, Б. Парамонов пришел к мысли, что Солженицын просто обречен был найти «прием удачи, обратный «Ивану Денисовичу»: «...не летопись, прикинувшаяся романом (или рассказом), а роман, имитирующий мемуары... Солженицынский «Теленок» — настоящая книга, материал которой — героическое противостояние писателя тоталитарному деспотизму,— давал возможность романного его построения... В Солженицыне... произошло совпадение, отождествление, слитие таланта и судьбы. Вот почему он великий писатель, попросту — гений. «Гений — это и есть герой собственной жизни, человек, делающий из своей жизни героический сюжет».

* * *

Что же приобрели и что потеряли Твардовский, да и сам повествователь как герои романа, притворившегося мемуарами?

Конечно, в обоих случаях была потеряна полнота и непрерывность биографии, особенно творческой, и Твардовского и Солженицына. Читатель лишь по немногим намекам понимает, что Солженицын не принимает очень многого в поэзии Твардовского 30—40-х годов: многое здесь отстало от его задачи... Что говорить о «Стране Муравии», благословлявшей объективно социально-этническую катастрофу деревни — коллективизацию! Его, Солженицына, герой в «Одном дне Ивана Денисовича», маленький человек, выпал из ритуала «голосований» или, как пишет Р. Медведев в статье «Твардовский и Солженицын», из борьбы «между различными направлениями социалистической мысли» (скажем, между Волковы́м и Цезарем Марковичем?!). А Никита Моргунок не только не выпал: он поблуждал в поисках мифической страны Муравии и... естественно, по законам и велениям якобы самой природы пришел в колхоз!

Иван Денисович как раз разрушал миф о природности, законности всех «нововведений» — от колхоза, лагеря до «нормативов лжи» — отменял народное благословение на это. Особенно явно эти искалеченности сознания звучали в одной подробности повести: Иван Денисович не рвется на волю, уравнивает свою несвободу «здесь» и «там». Этот фатализм смущал даже Твардовского, доносил до него смутное ощущение всеобщей привычки к жизни в мифологическом пространстве, под давлением мифократии. Трудно сказать почему, но глубокий смысл этого фатализма, намека на одинаковую несвободу «там» и «здесь», отчасти раскрываемый в беседе инженера Бобынина с министром Госбезопасности Аббакумовым («В круге первом»), тогда до многих не доходил. А ведь этот инженер «досказывал» Ивана Денисовича: «Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих...»

Впрочем, Солженицын крайне деликатно оценивает целые периоды творческой деятельности Твардовского. Давление мифократии, энергия всего мифологизированного пространства не действовали лишь на отдельных людей. Да и то в исключительных обстоятельствах. Что все бесчисленные вирши или романы-реки, воспевавшие якобы всеобщую новую веру, «заколдовывавшие» сознание, как не талантливые ловушки художников, созданные собственным изощренным мастерством?

Свободны были немногие. Их строки могли быть трагическими эпиграфами ко всей эпохе. Скажем, такие грандиозные, почти космические видения:

Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет...
(Н. А. Клюев)

Или не менее страшные и символические строки об ужасе Колымы В. Т. Шаламова:

И я стонал в клещах мороза,
Что ногти с мясом вырвал мне,
Рукой обламывал я слезы,
И это было не во сне...

Твардовский ни в чем не солгал в «Василии Теркине», он создал чудо народного характера в потоке «угарной агитационной трескотни» времен войны. В данном случае, когда шел «бой святой и правый ради жизни на земле», именно народная санкция на ярость благородную в защите Родины и жизни придала книге про бойца эпическую мощь.

А вот в дальнейшем, особенно после 1956 года, тепловатый либерализм ослабил главное в Твардовском: его включенность в общенациональную жизнь, его способность жить — нет, не судьбами той или иной хозяйственной проблемы! — судьбами России во всем их масштабе. Робко продвигало его вперед либеральное окружение, смелость не возвышалась над смелостью друзей...

Солженицын не стремится сразу разрушить то вероучение, свод канонических понятий, которым доверял Твардовский. Он вовсе не требует от него задумываться над такими — сногсшибательными для всех шестидесятников — вопросами: «А не был ли вообще весь Октябрь бандитским переворотом Ленина и Троцкого против беззащитной и слабой русской демократии?» Для него такие вопросы, позднее прозвучавшие открыто,— психологическая реальность... В иной форме — «плебейско-пролетарская атака на Временное правительство» — они звучат уже и в трудах современных историков. Автор «Теленка» с привычной ему открытостью замечает, что это рабская смелость, что для 1969 года все это «мало! слабо! робко!» и что «при всех раскинутых лабиринтах дипломатия не знает неба». Не взлетишь высоко на крыльях осмотрительного либерализма...

* * *

На что вообще похож был либерализм времен «оттепели» и застоя? Почему он так бесславно погиб и от атак извне, и от внутренней скудости?

В глазах романного героя-повествователя, познающего и самого себя, как бы витает одна картина. Она же — оценка либерализма. Он был после 1956 года, после развенчания Сталина,— ликбез либералов. Как ручей, он способен был растекаться по плоскости, увеличивать длину ленты обличений Сталина, образовывать зеркала прозрачной воды. Но никогда не суждено ему обрести глубины! Он так и останется вечным ликбезом для простаков. Больше того. Приглядываясь к «теоретизмам», выдвигаемым, скажем, Р. Медведевым, человеком, близким Твардовскому, Солженицын мог видеть, что всякая глубина вообще была запретной. Сколько угодно критикуй Сталина, но не трогай передовое вероучение, не ставь вопроса о том, «хороши ли наши принципы». Едва Солженицын сказал об утопизме лукавых обещаний Октября, соблазне рая уравниловки, лозунга «грабь награбленное», даровой земли (отобранной в 1929 году) как о своеобразной «наживке» большевиков, средстве уловления люмпенских и простецких душ, как сразу встретил типичный отпор шестидесятника. Р. Медведев как серьезный историк честно процитировал его оценку 1937 года как заметание следов, сокрытия наживки: «Может быть, 37-й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит все их Мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни». Но тут же пресек всякое «дальше», загнал мысль в либеральный букварь: «Речь идет, как можно понять, о марксизме. Но Солженицын не прав. Не марксизм породил извращения сталинизма, и преодоление сталинизма вовсе не будет означать крушения марксизма и научного социализма».

Раковина улитки захлопывалась... Солженицын — пламенная душа — пробует доказать либералу 60-х годов, что тот противоречит себе на каждом шагу. То выдвигаются версии одна страшнее другой — о крайней духовной примитивности Сталина, конечно, бесспорного параноика, по свидетельству врача Бехтерева, антихриста, подделывателя бюллетеней на XVII съезде и т. п. Число таких картинок в букваре, иллюстраций догмы, росло, они становились все цветистей, живописней. А мысль не двигалась никуда. То вдруг начиналась полоса невольных возвеличений «кремлевского горца». Он — создатель учения, перестроившего, исказившего даже такие грандиозные, всесильные, потому что верные, системы, как «марксизм» и «ленинизм»! Солженицын, вероятно, не был никем услышан, когда пробовал убеждать: «...изучение нашей новейшей истории показывает, что никакого сталинизма (ни — учения, ни — направленья жизни, ни — государственной системы) не было... Сталин был вер-

ный ленинец и никогда ни в чем существенном от Ленина не отступал... Разве только в одном Сталин явно отступил от Ленина (но повторяя общий закон всех революций): в расправе над собственной партией, начиная с 1924 года и возвышаясь к 1937...»

Солженицын пробует вернуть мысль Твардовского к «Вехам», грозно предупредившим Россию о грозящей катастрофе, но вновь натыкается на обращение к «чистому марксизму-ленинизму» и к легковатому атеизму:

«— Я зна-аю,— возбуждался он к спору и раскуривался,— вы ж — за церковки! за старину!.. (Да не плохо бы и крестьянскому поэту тоже...). То-то они вас не атакуют...»

* * *

Многие откровения Солженицына, и прежде всего открытия в сфере русской религиозной истории, его раздумья об идее покаяния, о вине ордена либеральной интеллигенции с ее этикой нигилизма, непризнанием абсолютных, вечных ценностей, были новостью для Твардовского.

Русский писатель послеоктябрьской эпохи был грубо отключен от такой стихии общенациональной жизни, как высшие религиозные верования народа. Где у Михаила Шолохова или писателей-деревенщиков, у Исаковского или Прокофьева христианские мотивы? Павел Васильев — вроде бы плоть от плоти семиреченского казачества,— с пафосом восклицал:

Не хочу резным иконостасом
По кулацким горницам стоять!

Многие из народных поэтов Украины или Белоруссии еще более насмешливо отнеслись бы, чем Твардовский, к «церковкам и свечкам». Все стали марксистами... без Маркса, все опирались в поисках социального оптимизма на механико-рационалистическую теорию счастья! Попробуй скажи кому-либо, что «хлеб поедается, а дух остается», что под сенью кроткого, мудрого, любвеобильного Христа есть место и искусству, и науке, всему, что не рождает ненависть.

Солженицын, пожалуй, даже больше уважал Твардовского, осторожно «поднимавшего потолок», не хватавшегося за свечки и крестики, как новоявленные спекулянты-богоискатели. Может быть, прямым следствием общения с Солженицыным был замечательный цикл стихов поэта в № 9 за 1965 год, среди которых были три покаянных стихотворения: «Прощаемся мы с матерями», «В краю, куда их вывезли гуртом» и «Ты откуда эту песню, мать, на старость запасла?».

Это запоздалое возвращение в крестьянский космос, последнее «прости» страдальческой красоте матерей. Они и на старость запасли песни, которые спасают очнувшихся сыновей.

До солженицынских или шаламовских морозов, несущих запредельную боль и страх, морозов, вспоминающихся затем при любой температуре, Твардовский, конечно, не доходит. Но пронзительнейшие детали этих ссылок, перевозов своих же родителей в Сибирь вдруг воскресли в этом цикле.

* * *

Подобные штрихи предвещали нового Твардовского, сближали его с «горящей памятью и сердечной болью» Солженицына. Подчеркивая хорошее в «Новом мире», в самом Твардовском, Солженицын непрерывно, на глазах читателя, осознает: «Однако существовал и другой масштаб: каким этот журнал должен был бы стать, чтобы в нем литература наша поднялась с колен».

Для него, уже прожившего мысленно «ГУЛАГ», ясно видевшего — после «Круга» и «Красного колеса» — космическую катастрофу России (а не одни «искривления» вероучения!), становилось особенно очевидно оскопляющее, пригибающее воздействие того же комплекса шестидесятничества на Твардовского.

Главные герои «Теленка» — натуры, готовые к спору, «спороспособные», наследники интеллигентского подвижничества мысли, по-своему максималисты. Твардовский не видел своей судьбы... вне Октября! И едва ли его утешало заверение Солженицына, что и без него он был бы — не меньше Кольцова и Некрасова! Кстати говоря, сколько «кухарок» разного пола, продвинутых к управлению государством, наученных, «во как писать», еще безответственней командовать, говорили так же: «Не будь революции... я был бы пастухом, кочегаром, простым рабочим!»

И мало кого смущала странная подробность: если весь народ якобы был за Октябрь, то почему не кучка помещиков, буржуев-капиталистов, царских чиновников, генералов старого пошиба оказалась врагом всенародной якобы революции, как предполагалось, а огромная, подавляющая, правда, раздробленная часть населения обширных регионов?

А великий перелом в деревне?

Вспоминается робкое предположение, сразу же отвергнутое, в одном из судьбоносных очерков цикла «Районные будни» В. В. Овечкина: «Ведь не для удобства же хлебозаготовок создавали мы колхозы, а для самого крестьянства?» — так осаживает чиновника-бюрократа положительный

партиец-прогрессист, тоже шестидесятник. Твардовский целиком разделял эту точку зрения. Солженицын, вероятно, мог бы саркастически рассмеяться над такой доверчивостью: «Да именно для удобства, для легкости, полной «добровольности» поборов, для камуфляжа насилия, для монолитности государства и единообразия плановых начал и создавались сплошные колхозы! «Первый хлеб — государству!» — так звучали плакаты на обозах с мешками.— «И последний!» — глухо, в сторону глядя, порой добавляли мрачные обозные».

Что, собственно, должен был искривлять, искажать Сталин?

Работая над «Красным колесом», где на улицы Петрограда, в сферу политики и культуры вторгаются неискушенные человеческие массы-толпы, где начинали активно действовать законы количества, а не качества, упрощения, а не цветущей сложности, безбожия, а не христианской веры, Солженицын куда яснее, чем Твардовский, видел расчетливый мифологизм, лукавый утопизм многих положений «Учения» о поведении народа в революцию. Шестидесятники по-прежнему исходили из представления, что «революция — праздник угнетенных и эксплуатируемых». А культ насилия, даже «романтика расстрелов» необходимы, ибо никак иначе трудовой класс, народ (социологические абстракции!) «не отчистятся от рабских привычек», от скверны приниженности и законопослушности.

Откуда бралась такая воля к идеализации толпы, к диктатуре безликой массы над личностью? В силу все того же стремления фальсифицировать историю, выдать явное насилие узкой группы, «ордена меченосцев», за самодовлеющий, природный процесс. В действительности политизированная толпа — это концентрированное воплощение антиприродного безумия, чудовищно низкой культуры. В ней живет триединый инстинкт: самосохранения — самовозобновления — самовозрастания. Как только ослабевает любая сторона этой триады, толпу захватывает стихия распада, убывания, иссякания. Солженицын видел перед собой такие толпы в Петрограде 1917 года — они поглощали зевак, гнали с собой колеблющихся, стремились освободить уголовников («эти-то наверняка будут с нами»!). В революциях как варварских формах прогресса всегда всплывают вверх люмпены, духовно скудные существа и группы. И даже светлые идеи получали среди всплывшей грязи уродливейшие лжевоплощения!

Солженицын мог бы напомнить устойчивой команде шестидесятников, окружавшей Твардовского, мучительные

мысли К. Н. Леонтьева: «Прогресс не всегда был освобождающий, а бывал разный...» Или прочитать нечто, подобное глубокой догадке философа В. Н. Ильина о скрытой антихристианской задаче революций: «Так как подлинная культура стремится к христианству и увенчивается им, то задача революции может быть определена как снятие крещения, раскрещения и новое крещение огнем адским».

Вот тебе и отчищение в пламени революции, и праздник рождения нового человека! Нового — да, но какого? И почему это новое начинается с крайнего безбожия, кощунства?

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ...

Есть шутливая формула непокорства, несогласия с обстоятельствами: «Бытие пусть себе определяет сознание, но сознание не согласно...»

Завершение «Теленка» в известной степени... писалось уже не одним Солженицыным! Он лишь предполагал, не всеми возможностями располагая. Поворот сюжета мог быть написан для него, но без него. Варианты его — арест, лагерь, «авария на шоссе», выдворение — из той же стихии управляемого «литпроцесса». Но сознание было «не согласно» с предписанным, с уже нависшими после «Нобелианы» угрозами.

Читатель «Теленка», вероятно, не заметил, что, чем ближе финал в этом романе страстей, тем ощутимее насмешливо-счастливое состояние, «радость битвы».

Это горькое счастье самореализации, исполнения задачи. Роман пишется самой жизнью, пишется... даже героями прежних книг. Если он будет оборван внешними силами, то и это будет завершением. Немой набат истории прозвучал, крики и стоны мучеников ГУЛАГа уже не отнес в сторону некий мусорный ветер.

«Теленок» лишь в самом начале напоминает импровизацию судьбы. Причем любое вмешательство внешних сил (арест, гибель автора) не остановит, не зачеркнет уже книгу, а допишет ее.

Окружающий Солженицына мир еще тонул в фарисействе. Как «дубовом», так и «либеральном». Сшибка холодных и теплых ветров создавала туман. Духовно обезглавленная система металась между тупой самоуверенностью и ознобом страха, она не двигалась никуда, но и не падала. Либерализм, к ужасу Солженицына, вдруг обнаруживал в себе странные начала русофобии, он тоже явно не желал двигаться «за пределы»...

«Теленок» — это не мемуарное повторение пройденного

на исходе жизни, не опыт создания необычной прозаической формы из собрания пестрых глав, эссеистических исповедей, публицистических «боданий». Это книга середины жизни, не воспоминание, а деяние. Солженицын вообще едва ли способен жить воспоминаниями. Он запечатлел состояние художественного сознания, когда «мелодия становится цветком» (Г. Иванов), когда множество реальных, документированно закрепленных состояний становятся как бы по велению Божию плотью уникального художественного мира. Это новая реальность, конечно, разлагаемая на эпизоды, проверяемая показаниями других летописцев, но уже полной расшифровке не поддающаяся.

В «Теленке» Солженицын не выдумывал конфликты, его влекло предчувствие завтрашнего дня. Может быть, столь же нелегкого дня: ведь либералы, так и не обретя глубины, исторической памяти, России в душе, получат власть, начнут на свой лад обустраивать Россию. Этот процесс еще не имеет конца. И если Солженицын скажет: «Слишком много захотел я от Твардовского», то надо помнить, что от себя он захотел... еще больше!

Эта величайшая требовательность, которой не выдержали либеральные соратники Твардовского, ортодоксы плановой оппозиции, рождена редкой проницательностью художника. Солженицын предвидел духовную ситуацию 90-х годов, грядущее бесплодие как догматиков, лишь исполнявших ритуал борьбы с «антиисторизмом», с буржуазными веяниями, так и авангардистов с их «натужной игрой на пустотах»... Это были оборотни, готовые поочередно «разочароваться» то в капитализме, то в социализме. Иногда сразу — и в том и в другом.

Чем страшны преуспевавшие оборотни, жившие в 60—70-е годы в коре «Дуба», в недрах Передового Учения?

«Оборотень — человек многомерно-артистического сознания... В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир правым глазом, а ныне смотрящего левым, оборотни всегда смотрят на мир с перемигом: левым глазом подмигивают правому, а правым — левому. Двоя своей раскосостью мир, оборотень двоящимся у него перед глазами миром все глубже раздваивает свою душу»,— писал Ф А. Степун («Бывшее и несбывшееся»).

Уйдя от предательского «перемигивания», от привычек к смене литературных масок, Солженицын отстоял себя, продвинулся в будущее, не раздваивая свою душу.

ГРЕХОПАДЕНИЕ РОССИИ

(«Красное колесо» как самопознание и суд русской истории)

«Факты сами по себе глухи и немы. Факты **непонятые** даже не суть история История всегда есть история понятых или понимаемых фактов».

Л. Ф. Лосев. «Диалектика мифа», 1930

«Всегда было моей задачей — вертикаль дать всю, по возможности дать всю вертикаль, как только можно. Без участия масс и низов нет истории, нет исторического повествования».

А. И. Солженицын. Интервью журналу «Вестник русского христианского движения», 1984

ВСЕВЕДЕНИЕ ПРОРОКА

Стало расхожим обесцвеченным приемом называть историка «пророком, предсказывающим назад». Он, мол, не описывает историю ради истории, даже любовно коллекционируя чистые факты, документы, избегая всякого проецирования своих пристрастий к идолам, авторитетам, героям. И для историка всегда есть некоторый простор между реализованными возможностями, собственно фактами. И в «каменном русле» истории можно находить нереализованные, альтернативные варианты, побежденные возможности, не набравшие «очков», не воплотившиеся в факты, но от этого вовсе не исчезнувшие из реальности. «Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой, высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории»,— замечал русский историк М. П. Погодин.

Когда же в сферу истории вторгается художник, идущий то среди «нитей биографий», то по «каменному руслу» как бы второй раз, вслед за историком (и даже не одним), он уже не предсказывает прошлое, не наряжает в исторические костюмы некие восковые фигурки, не наполняет выдохшийся флакон. «Художник, воссоздающий прошлое второй раз, **вводит в него более высокую свободу,**— сказал в одной из лекций Ю. Лотман.— Вот, пожалуй, основная функция

искусства. Она позволяет **проиграть те вероятности**, которые жизнь не проиграла... Жизнь всегда реализует одну возможность, отсекая остальные. И это не позволяет раскрыться сущности явления. Но тут есть еще одна особенность. Жизнь ведь тоже все время переживает свои непредсказуемости... Сейчас — момент резкого увеличения непредсказуемости! **И вместе с тем это есть увеличение информативности**» (выделено нами.— *В. Ч.*).

«Красное колесо» для Солженицына — это его способ внести обретенную свободу в застылую, закаменевшую в фальсификациях историю России. Писатель бросил вызов: история принадлежит не одним победителям 1917 года, она принадлежит и заблудившимся, вдохновенным слепцам, и явным жертвам этой победы!

Писатель понимал, что высокая степень свободы резко увеличивается, когда художник обращается к взрывным эпохам. Что может быть более непредсказуемым, даже иррациональным — при всей длине бикфордова шнура! — чем исторический взрыв и та «линия» между прошедшим и наступившим, которую взрыв прочерчивает? Взрыв никогда не имеет протяженного настоящего. Кстати, «все взрывные эпохи в исторических документах описываются ретроспективно»,— добавил тот же Ю. Лотман. Значит, резко возрастает и ответственность художника, пророка.

Как далась самому автору его свобода и пророческое «ясновидение?»

Александр Солженицын в ходе работы над «Красным колесом», имеющим подзаголовок «Повествованье в отмеренных сроках», пережил, вероятно, очень сложный процесс восхождения от частичной, неполной свободы, зависимой от историков, до самой высокой свободы понимания всех, реализованных и нереализованных, возможностей событий, ситуаций, характеров. Он не просто заменил «евангелие по Бухарину, Троцкому или Сталину» на «евангелие по Милюкову, Керенскому или Шульгину».

Он пережил, на наш взгляд, состояния, когда документы диктовали ему свою волю, когда ему тесно было в прорубленном каменном русле свершившегося. И состояния, когда он вдруг обретал редкую свободу даже в обращении с реальными персонажами, прежде всего в истолковании их психологии и поступков.

Приглашая читателя к неспешному чтению «Красного колеса» — этой панорамы взвихренной Руси,— обращаем внимание на ключевую особенность ее историзма. После «Августа Четырнадцатого», «Октября Шестнадцатого», где много вымышленных героев, начнется резкое уменьшение

роли этих вымышленных персонажей, обрывание нитей биографий, выжигание частной жизни вихрем событий. Документы засыпают сюжетное русло. Солженицын объяснит это так: «А роль Воротынцева (главного героя.— *В. Ч.*), общественная роль его, если считать военную тоже, от «Августа» к «Октябрю» уже упала. А дальше от «Октября» к «Марту» («Марту Семнадцатого».— *В. Ч.*) еще упадет, потому что это был... тот вихрь событий, в который нельзя было включить придуманного героя, ему нечего там делать, придуманному герою, он тогда должен поворачивать события».

Но именно в тот миг, когда поворачивать маховик «красного колеса» станут только те, кто уже однажды — наивно, слепо, бездарно! — его поворачивал в реальной истории, и возникает наибольшая свобода и точность, полнейшая раскованность всех якобы несочиненных персонажей. Они не сочинены как министры, комиссары, адъютанты, газетные лицедеи, но они прекрасно домышлены, сочинены, интерпретированы как люди, как вдохновенные импровизаторы своих судеб. Они оказались психологически часто ярче — даже в пределах микросценок, кадров,— чем до этого персонажи сочиненные.

Подобная эволюция вполне естественна. Ведь впервые замысел этой главной книги писателя овладел ее автором еще в 1936 году, в 18 лет, когда он обратил внимание только на катастрофу армии Самсонова в 1914 году, когда понял, что «без первой мировой войны нельзя никак объяснить нашу революцию». Второй этап обретения «высокой свободы» интерпретатора и истолкователя исторических событий и характеров — начало 1969 года, когда для Солженицына позади был и фронт, и лагерь, и опыт «боданий с дубом» и с тепловатой либеральной ограниченностью шестидесятников. Тогда, уже из опыта романа «В круге первом», родился и «метод узлов», поиск «точек изломов», позволяющих добиваться «временного сжатия», тонкого раскрытия «драматургии» факта и документа.

В дальнейшем, после завершения «ГУЛАГа», когда масштабы русской Голгофы, новейшего русского Горя, предстали невообразимо грандиозными, не укладывающимися в рамки пресловутых «искривлений курса», «нарушений законности» и т. п., исследование грехопадения России, роковых заблуждений ее интеллигенции и народа приобрело колорит пророческой скорби, вселенского урока... Это уже не роман, а книга судеб... И создатель «Красного колеса» постепенно стал представать пророком в истинном его смысле — «предсказывающим вперед»...

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ РЕШЕТКИ ГУЛАГа...

...Грехопадение России в феврале 1917 года, ее вступление в дурной лабиринт эксперимента, неизбежность катастроф, в которых все повинны,— это столь очевидные истины для Солженицына, что он их... не доказывает. Доказательства — в «Архипелаге ГУЛАГ»! Из этой аксиомы грехопадения, катастрофы — причем именно в феврале, а не в дни «октябрьского переворота» — он выводит и математическую форму «узлов», «повествования в отмеренных сроках», романа-хроники «Красное колесо». «Узел» и стал перепутьем множества жанров, приемов, как литературных, так и внелитературных, вплоть до «киноглаза», открытого Д. Вертовым. Он пишет в романе: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была **грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки»**[1] (здесь и далее выделено мной.— *В. Ч.)*.

Бесспорно, уже в этом замечании — история, дескать, мой соавтор, ее «случайности» и изломы стали формообразующим и даже стилеобразующим фактором! — есть острый привкус общего пророческого самовозвеличения. Но оно стало проходным, «рабочим» моментом. И цель его, конечно, совсем другая, чем у «певцов революции», скованных присягой неправды.

Солженицын при всем изобилии гипербол гнева или молитвенного преклонения (перед тем же П. А. Столыпиным) прекрасно понимает: не в плоскости словесного мазка, приема, сказа или эпатирующей манеры повествования, искусства монтажа кадров или «разгона» потока сознания лежит действительная адекватность, равновеликость исторического события и Слова. Зона формирования легенд, облако лжи и зона правды весьма часто соседствуют. Известный историк М. Блок иронически заметил, что у химии есть преимущество перед исторической наукой: «...она имела дело с

[1] Но перекличку мотивов все же отметим. Порой и разрушая, мы также «служим Богу, как наши предки верою своей» История — прямой соавтор?! С кем связывает А. И. Солженицына это притязание? Со столь нелюбимым им Маяковским, писавшим о диалектике революции («бряцанием боев она врывалась в стих») С Серафимовичем, автором «Железного потока», тоже считавшим, что лава революции прямо ворвалась в его роман и сотворила его форму, железный язык. Артем Веселый, «дикое перо революции», певец ее стихий, искренне считал, что «Россия, кровью умытая», ее «залпы», «волны» вместо глав, рубленый язык романа, фразы, как пулеметные ленты,— это и есть эквивалент динамики революции.

реальностями, которые по природе своей неспособны сами себя называть». А история? «История большей частью получает собственный словарь от самого предмета своих занятий. Она берет его, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением, а вдобавок уже с самого начала двусмыслен».

Еще больше бывает истрепан, двусмыслен и слой литературных фактов, определений, «истин». Можно весьма «правдоподобно» и «жизнеподобно» изображать так и не понятый мир (или навязанную версию «понимания»), но можно имитировать псевдопонимание его «тайн» и с помощью «непохожей» игры символов, значений, сумятицы подсознания. Как сказал один исследователь, «в обоих случаях мы видим мертвое, только смерть подбиралась с разных сторон».

Александр Солженицын мучительно жаждет одного: изгнать эту «смерть» — непонимания родной истории, невежества, беспамятства, грозящего угасанием памяти всей нации в том утопическом казарменном муравейнике, все круги ада которого он прошел. Он крушит, не избегая приемов из эстетики популизма, почти необозримый паноптикум идолов, иллюзий, ложных навыков мысли. Ах, вы так верили, со слов Вишневского и Тренева, «в красу и гордость революции», в грубоватый юмор матросов Балтики, тех, что «из Кронштадта»,— так всмотритесь в феномен толпы на февральских улицах Петрограда 1917 года: «Толпа! Странное особое существо, и человеческое и нечеловеческое, вся на ногах и с головами, но где каждая личность освобождена от обычной ответственности, а силой умножена на число толпящихся, однако и обезволена ими же...»

Оставьте представление об истории как зрелище победно-поступательного движения народов к светлому будущему, о неких «закономерностях», да еще познанных! Что вы повторяете банальности о революции как «празднике угнетенных и эксплуатируемых», говорите о распрямлении и очищении человека «в пламени революции» и т. п.? А иначе и негде, мол, очиститься массовому человеку, рабу обстоятельств, игрушке слепых сил, как в вихре вседозволенности. А не становится ли вчерашний раб худшим из деспотов? Вот вам солдат Тимофей Кирпичников, герой «Марта Семнадцатого», эта темная душа, которая радуется в дни Февраля только одному: чем больше крови прольется, чем перемазанней в крови будут все, тем незаметнее будет кровавое пятно на нем самом. Он торопит бурю: «Чтобы не искали виновных — надо завтра же бить и грабить дальше».

Кстати говоря, и энергия говоруна Керенского, пришпо-

рившего события, парившего в потоках «славы», питалась, как заметил Солженицын, страхом расплаты: он почему-то был убежден, что в недрах царской полиции давно зрело уголовное дело на него!

Если справедлива русская пословица «На воре шапка горит», то Солженицын-пророк готов все эти шапки зажечь сам. И на председателе Думы Родзянко, и на лидере кадетов Милюкове, и на генерале Брусилове... Порой кажется, что вся история России в 1914—1917 гг.— это сплошное уголовное преступление. Даже и не раскрытое, тем более не отомщенное и не отмоленное.

Все эпизоды грандиозной тяжбы Солженицына с массой историков, писателей, популяризаторов «согласованных» (с бесчестьем) концепций и версий истории, конечно, не учтешь и сразу не рассмотришь. Солженицын предлагает для начала принять его аксиому, согласиться с той ролью, которую он отводит себе, и с той «смотровой площадкой», которая умножает силу его пророческих прозрений на «страны родной минувшую судьбу».

Прежде всего он просит согласиться с его правом на резкую, непривычную субъективность, правом плыть против всех течений, начисто игнорируя их. В его романе «В круге первом» один из заключенных говорит Глебу Нержину, второму «я» Солженицына, занятому и в тюрьме работой над историей русской Смуты XX века:

«Ты пойми: мысль!! — он вскинул голову и руки.— Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела. И мысль должна быть — **своя!** Мысль, как живое дерево, дает плоды, только если развивается естественно. *А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли!*»

«Пророческий историзм» — конечно, это условный термин — имеет, как мы увидим, почти неизбежное, встроенное в него противоречие. Отдавая во всем приоритет именно «своей», оригинальной, самобытной, сильной мысли, Солженицын будет часто ставить знак равенства между «своим» и «истинным» и, наоборот, «чужим» и «неистинным». Он в известном смысле — и это, повторяем, глубочайшее противоречие «Красного колеса»! — будет исключительно чутко слышать свою сильную мысль, зорко видеть свою реконструкцию истории. А вот чужие книги и мнения он порой слышит, но... как-то слишком суммарно, неохотно, как некий гул, грозящий заглушить чистоту его «мелодии». Он словно боится сомнений, чужой музыки и... берет всегда октавой выше, почти кричит. Он вообще пишет свои письмена... более крупным шрифтом. Ему, например, хочется подчерк-

нуть «недостаточное», пошлое поведение казаков в Петрограде в феврале 1917 года (они даже стреляли в полицию, заигрывали с толпой!), и возникает несколько «экранов», своего рода кинокадров митинга:

«...полусотня казаков.
Чуть избоку на конях, снисходительно. Щеголи.
Так получилось — они тоже вроде на нашем митинге.
С нами!!
— Братьям-казакам — спасибо! Ура-а-а!
— Ура-а-а-а-а!
Ухмыляются казачки, довольны.
А ура — гремит.
А — раскланиваться придумали».

Во всех случаях «экраны», вырезки из газет — это просто огромные картонные щиты с публицистическим текстом и подтекстом.

Наиболее наглядно эта страстная субъективность проявляется в эпизоде из «Августа Четырнадцатого», когда автор вводит один из «экранов». На нем возникает своеобразный «видеоряд»: прусский генерал Франсуа, толпы пленных русских солдат армии генерала Самсонова и... крупная словесная ремарка:

«Новинка! как содержать столько людей! в голом поле и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?
Новинка! Кон-цен-тра-ционный лагерь!
Судьба десятилетий!
Провозвестник Двадцатого века!»

О таком газетном слове, конечно, не скажешь: «И стало то Слово плотью и осталось с нами».

И второе условие, вернее, атрибут и предпосылка пророческого историзма Солженицына, позволяющее органически связать историософию «Красного колеса» и христианские мотивы «Архипелага ГУЛАГ»,— это нравственная позиция его, смотровая площадка для обозрения эпохи грехопадения, смуты и разврата. Неправда о прошлом, волны фальсификаций в яростном сознании Солженицына встречают такой протест, что кажется: он борется с ними как с бесами! Гонишь их в дверь, они лезут в окно, в печную трубу. Выгнать их — и Солженицын, воин Божий, в это верит — конечно, можно: надо мобилизовать бесчисленное множество неизвестных документов, откровений участников событий, изучив варианты судеб, скажем, реальных П. Н. Милюкова или рабочего Козьмы Гвоздева и вымышленных, «играющих героев» — полковника Воротынцева и солдата Благодарева, введя монтажи из сводок, газетных статей, писем.

Но это еще не все: археолог истории может утонуть в

пыли, «разбрестись» мыслью в деталях. Да и всему ли можно верить даже в воспоминаниях очевидцев? Как верить тому же А. Ф. Керенскому, если даже молодое поколение русских эмигрантов в Париже (например, В. Яновский) воспринимало его как актера, вдохновляемого чужим текстом и аплодисментами, и недоумевало: «...стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда, и не на большой глубине... Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую и мужицкую Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи».

Важна совсем иная «догадливость», своего рода луч рентгена, чтобы оценить и документы, и мемуары. Важно совсем другое, увы, не «случившееся» с Толстым к большому ущербу для его таланта,— тюрьма. И не где-нибудь, а в отвоеванной у царизма — этими же либералами — России.

...В некую минуту тишины, когда зеркало души не замутнено яростью, главный герой того же романа «В круге первом» тихо, почти вполголоса объясняет свою претензию именно на тюремную камеру или лагерный барак:

«Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?

Или где лучше узнать людей, чем здесь?

И самого себя?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы?»

В другом случае Солженицын обосновывает свое место лагерного летописца Смутного времени на особом, библейском языке. Он возводит в особый принцип «ситуацию ковчега». Вернее, потопа и ковчега праотца нашего Ноя.

Что означает этот «принцип ковчега» для «Красного колеса»? Он неожидан для Солженицына, пребывающего в броне своей математической методологии...

Татьяна Лопухина-Родзянко при анализе романа «В круге первом» отметила: «Солженицын ввел ветхозаветный ковчег как образ спасения... Там тюрьма — спасительный ковчег; вселенная за пределами ее — губительный потоп, историческое течение XX века...» Собственно, и «Раковый корпус», тот тринадцатый корпус, где люди сгружены на прием к смерти,— тоже странный ковчег. А может быть, лодка Харона? Парадоксально, но общая, аналогичная судьба сблизила даже этих смертельно больных людей, вывела их на путь осознания именно вечных ценностей, прежде всего жизни! И они плывут в «ковчеге» спасения»!.. На

грани небытия они постигают (и спасают для себя, для других!) истинные, а не мнимые ценности бытия.

Собственно, и «Красное колесо» — публицистическое летописание потопа, русской Смуты XX века — родилось благодаря «тюрьме-ковчегу»: «Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне...»

Есть еще и третий, на мой взгляд, самый скромный, даже стыдливый принцип реконструкции истории, который утешает все поколения русской эмиграции. Псевдонаучному, а по существу циничному взгляду на историю, особенно минувшие «узлы» ее,— «история принадлежит победителям» — Солженицын противопоставляет свой взгляд: «победителям» принадлежит (принадлежало?) лишь право фальсифицировать, «оптимизировать» на свой лад историю. Подлинная история, включающая даже альтернативные пути, нереализованные «возможности» исторического процесса, отмененные очередным матросом Железняком, принадлежат в большей мере побежденным, без игры проигравшим. Узникам ГУЛАГа история тоже принадлежит. Для них она приоткрывается в большей мере; она для них полнее, сокровеннее, ибо только в них, как заметила Дора Штурман, одна из самых серьезных исследовательниц публицистики Солженицына, ожил комплекс исторического греха, «комплекс вины, когда-то бросивший российскую интеллигенцию сквозь огонь революции во мрак тотала». А потому — все же не смейтесь над их воспоминаниями, мечтами, тоской!

* * *

Роман «Август Четырнадцатого» — и прежде всего описание военной и нравственной катастрофы армии Самсонова в Восточной Пруссии на первом этапе мировой войны 1914—1918 гг.— сразу же заставляет вспомнить о толстовской традиции. Об изломанной истории России Солженицын в силу многих причин — и прежде всего в силу долга перед семейным преданием об отце, участнике похода Самсонова — начал говорить предельно неизломанно.

Кстати говоря, Лев Толстой промелькнет в «Августе...»: к нему, гулявшему в Козловой Засеке, переходя в аллее из густой утренней тени в солнечный свет («и тогда голова его в обхвате парусинового картуза вспыхивала, как нимбом»), обратится юный Саня Лаженицын (отец писателя) с мучительным сомнением растерянного неофита. Сомнение это и для автора, погрузившегося в поиски спасительной

«средней линии» в мире, окажется весьма актуальным:

«— Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? ...ведь тогда ваше учение окажется... без...— не мог договорить... Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием — и сперва на нем пробудить людей ко всеобщему благородству? А потом уже — на любви?»

Преждевременное — все безответственное, утопичное, рожденное амбициями тщеславия или великой провокацией. Всего **этого** — в воздухе эпохи, в России начала века с избытком. И тревога самого автора уже проступает здесь. Он видит: много заготовила русская культура нравственных абсолютов, проповедей, истин о красоте, которая спасет мир, о царстве Божием внутри нас. Много занесено в нее соблазняющих утопий и вирусов казарменного рая. А реальное зло не хочет знать истин, любви, оно клыками рвет их, оно «расстреливает» все стыдливое тысячами газетных статей.

Но это «всеведенье пророка», как и судное слово его в «Августе...»,— еще в подтексте. Фактически «Август Четырнадцатого» в наименьшей мере заражен и проповедничеством, и «рассудительством». Он сохраняет известный паритет между документами, вычислениями и характерами, между публицистическими выкладками (почти завалами на дороге) и движением сюжета, энергией частных судеб.

Историк Марк Блок заметил, что «наше восприятие, как и наша цивилизация, пропитано математикой». В том числе и восприятие истории математиком Солженицыным: он создал свой метод «узлов», исследования точек пересечения кривых, концентрации событий. Ему нужен тип полифоничного романа, в котором главным героем делается **любой персонаж**, «нужный» истории в данный момент.

Забегая вперед, скажем, что этот паритет «числа» и характера, документа со статистической сводкой и домысла будет затем разрушаться. Причем осознанно и целеустремленно. «Колесо» покатится стремительно, и в мелькающие спицы превратятся числа и лица, исторические характеры и внеисторичные переживания влюбленных. Событием станет сам «разорванный движением» воздух. И испуганный пешеход на дороге Руси-тройки! Так «узел третий, или, говоря иначе, книга «Март Семнадцатого» — со стремительным переносом действия из Ставки в Могилеве, где Николай II отрешенно смотрит «на свое отречение, как из засады», на набережную в Гельсингфорсе, где идет во главе

якобы братьев-матросов либеральный адмирал Непенин, чтобы в спину получить пулю от этого же «святого народа»,— превращается в огромный театр обреченных, в парад тщеславных смертников. Вот-вот будет срезан весь верхний слой русской культуры, но именно здесь ключом бьет энергия заблуждения, бессознательного самоуничтожения. Все хотят, чтобы их «впитали», вознесли события! И все вдохновенно бегут, валом валят — даже яростно сражаясь сейчас друг с другом, как большевик Санька Шляпников и Козьма Гвоздев, подручный Гучкова,— в широченные мирообъемлющие ворота будущего ГУЛАГа. Бегут или скатываются в него, как в черную дыру, по страшному скату, фатальному наклону истории. История как будто мстит им же — откатами, явными насмешками — за чересчур ретивое подталкивание, за бурную, запойную энергию преобразователей.

Поскольку всякие познанные «железные закономерности» истории — вроде смены отсталого капитализма социализмом, вроде неизбежного обретения бездомным призраком коммунизма, досель «скитавшимся по Европе», дома в России и т. п.— Солженицын начисто отрицает, резко усиливаются мотивы роковой иррациональности истории, звучат темы водоворотов и явных «ям» в истории, явления зловещего тумана или огня на путях России. Тут Солженицын входит в область картинных полунамеков, полуобъяснений, в царство мучительных символов. Герои «Красного колеса» все чаще из действующих превращаются... в «говорящих».

Никто не ищет противоречий и провалов намеренно. Видимо, Солженицын и сам был изумлен, войдя в материал удивительной, внешне наглядной, но и загадочной ловушки истории, уловившей самые светлые умы, изумлен гримасой судьбы[1]. Воля к грядущему банкротству, предельным воплощением которого в итоге станут скамья подсудимого для эсеров и меньшевиков в 1922—1925 годы, для ленинской гвардии в 1937 году, бессудная расправа в 1918 году

---

[1] Да разве не в категориях «черного тумана», «огня», «ветра», «потопа» и т. п. мыслили об этом обвале, скате, ловушке истории многие поэты и философы? Вот два образа-намека:

Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба.
В этом ветре — вся судьба России:
Страшная, безумная судьба...
Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы Революции — в царях...

(М. Волошин. «Северо-восток»)

или гуманное изгнание «людей мысли» в 1922 году, уже в 1917 году как будто овладела всеми. Все берут исторические места почти с криком, нахрапом,— скажем, тот же эсер Масловский, требующий перевести арестованного царя из Царского Села в Петропавловку, или Керенский, выжимающий нужные ему эмоции из толпы,— и всех уже ждет банкротство. И еще какое! Сетует генерал Рузский, что солдаты не шибко ценят его тайную заслугу — грубое принуждение царя к отречению... Они «оценят» ее в 1918 году: генерал будет зверски убит в Кисловодске, где проходил курс лечения...

Знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» может в известном смысле считаться... грандиозным эпилогом «Красного колеса». Это так, если целиком оставаться в мире исторических координат, плыть среди маяков Солженицына. И Ленин, чья ненависть к либералам, к болтунам всех мастей, от Керенского до Милюкова, пожалуй, равна только сарказму в их адрес самого Солженицына,— в итоге к 1921 году стал таким же пленником свободы, жертвой им же развязанной катастрофы. «Разогнать локомотив (революцию) и удержать на рельсах»,— мечтал он... Разогнал, но не удержал... история под колеса подложила совсем другие, страшные «рельсы»!

ПРИРОДА КАК «УПРЕК» И ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСТОРИИ

В «Августе Четырнадцатого» герои еще в очень малой степени «отемнены», говоря на языке Солженицына, предвидимым будущим. Их не накрывает тень обреченности,

Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам...

И трагическое всеведенье, знание конца героев автором еще не обесцвечивает бессознательного оптимизма, философии надежды в героях.

Солженицын, конечно, верен своему исходному принципу об изломанности русской истории и в «Августе...»: да, уже и в 1914 году история России сильно покалечена, «изнурена». Скажем, двумя проигранными войнами (Крымской и русско-японской 1905 года). Но живо было и «неизломанное» начало, альтернативное грядущему ГУЛАГу. Никто еще добровольно не налаживает собственный апокалипсис! Еще есть надежда, что «судьба-бабушка» во всем «надвое сказала»: и в канун Февраля даже Ленин в Швейцарии подумывает перебраться... в Америку, оставив навсегда «рогожную страну» Россию!

Солженицын — как бы на стыке альтернатив, на развилке путей, на суде истории. «И я,— как бы говорит автор,— берусь быть арбитром, попробую, используя скрытые ото всех документы, приемы кинохроники, научного исследования, опыт интерпретаций исторических событий через культуру, дать свою реконструкцию эпохи. И пусть это будет как бы самопознание истории».

Кто же в наименьшей мере «изломан» в России 1914 года? Еще предстоит появление неизломанного Столыпина, Гучкова или генерала Гурко. Еще ждут своей очереди перед сценой чудесные русские солдаты Дорогобужского полка, которые не дрогнули, когда и им остался «против немецкой артиллерии — русский штык», которые «не разбежались, не схитрили, не уклонились, но силой неведомой перешли ту грань, до которой любишь себя и родных». Они трижды шли в беззвучной атаке на огонь... Где-то в 1914 году маячат, конечно, и унылые питерские министры, по сути, «антрепренеры старца» (т. е. Распутина), уже мечется «избыточно-лишним, никуда не пристроясь», Гучков. Самые мудрые военные, вроде генерала Головина, обосновывают необходимость завоевания Босфора, реализации «балканской мечты» — «Россия — заколоченный дом, куда можно проникнуть только через дымовую трубу»! — и тут же отправляются в отставку... Сбои, провалы, трещины. Но и запас прочности еще велик. Уже на первой странице «Августа...» является Саня Лаженицын, живущий естественной, бессознательной историчностью бытия (как и солдаты-дорогобужцы). По родной и для Солженицына степи, где-то между Кисловодском и Минеральными Водами, он едет в действующую армию, едет добровольно, как бы следуя «становой народной вере». И долго провожает его Кавказский хребет: «Высился он такой большой в мире *малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных...* Пухлыми грудами складывай все сработанное или задуманное,— не поставили бы *такого сверхмыслимого* Хребта».

Впоследствии Солженицын будет с гордостью вспоминать, что и после «похабного» Брестского мира (1918), когда русская армия была буквально разложена дезертирством, митингованием, когда «была оскалена только дикая морда революции», батарея его отца Исаакия Солженицына, вовсе не монархиста, не дикого консерватора, все еще надежно держала свой участок фронта.

Заметим, что этот бессознательно, «внеисторично» живущий Хребет с некоторой настойчивостью тоже вводится в... персонажи истории. И даже в ее наставники! Как представитель некоей природной самоорганизующейся Си-

стемы... Вот такой бы, еще не искореженной, не сплющенной катками партийных программ, вихрями листовок, одушевлением ненависти и тщеславия должна была быть и история! Ворота в небо еще открыты... Хребет — это, может быть, единственная нерукотворная и сверхмыслимая реальность среди всего сделанного, искусственного, «теоретичного» в остальном мире.

Весьма знаменательно, что и воплощение народной правды, здравого смысла, своего рода Иван Денисович из 1914—1921 гг. солдат-тамбовец Арсений Благодарев в «Красном колесе» поразит полковника Воротынцева своей природностью, полной «внеисторичностью». Он во всем «пред» и «до»: «Простота держаться была у этого солдата *дослужебная, дочиновная, досословная, догосударственная,* невежественно-природная простота».

Другие «до», перебрав болтливых «гениев» Февраля — скажем, «домилюковская», «докеренская», «долуначарская»,— легко добавить и к Благодареву, и к Воротынцеву. Все болтуны в Думе загрязнены «постсословной», «постчиновной» искусственной сложностью. О дурашливых интеллигентских сытых толпах на Невском, игриво и безрассудно поющих арию большинства в Феврале 1917 года («Хотим хлеба! Долой полицию! Братьям казачкам — спасибо!»), Солженицын и говорить не хочет: все зовут пролетарского Христа, не понимая, что же в итоге их всех ждет!

Можно, бесспорно, и не искать какого-то небытового смысла в Хребте, в этих рациональных «до» («дочиновность») Арсения. В конце концов — просто романтический пейзаж, восходящий к образам Кавказа у Лермонтова, Пушкина, к «Казакам» Л. Н. Толстого? Но когда тот же фронтовик Арсений прибывает в родное село на побывку, то мы вновь узнаем, что «тут все та же была церковь *издетская, своесвойская»,* что и «вся та жизнь военная *не настоящая,* привыкнешь — не замечаешь, а только в свое село воротясь *очнешься».*

Орущие на Невском толпы фактически... «спят», они — объект манипуляций! — во власти утопических грез. Альбер Камю в трактате «Человек бунтующий» заметит, что «судьба утопии... заключается в служении цинизму», в служении наивном или расчетливом. И добавит: «Когда добро и зло внедрены во время и смешаны с событиями, ничто уже не может считаться добрым или злым, но лишь преждевременным или устаревшим. Кому судить о своевременности, как не временщику?»

Может быть, и героев «Красного колеса» можно поделить на временщиков, спящих, хотя и подгоняющих исто-

рию, и зрячих, несущих частицы вечного покоя, очнувшихся, не «поддавшихся лихому наговору» (Волошин)?

Солженицын как раз и хочет внедрить во время и в события абсолюты добра, отделенные от зла, неподсудные временщикам. Как иначе очнуться от утопий, от их соблазняющего цинизма!

Весь роман — воплощенное отвращение Солженицына к искусственным мирам, к миражным митинговым страстям. Самое понимание истории — его «узлы», математически «отмеренные сроки», т. е. скачки, прерывистые отрезки — это отрицание права временщиков лепить некий поступательный процесс. Какая поступательность истории, какой «империализм как высшая стадия капитализма» в мире «сделанных» временщиками массовых порывов, утопического безумия толп! Дай Бог сохранить хотя бы цикличность, хотя бы какие-то абсолюты в природе, в глубине народа, подлежащие только созерцанию, а не «теоретичному» преобразованию! Созерцание — упрек измельчанию, точка отсчета событий, метаморфоз безумной игры «сделанных вещей» и вымышленных людей. Вроде «Передового Учения» и сделанных им людей-органчиков. «Уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нем рубцов и ребер, горных признаков, а казался огромными слитными облаками»,— пишет о Хребте Солженицын. И сразу закрадывается непредвиденная тревога: а было ли на чем стоять этому «абсолюту» чистоты, природности, живущему не по лжи?

* * *

Тревога эта в «Августе...» — как летучие облака в беспредельном небесном просторе — мимолетна. Паритет между «всеведеньем» (знанием истории «с конца», знанием ее финала) и вещим «незнанием», даже бессознательным оптимизмом детей земли позволил Солженицыну в «Августе...» создать захватывающий поединок света и тьмы, добра и зла, внедренного в события, поединок нерукотворного и искусственного, пошлого, насилующего жизнь и «издетского», «досословного».

Почему столь рельефны, как осколки Хребта, скажем, характеры Захара Томчака (деда Солженицына по матери), патриархального степного фермера? Даже в Ростове, в гимназии, куда этот картинный хохол устраивает дочь Ксению, он не говорит, а кричит, «будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот». Он даже плату за обучение дочери Ксении вычисляет перед изумленной хозяйкой гимназии сам: «Скикы платить — я и сам знаю. У вас

быкив нэма, пидсонухив на масло не жмэте и квасоль нэ растэ — на що-то надо дитэй содэржуваты».

Дело, конечно, не в том, что этот герой — дед писателя, что семейные предания ярко осветили его образ. Важнее другое — судьба дорисовала многое. Ведь этого патриарха, не признававшего акций, векселей, державшего весь свой капитал в виде отар овец, амбаров хлеба,— а все это шло в буквальном смысле на содержание народа, России! — спасла трудовая мораль.

Можно представить и другой поток эмоций, рождавшихся в писателе. «Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем регламентированная жизнь Запада»,— скажет Солженицын уже в эмиграции. Так ли это? Именно Захар Томчак — уже в «Октябре Шестнадцатого» — предвидя ужас гражданской войны, всего пролетарско-плебейского переворота, грабиловки, вдруг предлагает чисто христианский проект спасения нравственности в народе, в почти обреченной на ГУЛАГ стране. Он предлагает способ остановки «красного колеса» перед порогом каждой избы. Он говорит другим коммерсантам:

«А може б мы года на два, на три та забулы б зовсим цэ скаженнэе слово — барыш? Як бы зроду мы нэ булы учены, що такэ барыш е? И нэхай у наступный год *бильш будэ от нас утикать ниж прытикать* — абы работа йшла, хлопцы! Абы хлиб взростав и люды його йилы... Ось, як я могу кожный дэнь сала такый шматок зйидать и хлибыну цилую — а могу весь Великий пост майже и нэ йисты нэкого. Живит провалытся, а жив буду... Вот так и мы года два поробым — и уси останэмось на мисци. И земля нас выручэ знов. Бо: *нэ гроши нас нажили, а мы — их*».

Степной политэконом, Адам Смит, говорящий на ставропольско-кубанской «мове», конечно, не был никем понят. Еще казалось, что на «щепке» капитализма можно плыть в будущее. В его, осмеянном тут же, призыве отказаться от святыни, от барышей, пожить, как в пост, в смирении и молитве, конечно, слышен будущий Солженицын, автор трактата «Покаяние и самоограничение». Ему и сейчас чужда назойливая массовая культура, «потребительская идеология, губительная для души человеческой не меньше тоталитарной» (Ю. Кублановский). Жизнь — не тысяча съеденных котлет... Да, над старым Томчаком в 1916 году власть посмеялась. Но пройдет всего десять лет, и кто же «останется на месте» из тех, кто посмеялся над этим провозвестником судьбоносного смирения и классового мира? Смеялись ли они над ним перед своим концом?

ПРУССКИЕ НОЧИ 1914 ГОДА, ИЛИ «МЕЖ ТОБОЙ И МНОЙ — САМСОНОВ»

Страниц, посвященных «миру», а не «войне», в «Августе Четырнадцатого» не столь уж много: по подсчетам Леонида Ржевского, всего 16 главок из 64... Но среди них есть «в виде особого «узла» подробнейшая история главного деятеля неизломанной истории России, тоже останавливавшего своими реформами «красное колесо», Петра Столыпина. Есть и толстовец Саня Лаженицын, и Лика (Ликоня), которую любит как раз яростный ниспровергатель социалист Саша Ленартович. Эта артистичная девушка, маленькая Вера Комиссаржевская, будто сошла с полотен Константина Сомова. Да и весь строй души ее как бы напет Игорем Северяниным. В первых главах «Октября Шестнадцатого» появится Алина Воротынцева, трогательный, почти купринский тип полковой дамы, наивной музыкантши и мещаночки, жаждущей жить «внеисторично», не зная исступленных воплей газет. «Да будьте прокляты ваши железные закономерности,— оставьте мне мои «жалкие» случайности — уюта, семьи, тщеславной веры в свою единственность! Я не хочу «ожелезиться», не хочу быть могучей в толпе. Пусть я буду «слабой» в заурядном, но моем быту!»

В 1917 году все начнут жить с оглядкой на крайность, на угрозу — «как-то рубанут большевики!» В августе 1914-го еще не исчезла цветущая пестрота и сложность. Она не сменилась всеупрощающим страхом, бессилием и жаждой примитива... Хотя эта стабильность и прочность естественной жизни уже отчасти фасадны. Сам царь живет в состоянии странной перегрузки, усталости, тревоги: *«Застигнутый состоянием недоумения, и так и плыл в нем»*.

Центральное событие в художественном пространстве «Августа...» — бесконечные передвижения, бои войск генерала Самсонова возле немецких городков Орлау, Сольдау, Найденбург, Уздау, отходы их через аккуратные просеки в лесах, где даже шишки собраны в кучи. Наконец, драма отчаяния и просветления Самсонова, скитания полковника Ставки Георгия Воротынцева (своего рода Андрея Болконского) с полуокруженными соединениями в тех же прусских лесах. Л. Ржевский сделал любопытное наблюдение: в этом романе два главных героя — Самсонов и Воротынцев, а «соответственно и два сюжетных «кольца» — большое — Воротынцева; малое, внутреннее — Самсонова».

Это в известном смысле правильно, если учесть, что «кольцо» вымышленного Воротынцева лишь отчасти «согнуто», «закруглено» в романе. Этот герой явится после разгро-

ма в Ставку, где обвинит в катастрофе генерала Жилинского, приказами терзавшего Самсонова из Варшавы, великого князя Николая Николаевича. И будет изгнан из Ставки в полк. В 1916 году он же будет постигать замысел масона Гучкова (мирно сместить Николая II), а позднее окажется в ГУЛАГе. В пьесе Солженицына «Пленники» именно Воротынцев спорит с идеей очередного «декабристского» восстания, на сей раз против тирана Сталина в 1945 году, веруя в идею народного восстания.

«Кольцо» Воротынцева и в «Августе...», и в других «узлах» действительно очень большое: оно, повторяем, в «Августе...» лишь сворачивается в свиток судьбы. А Самсонов, покончивший с собой в том же августе 1914 года, замкнул свое малое «кольцо». Правда, напомнив о себе Солженицыну и через полвека... в характере Твардовского («Бодался теленок с дубом»).

Но покойный Л. Ржевский, имевший дело лишь с первым романом всей серии, конечно, не мог еще оценить глубинного конфликта романа, главного «кольца» и «узла» болезненного пункта всех метаний пророческой мысли Солженицына. На фоне этого узла любое сюжетное «кольцо» — сеть интриг Милюкова или «красное колесико» возбуждающих речей Керенского, демонический замысел Богрова или натужная двойственность служаки, генерала Алексеева, чьими добросовестными руками, обнимающими царя, творится все дело отречения и ареста — всего лишь колечки и колесики. «С Россией кончено» — вот узел, который распутывает роман...

* * *

Солженицын с величайшей тщательностью описывает в «Августе...» и жизнь рода Томчаков, и увлеченную агитацией курсистку Варю Матвееву (она явится и в Феврале 1917 года как неистовый статист бунта), беседы философа, московского Сократа — Варсонофьева. Именно он вопрошает молодых заступников народа Саню Лаженицына и его друга: «А скажите — у народа обязанности есть? Или только одни права?»

Случайна ли эта тщательность?

Поистине блистательны все портреты генералов в Варшаве. Тут и «чернильно-промоклая душа» Пестовский, и трус Клюев, за сорок лет службы никогда не бывавший на войне. Генерал Артомонов, сорвавший атаку,— экспонат с кругловыкаченным лбом, «переодетый в генерала солдат-бегунок». Окостенелый Благовещенский, мнящий себя за навыки пас-

сивности Кутузовым... Трагически-прекрасны все юные собратья того же прапорщика Сани Лаженицына, будущие вероятные герои «Белой гвардии» М. Булгакова и «Лебединого стана» М. Цветаевой, с их «слепой», осмеянной верностью присяге, долгу. Можно понять в свете беспрерывного толчения в прессе душ в 20—30-е годы, когда вчерашние идеи и вожди вдруг проклинались, когда все становилось «относительным», как дорог был юному Солженицыну портрет отца, георгиевского кавалера, висевший дома над его школьным столиком. Эти люди без раздумий отбивают у врага знамя полка, они не хотят даже мертвого командира похоронить в чужой земле!..

Хотя уже в 1914 году тот же Саша Ленартович негодует на Воротынцева, уважающего подобный «темный порыв» солдат и юнкеров: «Как же мог он поддаться темному завету этих диких запасных из нечесаных углов России? Ну, пусть как серьезное что-то выносили знамя — тряпку казенную, никому не нужную, всеми осмеянную, но она хоть не весила ничего...»

Нет, все еще много «весила», эта тряпка... В глазах самых «темных». Она многое значила и для мудрого генерала Нечволодова, историка, убежденного, что и монархия «есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает ее от бездны».

* * *

Весь поход Самсонова — это двойное испытание. С одной стороны, испытание чисто военное, сводимое к извечному вопросу: «Иль нам с Европой спорить ново, иль русский от побед отвык?» «Вот эта прусская культяпка, выставленная к нам, как бы для отсечения, никогда еще не испытывалась» (т. е. не отсекалась.— *В. Ч.*),— думает Самсонов. А с другой — это испытание «веса» и славных «тряпок» — знамен, и всех ресурсов монархии. Трагедия Самсонова, человека бесспорной честности, преисполненного тревоги за царя и Россию («корыстные люди как черви истачивают крепкий русский ствол»), воссоздана в романе сразу и как военное поражение, и как непоправимый нравственный обвал. Обвал Хребта... Или какой-то его части. Именно поэтому Воротынцев и не усидел в Ставке, и выдумал командировку именно сюда: здесь творится первый акт «суда Божия» над Россией... Здесь начинается скат, склон истории, в конце которого для России — судьба Византии, канувшей навсегда.

Может быть, вообще этот несчастный поход — даже некое знамение, пролог целой серии несчастий? И в судьбе

отца Солженицына, и в его собственной судьбе?.. В поэме «Прусские ночи» Солженицын сказал об этой роковой нити, связывавшей его, студента, советского офицера 1944 года, каторжника ГУЛАГа, с отцом, с юношами 1914 года:

Меж тобой и мной — Самсонов,
Меж тобой и мной — кресты
Русских косточек белеют.
Чувства странные владеют
В эту ночь моей душой.
Ты давно мне не чужой.
Нас сплело с тобой издавна
Своевольно, своенравно...

...Вся тема («кольцо» судьбы) Самсонова — это тема какого-то иррационального невезения. Все неправильно, по его мнению, делается на полях Восточной Пруссии. Не туда надо было наносить первый удар — ведь куда надежней путь на Вену, на Балканы! Если же отхватывать эту «культяпку», то, конечно, с юга, из Польши, двигаясь прямо к Балтийскому морю! Самсонов, «затучнелый» генерал, с усами и бородой «под Государя», конечно, не знающий, как уже знает Воротынцев, что из века пики и сабли Россия «невидимо, неслышно, незамечаемо перекатилась в Новое время», все же не лишен крестьянской, суворовской проницательности. Его не успокоила, скажем, победа Ренненкампфа под Гумбиненом. Он почти догадывается, что немцы, якобы «смертельно разбитые» Ренненкампфом, оказались все... у него на левом фланге! И даже в тылу! Трагично выглядит все движение его войск в пустоту, в мешок. И глубокое сочувствие вызывает его стремление — сбросить обреченность, ощутить врага:

«...И отступало даже важное — всеобщая изможденность, сухомятка, жара, бездневщина, бессонница, дурная связь, отсталость штаба (отставание? — *В. Ч.*) — перед сверхважным: увидеть **невидимых немцев**, разглядеть их план, своим ребром почувствовать укол их штыка задолго прежде, чем он высунется... так телом чувствовал Воротынцев эти жадные **волны врага**, текущие на Вторую армию с немой части карты...

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были **роковые** часы, и их десятиверстый маятник то в русскую, то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал...»

Фигуры Солженицына, конечно, движутся в мире вымысла, и реальный Самсонов — не натурщик для писателя, он персонаж грядущей трагедии. Но Солженицын следует и натуре, ее «свободе», собственным влечениям, как бы помня гегелевскую истину: «Творчество фантазии... носит наряду

с интеллектуальными чертами также и характер инстинктообразной деятельности». В связи с этим в изображении Самсонова, ведущего две схватки (с врагом и собственным начальством, бездарным штабом в Варшаве), резко усилен мотив затравленности, обреченности, нравственных перегрузок, инстинктивно разрешающихся в молитве. Этот «слуга царю, отец солдатам» жил, в сущности, бессознательной преданностью России, тому же Хребту, что почти отделился от земли, повис в небесах.

Самсонова, как и Николая II, ломает одно и то же обстоятельство: несоответствие личных качеств своему положению, призванию, месту! Не тот объем информации усвоен, не тот дар предвидения, что необходим на этом месте, в этом «узле» истории! Самсонов ищет опоры в ночных беседах с ангелом, в молитвах за царя. Но его лоб, даже в свете иконки, выглядит как «белая мишень над беззащитным лицом»...

* * *

Изображение похода, поражения, толчеи на дорогах, «почасовое передергивание приказов» (развал управления), горящие крылья мельниц (тема «красного колеса») — все это когда-то давало «повод» для упреков Солженицына в германофильстве. Конечно же, надуманных...

Элементы подавленности немецкой военной машиной, которые усматривали в «Августе...»,— это лишь часть общей затравленности, отчаяния Самсонова. Подавлял и порядок в чужой стране. В Восточной Пруссии — «нигде ничего **недоделанного, просыпанного**», городок Сольдау «не занимал лишнего, плодородного места, **не опаршивел** мертвым кругом свалок, пустырей». Невольно рождается самоупрек: «И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм **на русскую нашу дрянь**?»

Во всем этом нет германофильства — здесь тревоги, самобичевания обреченного, захваченного роковой сетью сознания. В победе немецких генералов Франсуа, Гинденбурга, Людендорфа не было ничего гениального. Они делали то же самое, что делал бы и смещенный Вильгельмом генерал Притвиц. «Единая техника военной мысли... **гениальный полководец есть случайность**, участь народа не может зависеть от такой случайности».

Вся эта казенно-уставная фраза с неизбежным германизмом «есть» явно иронична, насмешлива в отношении немецких «геометров» победы.

* * *

Что могло быть противопоставлено Россией этому торжеству усредненной машинной стратегии?

Дух войска... Самсонов еще способен осознать как частицу себя солдат, бредущих по польским глинам и пескам, наматывая версты на солдатские подошвы. Но эта сила отдана **на обокрад**. Почему упорство высшего военного начальства не замечать действительного положения называется **волей**? А доклады его о том, как идет поход, где враг в действительности, считают **безволием**?

Самсонов способен и на смелый маневр: «Карта стонала, карта просила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX века». Он же угадывает и этот дух, все прекрасные моральные качества русского солдата. Одну из атак, где солдаты Самсонова не просто победили, а именно «пошли ломить стеною» (Лермонтов), видит и Воротынцев:

«Накопленная сила, томясь, ломанула **сама** вперед — это не из дивизии истекло, а в ротах началось! (Да ведь силы немерянные в этом народе! Да ведь привык же он побеждать!)... Вся эта *самобродная* успешливая атака длилась час один, до половины одиннадцатого, но в этот бесконечный час испытал Воротынцев состояние счастья и изнимающей полноты... *от самобродности, самозарождения атаки*».

Подобного нравственного потенциала («оборонческого», позорного, как скажут плановики грядущей катастрофы) не будет и в помине в петербургских полках 1917 года. Да они лишь по названиям будут восходить к Бородину, Плевне. Эти полки, где мелькает и солдат Орлов («ряжка, **глаза навылуп**»), и мордатый Круглов, который «прямо озверел от воли», первым делом кинутся к тюрьмам, к уголовщине: «Уж эти-то все будут за нас!»

Но эта метаморфоза еще не предчувствуется в 1914 году. Здесь еще не смеют смеяться над присягой, над знаменем, выносят даже погибшего командира; там, в 1917 году,— бешеная погоня, азарт убийств живых офицеров. И самоубийство Самсонова — боль совести, возмездие самому себе за грех растраты высочайшего нравственного потенциала, этой «самобродной», «самозарождающейся» воли народа. Такого богатства не собрать больше России...

Заметим, что удивительно настойчив автор «Красного колеса» в подчеркивании красоты, святости, величия самодвижения, **самобродности** народной жизни, не загрязненной «теоретизмами» XX века! Какой грязью выглядят на фоне этой атаки все накачивания энтузиазма, приступы взвинченного заискивания перед солдатской массой, живущие

в том же Керенском! Не лучше и все будущие «расстрельные» методы наведения дисциплины Троцкого. Да и все приемы ГУЛАГа, воспитательно-принудительные, сводимые к заповеди: «Умри сегодня ты, а я — завтра!»

Кончатся эти «самобродные» порывы, исчезнет «дососословная», «дочиновная» простота, будут осмеяны наивные призывы старого Томчака забыть барыш в час смуты — и воцарится лицемерие, жизнь по казенной лжи, имитация и опошление всего. Здесь вступает в силу Солженицын-пророк. Поэтому важно сохранить в памяти **как было**: иначе не устоять перед тем, **что будет**. Сохранить в памяти и стихийное праведничество Захара Томчака, и энтузиазм, теплоту патриотизма «слепой атаки — не из-за креста, не из-за награды»! — и домашние муки хрупкой Алины Воротынцевой, обманутой мужем и с трогательной наивностью отстаивающей свое право на былые милые клички «Жемчужинка», «Росиночка», «Единственная»... Между прочим, очень дорогие для русского читателя тени встают за ее плечами — от героинь А. И. Куприна, купчих Б. М. Кустодиева и до совсем уж забытой молодой актрисы из XIX века Евлалии Кадминой, «всерьез» принявшей яд на сцене, по ходу мелодрамы, в соответствии с ее текстом, после измены любимого. (Этот тип пылкой романтической русской провинциалки увековечен И. С. Тургеневым в гениальном рассказе «Клара Милич».)

* * *

Наивысшая удача всего «Августа...» — в известной мере трагических, «реквиемных» тем его — это выход сборной группы солдат во главе с Воротынцевым из окружения. В этой группе сплелись судьбы и Саши Лаженицына, и Арсения Благодарева, и солдат-дорогобужцев, выносивших тело убитого полковника Кабанова. Когда они все-таки хоронят его, то «самобродно» возникает импровизированная панихида, и Благодарев, певчий в хоре своего села, возглашает:

«— Миром Господу по-мо-лим-ся!

Так это было властно, сильно и точно по-церковному, что приглашенья не требовалось больше,— и Олонецкий, и Лупцов, и еще человека два сразу поняли и тут же отозвались, закрестились, поклонились востоку каждый на том месте, где стоял:

— Господи поми-луй!

— Милости Божия! Царства Небесного! и оставления грехов испросивши тем и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!

И — выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнад-

цать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным восслали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:

— Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!»

Сцена эта и весь крестный путь солдат, недавних крестьян, справедливо вызвали высокую оценку и Л. Ржевского, и Ж. Нива: действительно, здесь возникает «круг общинной Руси, Руси допетровской, христианской», и «этот миг чистоты и народного **простодушия**, обретенных вновь,— вершина романа, в некотором роде апофеоз древней, богатырской Руси».

Не будем, правда, забывать о том, что сама по себе община с ее принудительной уравниловкой — предмет особого исследования в главе о Столыпине. Она вызывает сложнейшие чувства в Солженицыне: с одной стороны, община, «археологическая святыня» — это оковы для инициативного мужика, а с другой — залог взаимной помощи, преграда **буеволию**, т. е. анархизму. Прекраснейший лирический монолог вырастет из... социологического трактата как одно из чудес необычной прозы Солженицына.

...Исход из Восточной Пруссии — это апофеоз и отходная Древней Руси, антитеза миру придворной камарильи, которая сгубит и Самсонова, и Столыпина, и миру либералов в Думе, тем более факельщиков из революционного подполья с их пучками брошюр и стандартно-популистических листовок... В тот курганчик на просеке в Пруссии будет как бы похоронена и безрассудная солдатская доблесть («и постоим мы головою за Родину свою»), и слитность душ (скоро возникает жуткая рознь), и народное простодушие (его сменит искусственность управляемого сознания). Солженицын искренне вздохнет, работая над романом, что нет у него под рукой фотографии этого погребенного полковника: «...С тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех *нетороплuвых, не себялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив*».

Чего еще не найдет объектив (как не найдет и любой специалист по народоведению, народомыслию)?

Очень многого. Безусловно, прав Юрий Нагибин, отметивший глубочайшую духовную связь Солженицына с «русским Ницше», К. Н. Леонтьевым. Ведь этот величайший мыслитель XIX века предупреждал о самой тяжкой утрате, которую несет политизация, рационализм, сплошная калькуляция и сортировка душ:

«Чтобы спасти жизнь, т. е. разнообразие и сложность не орудий всесмешения, а самого социального материала, нужно, чтобы сознание восстало, наконец, на сознание, наука на науку, познание на собственные излишества и т. д.

Надо, чтобы сознание попыталось восстановить хоть сколько-нибудь культ бессознательности чувства, преимущества страстной воли над рассудком, крови и плоти над нервами».

ПЕРВЫЕ ОБОРОТЫ «КРАСНОГО КОЛЕСА»

Понятия судьбы, «воли Божией», чу́да как нарушения всяких разумных законов причинности и механической последовательности никогда не были чужды Солженицыну. Мнение без голосования, «опрос мудрых» — он предлагает его и сейчас в трактате «Как нам обустроить Россию» — лучшая антитеза коллективному слабоумию «миллионов избирателей», часто сформированному прессой. С умом, с одними идеями дайте спорить другим умам и идеям! Не напускайте на несогласных с вами якобы свободные «демократические» толпы!

У этих тревог писателя — много причин. Писатель отчетливо видит, что как ни молись на бессознательные природные, «самобродные» начала народной жизни, но рано или поздно приходится признавать, что силой, причем силой роковой, иррациональной, безграничной, порой просто дьявольской, становятся идеи, утопии, нечто вымышленное, предписанное, предельно искусственное. Они овладевают массами, они персонифицируются в лидере-популисте. Даже и не вожде, а некоей функции, наемнике абстрактной программы! И мало кто видит, что массами, жаждущими жить, овладевает дух самоуничтожения и небытия, дух жертвы, но отнюдь не священной... Ведь в поклонении власти, вождю масса доходит до апогея, при котором бессознательно готова презирать, уничтожать все, что... не есть власть и властитель.

Иногда «революционная» мораль требовала жертв в виде той или иной части народа. Целые пласты революционной этики — от «России, кровью умытой» А. Веселого до «Донских рассказов» М. Шолохова — это утверждение ритуала очищения, приближения «революционной морали через избиение самых близких, через непрерывный суд над своим же прошлым. Весь ГУЛАГ — это жертвенник, это плаха новейшей истории России. Тут — «подавай людей»! Солженицын прекрасно слышал этот заказ отвлеченной «морали» именно на людей. Зов этой морали, раздавившей хрупкую человечность, заслышал вдруг скромный лейтенант Зотов («Случай на станции Кочетовка») и... сдал своего собеседника, ставшего близким человека, в подвал НКВД!

Писатель уловил признаки болезни и в пестром сплетении случайностей начала XX века. «Передовые» идеи, размноженные в бутафорских собраниях, вроде той же Думы,

«кипятильника словоговорения», в листовках и плакатах, в утопических программах, к тому же рожденных в недрах некоей «закулисы»,— не просто ломали историю, но и уничтожали даже таких исполинов, как Столыпин, вовлекали в кровавые игры миллионы людей.

* * *

Возникает вопрос: к чему такое начало огромной, многотомной эпопее, несущей столько опровержений фальсифицированной истории? Разве в Восточной Пруссии свершался первый день творенья или разрушенья?

Это начало как бы задвигало все проблемы в угол, уводило внимание читателя от столиц, от Николая II и Ленина, от пророческих просветлений, мук в прусскую «культяпку».

Если говорить в терминах шахматной игры, то Солженицыну угрожала опасность сюжетного, комбинационного голода: «ферзь» с самого начала увяз где-то за мелкими фигурами, застрял в прусском песке... Ни один из главных героев — ни Самсонов, ни Воротынцев — в 1914 году попросту не имеют выхода к главному конфликту эпохи, к катящемуся на Россию, на мир «красному колесу». Самсонов ушел из жизни, как изломанная часть той бессознательной силы — наивности, доверия, привычек жить по заветам и преданиям природного миропорядка. Эта сила еще способна была выигрывать отдельные сражения. Но не больше...

Георгий Воротынцев, один из «младотурков» — молодых офицеров, увидевших фасадное величие бородачей-генералов с иконостасами орденов на груди, бессилие царя,— способен на большее. Он первым почувствует, что **не так** начата война, что к 1916 году русские солдаты уже **устали**, что русский простак, извечно нюхающий воздух («не пахнет ли где оппозицией»?) и примыкающий к любой оппозиции, уже «нанюхался» и готов к бунту. Но он органически не выносит мертвецов — любой бюрократии. Он не верит, что реакционность может быть талантливой:

«Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости: иметь благое воздействие на историю своего отечества. Тянуть его или толкать его, непричесанное, куда ему лучше. Но силы такой, но влияния такого не отпускалось в России отдельному человеку, не осененному близостью короны».

* * *

А какие же силы вступили в управление историческим потоком, навязали чуть ли не всем в России пафос налаживания апокалипсиса, профанации самой смерти, новые кодексы, императивы безнравственности?

Возвращаясь к началу «Августа...», заметим, что в картине Кавказского Хребта, единственного нерукотворного, сверхмыслимого в мире сделанных и измышленных вещей, есть еще одна деталь: «синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор».

А что в мире действует предельно настойчиво, навязчиво, «сознательно», не полагаясь на молитву, на грезу, на стыдливость?

«Август Четырнадцатого» кончается, как бы воздвигая новые декорации для следующих актов трагедии, символической сценой на вокзале в Кракове. Ленин, покидая Краков, не просто видит, а скорее создает символ предельной *настойчивости*, неразмытости, образ давления и устрашения, бури мирового масштаба. Поезд с солдатами, идущий на фронт, он мечтает повернуть вспять:

«Крутится тяжелое разгонистое колесо — *как красное колесо паровоза* — и надо не потерять его *могучего кручения*. Еще ни разу не стоявший перед толпой, еще ни разу не показавший рукой движение массам,— какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, *их всех завертеть*, как увлечь их сейчас в обратную сторону?»

В этом эпизоде «барсучья нора» — подробнейшая хроника катастрофы Самсонова — сразу обнаруживает выход в мировую политику, во вселенские катастрофы. «Ферзь» выводится в центр шахматной композиции.

И не просто выводится, а буквально... выталкивается. Солженицын искренне убежден, что прием должен быть *понят* читателем, а не скрыт от него, намек должен быть *прозрачен*, а не темен... Смешно, когда В. Максимов советует ему побеждать «новояз» с помощью языка чеховской «Каштанки», а не словаря Даля. Если уж заявлен символ, если прозвучала тема «красного колеса», то она покатится... на полную катушку. Тут и колесо санитарной кареты, вдруг оторвавшееся от оси и запрыгавшее по мостовой при эвакуации лазарета:

«...и вдруг — колесо от нее отскочило!
отскочило на ходу.
и само! обгоняя! покатилось вперед!
Колесо! все больше почему-то делается,
Оно все больше!
Оно во весь экран!!!

Колесо! катится, озаренное пожаром,
Самостийное!
Неудачное,
все давящее!
осью чертит по земле...»

И конечно, самое памятное — мельничные крылья, охваченные пожаром, предельно полное обнаружение небытового в бытовом, иррационального в привычном.

* * *

В «Октябре Шестнадцатого» заметно меняется и повествовательная манера, язык, и самое главное — соотношение характеров и шумного потока истории, автономной психологической жизни и сверхличных велений, толчков, вихрей, играющих с человеком по древнему принципу:

То вознесет его высоко,
то бросит в бездну без стыда.

Не случайно некоторые персонажи с избытком политической воли буквально ждут, когда революция «впитает» их, вознесет высоко. Они возбуждаются от всякой «чрезвычайщины» в революционной изменчивой ситуации. Пусть вознесет... даже взрыв! Так, эсер Масловский «с пронзительно-хищным взором» страшно любит арестовывать, перемещать арестованных, «прокалывать» законы обычной жизни некими рапирами — то ордером на арест, то демагогической революционной фразой. Испугать человека грозным словом «Совет», «революция» и увидеть, как он оседает, немеет, унизить даже бывшего царя до обычного арестанта! Идея борьбы за власть не просто убивает все органические, «бесконвойные», не пайковые чувства сладости жизни, но и вырождается в борьбу с душой и жизнью. Борьба эта истребила в мире все, что не есть голая власть, грубая сила, принуждение, «конвой», т. е. будущий ГУЛАГ... Это игры, внушенные бесовской сверхличной стихией.

Что вносят такие игры в соотношение героев и событий?

Событие — новый персонаж истории, а ситуации его рождения, становления — гримасы, позы, изречения этого персонажа. Паритет между характерами и историческим фоном, их ранее одинаковая активность скоро нарушается: явно нарастает публицистичность повествования, исчезает культ бессознательной «внеисторической» жизни. Усиливается **марионеточность** в облике героев, внешняя подвижность, легкость в мыслях и жестах героев — при возросшей неспособности контролировать события.

Все большее место занимают, как заметили публикаторы,

стилистически отточенные дневниковые записи, явное научное исследование, комментарии автора, монтирование документов, наконец, выставление зеркал на дорогах истории («экраны», «стенды»).

Исторический процесс становится столь неподвластным героям, столь отчужденным от них, что персонажи, являясь на миг в центр повествования, живут и действуют среди превосходящих их воображаемых сил.

Самое «освещенное», явно историческое место в Петербурге 1916—1917 гг.— та же Дума, но и здесь столько доктринерской слепоты. Уже надвигается хаос, а Милюков, раздумывая над проблемой смещения правительства «без сотрясения», без колебаний парламентского строя, лелеет надежду: «Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашнее убийство *давали новую неотразимую платформу для атаки*». Уже валом валит на Думу «свирепая солдатская толпа, которой терять уже нечего», а Керенский, как актер в гримерской, готовит к встрече первую фразу и жест: «Его рука *уже сама вытягивалась в повелительный жест*. Он содрогновенно чувствовал, что может стать вождем этих восставших солдат».

По сути дела, резко падает моральное качество, надежность бытия. Солженицын уже не может, конечно, заставить героев вспомнить о красивой, наивной или мудрой, но природной жизни. Надвигается последнее, крайнее упрощение, удешевление человеческой жизни. Но редкое легкомыслие исторических марионеток возрастает во многих.

И все это страшное удешевление, опошление и стандартизация духовных миров, сокрушение сложнейшей культуры будут свершаться под знаком якобы возросшей «историчности», «эпохальности» бытия, приближения к золотому веку, преодоления мещанского покоя, либерального, «постепеновского» прогресса. Все прошлое вмиг будет объявлено предысторией. «Одни мы зажили исторически!» Все вмиг станут соколами, даже «взвившимися орлами», как поется в солдатской песне! Будущий эмигрант, искусствовед П. П. Муратов очень проницательно скажет в 1918 году об этой иллюзии всеобщей «историчности», об обреченности на «историчность», «эпохальность» всех последующих поколений. Он писал в 1918 году:

«...Не без удивления вглядываешься теперь в простую траву, нежно зеленеющую в московских дворах... Все это, оказывается, существует и как бы упорствует в существовании. На наших глазах свершается обычное, простое и ошеломляющее чудо весны... Будем ли жаловаться, что равнодушная природа не разделяет с ними страстей (политикан-

ских.— *В. Ч.*) и печалей? Пожелаем ли, чтобы помутнел и иссяк этот единственный источник мудрости, которой, как очевидно, нет места в современной человеческой душе?

Блага подлинного мира мы лишились, по-видимому, основательно и надолго... *Ныне живущие поколения уже не увидят, вероятно*, иных времен, кроме времен «исторических».

В дальнейшем все более хирела природа, но один «исторический» этап сменял другой. Природе России уже сейчас непосильна... ее история! Разве не каждый съезд (партии, Верховного Совета), не каждый доклад провозглашался «историческим»? Разве не вся наша история превратилась затем в историю праздников, ритуальных процедур? Мы и изнуренную природу заставили постепенно «праздновать», жить исторически вместе с нами. Заваленная кубами плотин Волга уже с трудом упорствует в своем существовании!

Может быть, лишь одна Ольга Андозерская, профессорша, любовница Георгия Воротынцева, с ее заемным умом (она действительно перелагает идеи философа И. А. Ильина о русской монархии — это заметил П. Паламарчук), пробует в «Октябре...» зряче любить народ, видеть его грядущую судьбу. «Россия пошла за бесами. Даже буквально через несколько дней после смерти Достоевского — убили Освободителя. Повернулась, повалила за бесами»,— говорит она Воротынцеву. Ее жадно внимающий собеседник, зная, как устала армия, как смешны все высокопарные надежды трибунов на весеннее наступление, выспрашивает о говорливых вождях, о любимцах Думы:

«— Скажи, а Милюков — действительно крупный историк?

— Да какой там... Его очень рано с научных занятий своротило на фронду, и покатился колобок по легкой звонкой дороге. У них у всех (и Родзянко, и Керенского, и Шульгина.— *В. Ч.*) нет чувства ответственности перед всей глубиной русской истории».

Кого же в «отмеренные сроки» — с 1905 года до катастрофы — не «своротило на фронду», на путь к банкротству? Как происходила утрата чувства глубины и многомерности русской истории прежде всего в интеллигенции?

* * *

Солженицын не случайно спрашивает Твардовского — об этом свидетельствует книга «Бодался теленок с дубом» — о его круге чтения:

«— Александр Трифонович, вы «Вехи» читали? **Три раза** он меня переспросил! — слово-то короткое, да незнакомое.

— Нет.

— А Александр Григорьевич читал когда-нибудь? Думаю, что не читал. А зачем безо всякой надобности лягнул два раза?

Нахмурился А. Т., вспоминая:

— О ней что-то Ленин писал...

— Да мало ли что Ленин писал... **в разгаре борьбы**...»

Когда сквозь десятилетия пронесена идея религиозно-нравственного суда над революцией, над орденом интеллигенции, вызвавшей к жизни стихию революции, над народом, который беззаботно отдал «разбойную красу» «чародеям» (вспомним блоковское — «какому хочешь чародею отдай разбойную красу»), то «Вехи» и ленинская оценка этого манифеста покаяния («энциклопедия ренегатства») вспоминаются не случайно. «Веховцы» как бы напомнили самим себе, что культура — последнее оправдание и способ облагородить историю — слишком долго служила разрушению, пробуждению ненависти к самой же культуре.

Солженицын вообще часто застывает в изумлении и... негодовании перед панорамой России начала XX века. Сколько же даров было послано России в эти неполных два десятилетия! И совершенно самостоятельная философская мысль, и расцвет поэзии и всякого рода эстетической проницательности, поисков форм, и стремительный промышленный скачок. В то же время — невиданное, извращенное газетами, всем конвейером революционной пропаганды, порой просто искусственное «народопоклонство», психоз терроризма, конечно, во имя народа, разрушения до основанья. «Соль земли» — интеллигенция — не перестала быть соленой, но стала почти ядовитой, взрывной...

* * *

...Уже в «Августе...», а в еще большей мере в «Октябре Шестнадцатого» пространство «красного колеса», «даль свободная романа» (Пушкин) стало как бы... загромождаться, стесняться.

«Неожиданно» возникла ленинская глава, сцена в Кракове, в которой излагается жестокий план превращения войны между странами в серию гражданских войн. «Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. *Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника*» — так думает солженицынский Ленин, радуясь, что влез в войну, попался в капкан российский орел. Где коготок увяз, тут и всей птичке и пропасть...

Через несколько десятков глав возникает еще одно добавление: беседа двух старушек Адалии и Агнессы, анар-

хистки и эсерки, с юной Вероникой. Наемницы террора подталкивают ее на «святой» путь убийств, взрывов карет, сладость вещаний с эшафота. У этих старушек — свой календарь, свой временник, свои святцы: их сознание движется по вехам террористических актов, подвигов «Железной Софьи» (Перовской), истерик нерешительных народоволок, прочих скачков «крылатого коня террора». Смелый образ! Русь-тройка уже с конца XIX века рвалась вперед — вперед ли? — имея в пристяжных этого крылатого коня террора... Сквозь явную карикатурность старушечьих восторгов — «взорвать весь Совет и себя вместе с ними!» — звучат и предельно достоверные ноты страшного психоза, жуткой игры.

Здесь много литературности — вспоминается и «Рассказ о семи повешенных» Л. Н. Андреева, и «Записки террориста» Б. В. Савинкова, и роковые убийцы из романа А. Белого «Петербург»... Но в первоисточнике — та идеальная тургеневская девушка в стихотворении в прозе «Порог» (1878), которая готова и на измену друзей, и на преступление, буквально жаждущая жертвы, а по существу самоистребления жизни. «Святая или дура?» — вопрошал Тургенев. Старушки Солженицына, как и Вероника,— сразу и святые и дуры. И святость и глупость при этом как бы не их личные свойства. Есть нечто сверхличное в их восторгах: «Но есть счастье выше: умереть на эшафоте! Смерть в момент акта (террора.— *В. Ч.*) как будто оставляет что-то незаконное... Только тут (на эшафоте.— *В. Ч.*), говорил он (Каляев.— *В. Ч.*), почувствуешь всю красоту идеи, мистический брак с идеей! Сладчайшее наслаждение — умереть как бы дважды: и на акте и на эшафоте. А еще какое наслаждение — суд».

Вслед за этим «сломом» — Вера была убеждена, и в «Октябре Шестнадцатого» она уже в железном строю свирепого насилия! — следует история убийцы Столыпина Дмитрия Богрова, его игра в роли агента охранки. Зачем он пришел в охранку? С одной целью: «...пойти, проницать ее и понять. Врага надо знать. Познакомиться с этим львом, пощекотать ему усы». Лев оказался всего лишь «крысо-хорьком» — так скажет Солженицын о генерале Курлове, который и допустил убийство Столыпина.

Это убийство позволяет Солженицыну нарастить новое побочное звено хроники: историю подвижнических деяний Столыпина, замирения России и шествия центральной власти по зыбкой, но спасительной серединной линии, между двумя разрушительными крайностями...

Временами все «Красное колесо» предстает как картина



Исаакий Солженицын — отец писателя



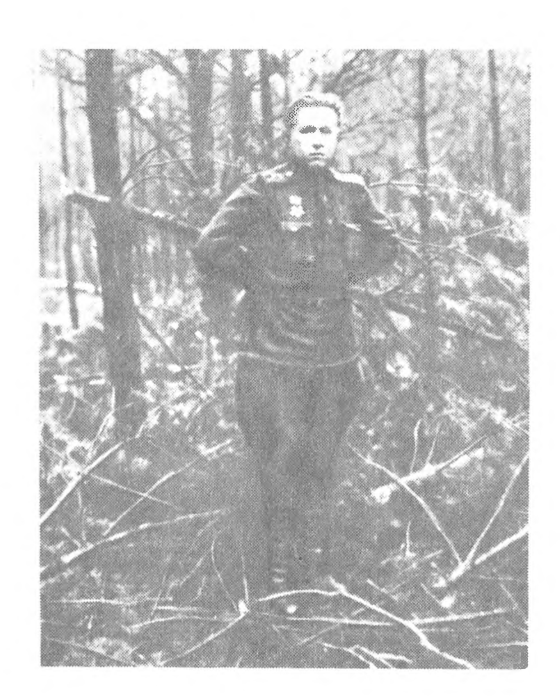
Таисия Захаровна Солженицына — мать писателя



Друзья юности: А. Солженицын, К. Симонян, Н. Решетовская, Н. Виткевич, Л. Ежерец



Дорога на фронт. А. Солженицын и командир артиллерийского дивизиона Е. Ф. Пшеченко. 1942 г.

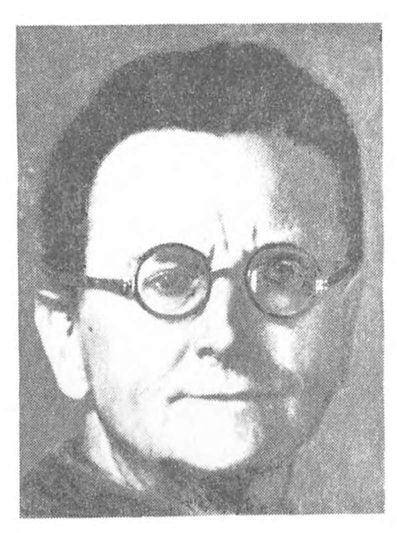


Второй Белорусский фронт. 1944 г.

Н. Виткевич и А. Солженицын на фронте под Новосилем. Весна 1943 г.



Зэк Щ-282 в день освобождения. «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»



Марфинский друг писателя С. М. Ивашев-Мусатов



Друзья по Экибастузскому лагерю: «кавторанг» — Б. В. Бурковский



Янош Рожаш

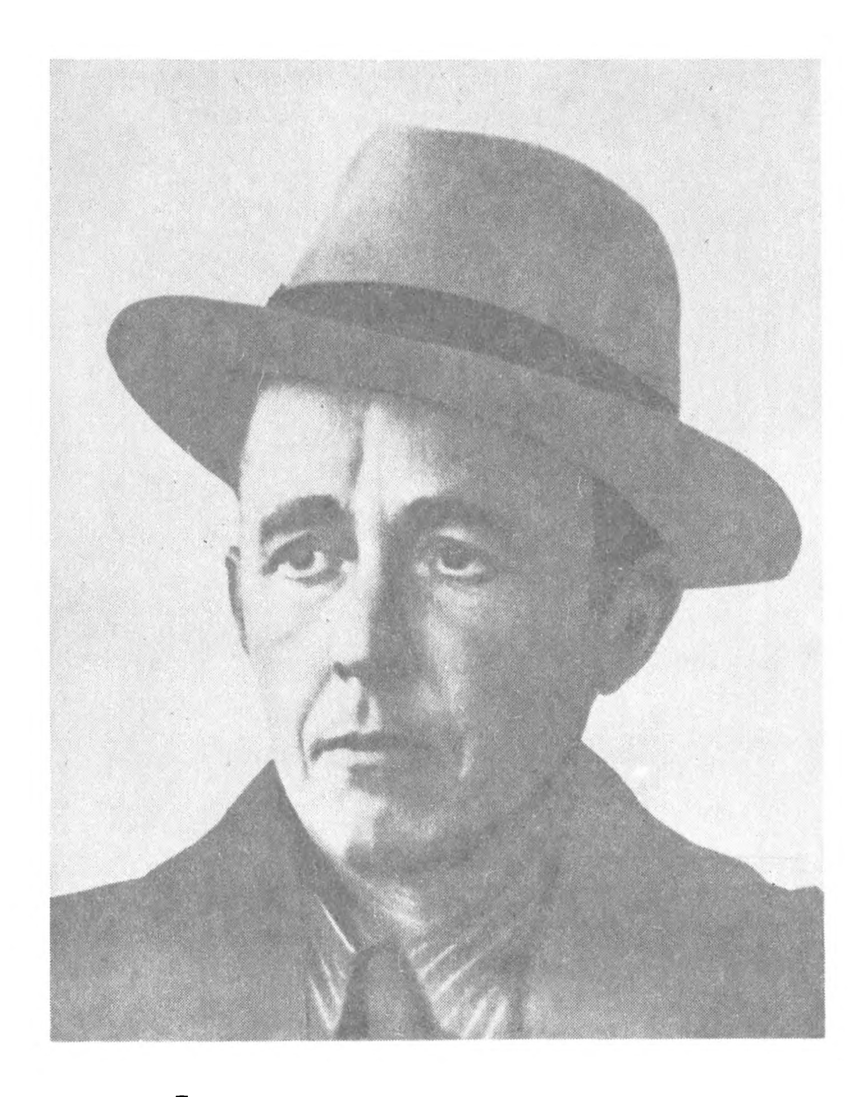


Зэк. Скульптура, подаренная А. Солженицыну



Ссылка. А. Солженицын с учениками в Кок-Тереке. 1953 г.

Ночью над рукописью



После выписки из ташкентского онкодиспансера



Матрена Васильевна Захарова

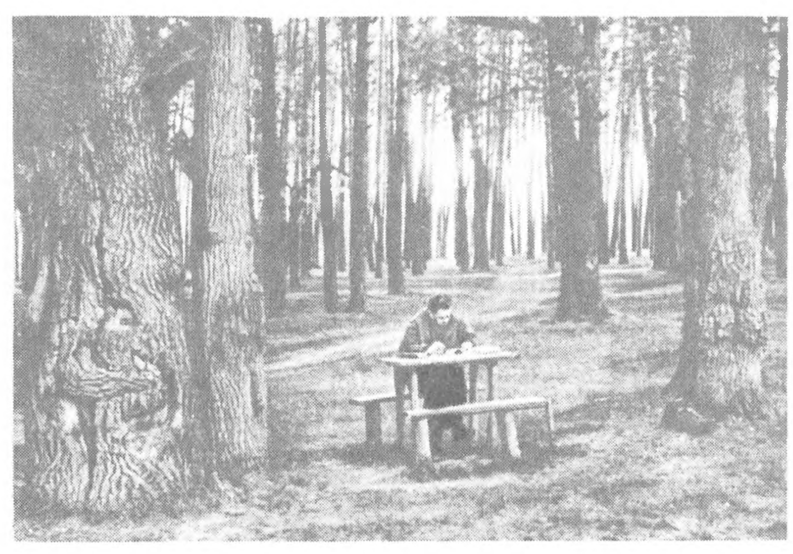
И ее изба

В Нерльском заповеднике

В заветном уголке с гостем — Н. А. Семеновым



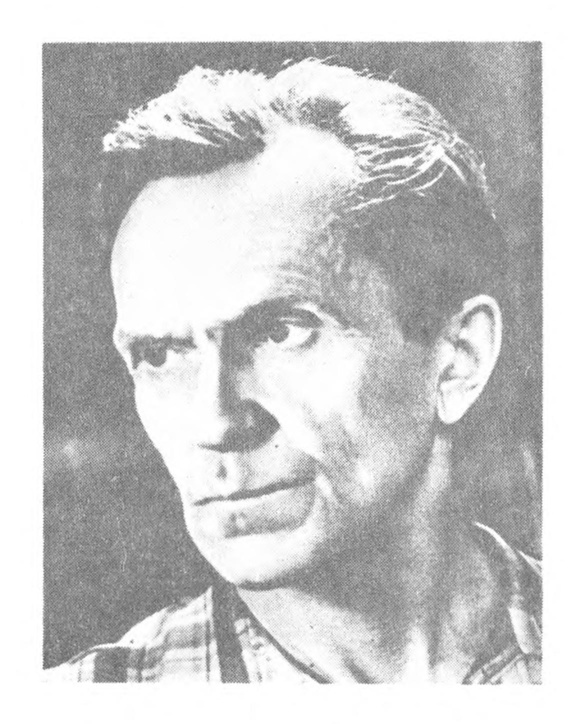
А. Т. Твардовский



В Солотче под Рязанью



Солотча. Б. Можаев вручает А. Солженицыну найденную подкову

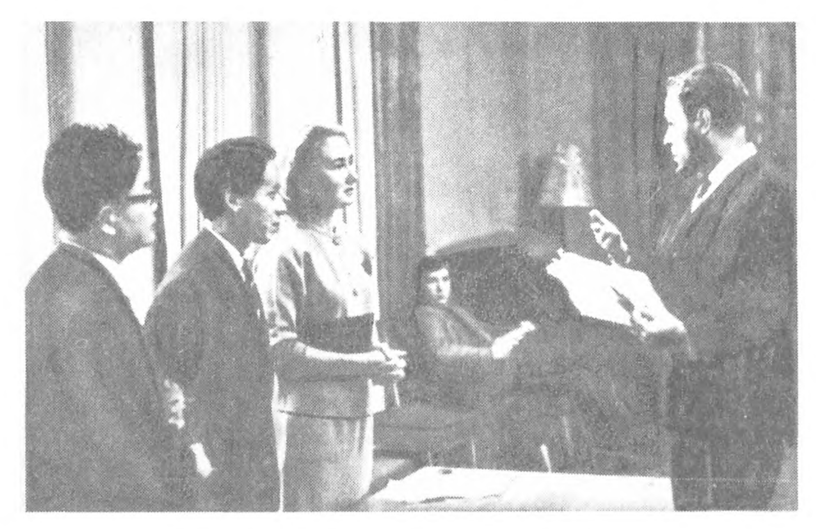


В. Т. Шаламов

Борзовка — дача А. Солженицына

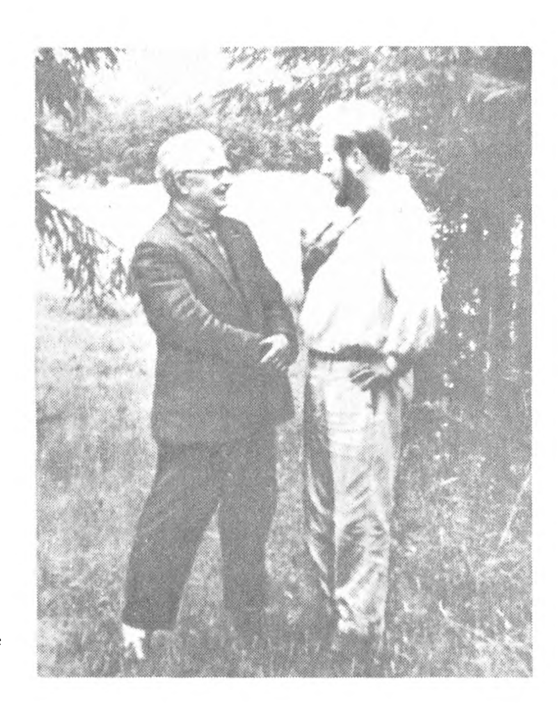
Весть об аресте архива. Сентябрь 1965 г.

Что же ждет дальше?

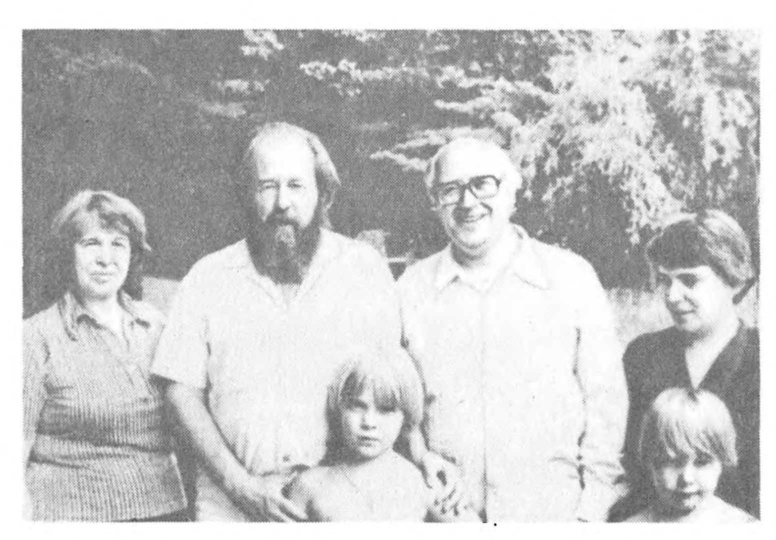


Первое интервью. ЦДЛ. 1966 г.

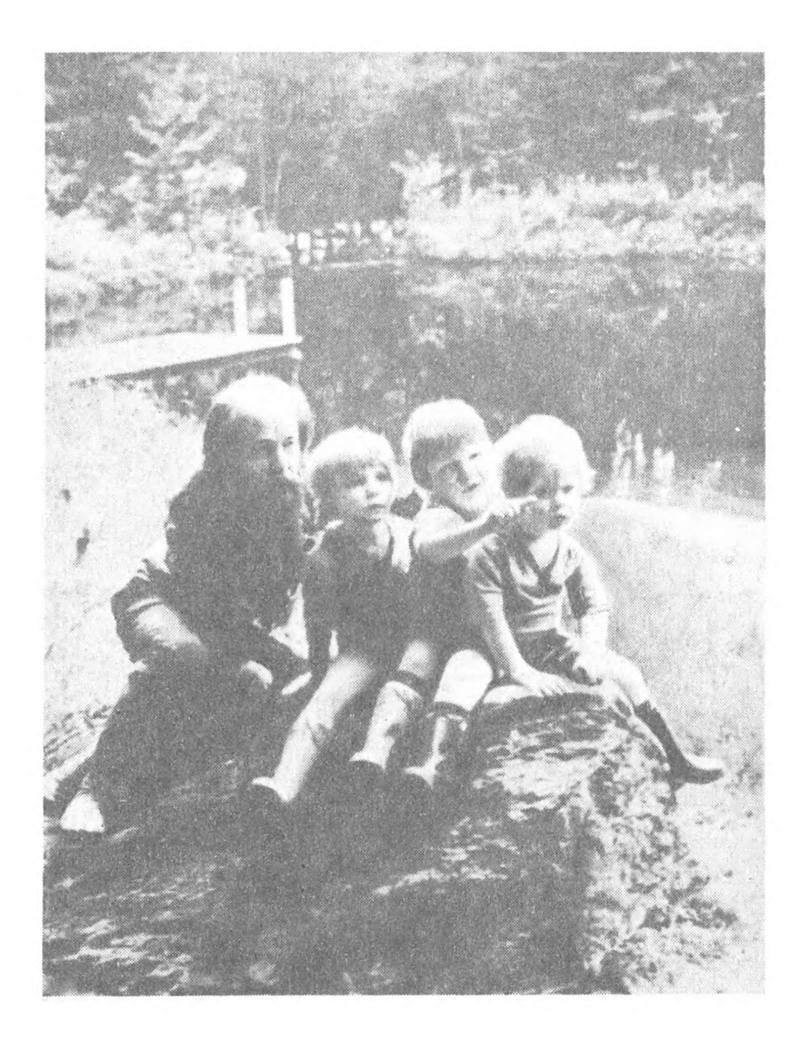
Встреча на Смоленщине с Г. Т. Твардовским



Эстония. А. Солженицын и А. Сузи, знакомые еще по Лубянке



В Кавендише: Екатерина Фердинандовна Светлова (теща писателя), Александр Солженицын, Мстислав Ростропович, Наталья Светлова, сыновья Ермолай и Игнат



В Кавендише с сыновьями Ермолаем, Игнатом и Степаном

страшного суда, грандиозная лирико-публицистическая фреска, на которой запечатлена гибель органических, природных сил в потоке искусственных начал. Каждая сценка в панораме символична. Образ отца, Сани Лаженицына, исчез, но он как бы входит в судьбу любого юноши-офицера тех лет. Глубоко волнуют все «внеплановые» возгласы автора. «Почему-то они, четверо тонких, перехваченных свежими ремнями и даже со свитками в гнездышках на наплечных ремнях,— должны были за всех и за вся удерживать толпу?» — спросит, как бы мучаясь от боли, автор в «Марте Семнадцатого».

В самом деле — почему? Почему «все поругано, предано, продано» (Ахматова)?

Созидают или разрушают роман как таковой и эти вопросы, и развернутые введения, добавления, лабиринты судеб? К ним будет добавлен еще и рассказ о неудачной семейной жизни Гучкова, о гимназистке — возлюбленной писателя-донца Ковынева, наконец, жуткая исповедь цинизма — портрет Парвуса...

Солженицын, бесспорно, исходит из верной идеи, что человек живет сразу в нескольких реальностях: прежде всего — в прошлом и настоящем... И его движение в реке времени не есть движение пассажира на некоем судне. «Человек не «проходит» сквозь моменты времени, он, так сказать, «живет временем»...— заметил современный ученый.— Его «моментальное» существование не «застывает» в реке времени подобно насекомому в капле янтаря».

Сквозь моменты времени проходят — скорее даже пробегают! — однолинейные, узкопартийные существа, вроде Сашки Шляпникова или Керенского. Они и мыслят, и живут словно под диктовку какого-то высшего наставника, сверхличной программы. У них нет даже сознания личной правоты. Правым можно быть только вместе с либеральной Думой (так мыслят кадеты, октябристы) или с зарубежным Центром в Цюрихе, его генеральной линией (Шляпников). Иная правота, истина просто не существует: пусть такой «истиной» тешат свое самолюбие обыватели!

Но не это, пожалуй, главное, заставляющее Солженицына «тормозить», загромождать даль свободную романа добавлениями, пристройками. Ах, он вздыхает о Столыпине, реакционере, вешателе! Ах, он хотел бы победы альтернативных Ленину фигур! Таких, для которых Россия не была добычей, кучей тряпья, содержащего большое количество пламенеющего материала для мирового пожара? Эти упреки совершенно... безадресны при анализе «Красного колеса».

Солженицын действительно с мучительным напряжением,

порой «личным», рисует этапы подготовки убийства Столыпина. Ну почему суетливый жадный ротмистр Кулябко с такой легкостью дает убийце Богрову билет в театр? «Ах, верно он изучил их клев! Ах, знал Богров их душеньки! А во что тут было поверить? трезвому человеку? во что?» — автор как бы рвется к тому барьеру в театре, у которого стоит преданный охранкой Столыпин!

Вся эта гамма сопереживаний — одна из сторон пророческого историзма. Ведь обе альтернативы — ленинская и, скажем, столыпинская — исторического пути формировались в рамках одного периода, одной эпохи. И авторитарная традиция, монархические иллюзии (или традиции) были порой даже сильнее! Убрав эту альтернативу, прочертив в эпохе только «закономерности» победы большевизма, мы создавали схему, гипертрофировали «благодетельную» роль насилия, историческую нетерпимость.

«Альтернативность воплощает жизнь в истории, ее непрерывное развитие и обновление... Подавление механизма альтернативности неизбежно ведет к деградации общества: общество «каменеет»,— заметил один современный историк. Но ведь в начале XX века русское общество не окаменело еще, и обе альтернативы не просто набирали «очки» в споре, но жили часто... в одних и тех же людях!»

Реакционер или замечательный провидец был, например, предшественник Гучкова, лидер земского движения, вдохновенный певец местного самоуправления, упрямо прочеркивавший среднюю линию,— Д. Н. Шипов? В атмосфере 1905 года, когда осмеивался «неудачливый русский либерализм», когда вся правовая идея была уже поставлена выше этической, вынесена за пределы христианства, когда при всеобщих прямых выборах личности кандидатов в Думу часто оставались неизвестными избирателям,— легко увидеть в Шипове археологическую находку. Но как прекрасно сказал В. В. Розанов о всей идее Шипова о земстве, реализованной именно Шиповым, искавшим единства нравственности и политики:

«Центральная идея земства — свята и вечна. Это — самодеятельность. Земства подобны железам в организме: очагам деятельности «на местах», очагам «тут же» разряжающейся энергии, целебной и необходимой для небольшого и ограниченного района... «Земское начало»... было неосмотрительно пригнетено и даже уничтожено Петром Великим, который извел свою реформу из своей личности и имел против себя народ. Возникла «бюрократия» как личный орган царя,— проводивший в стихии народной реформы, какие царь находил необходимыми, полезными, благотвор-

ными для народа и просветительными. Явилось «пассивное тесто» народного организма, и в нем — нервы и жилы, чиновники. Так шло дело до Александра II. Страна решительно начала ослабевать, так как тело народное или тесто народное начало киснуть и прокисать, червиться, гноиться, болеть. «Чиновники не везде поспевали», «нам не разорваться»...

Пришлось восстановить «железы»: очаги местных раздражений, местных энергий, местных сил и жизнедеятельностей». Пожалуй, вся советская история с ее приливами централизаций и децентрализаций, с превращением опекаемой свыше русской провинции в безвольное «тесто», ждущее указаний из центра, с превращением центра в скопище нерадивых чиновников, «партократов» с их высокомерием к людям у своих парадных подъездов («нам не разорваться»!) — это ли не итог гонений на земства?

* * *

Позиция Солженицына — летописца, арбитра, высшего судьи исторического процесса — несводима к каким-то пронзительным тезисам, образам, символам. Напрасно сводят ее, скажем, к картинке «звездочета» Варсонофьева:

«— История растет как дерево жизни. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите. Или, если хотите, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд и надо перепустить ее в другую, лучшую яму... Но реку, но струю прервать нельзя, ее только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать ее на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи».

Это одна из многих точек зрения... Позиция писателя прорисовывается и в изумлении перед завораживающими догадками: а ведь «красное колесо» катится еще из XIX века! Тогда русское общество «побежало за Чернышевским», поверило, что «дело прочно, когда под ним струится кровь». Сложное самовыражение позиции — в нагромождениях предысторий (Столыпин, Шипов, Богров и др.). Ведь быстро, как по линейке, пробегают через пространство эпохи Бубликов и Масловский, которых «впитала» революция, два **быстроумных** советчика председателя Рабочей группы Кузьмы Гвоздева Гутовский и Пумпянский, ловко «ориентирующих» этого работягу в мире лозунгов, программ, дающих ответы на все: «И все ответы — быстрые, все — разные, и все — правильные». Даже постоянные метания мысли —

от сожалений по адресу либерализма, средней линии до свирепого обличительства «практиков» либерализма — тоже очерчивают позицию. Пафос народопоклонства (воплощение его тот же Благодарев) сменяется у Солженицына горестной, саркастической, почти страдальческой нотой. В духе все того же К. Н. Леонтьева, предупреждавшего задолго до вакханалий уличного права, до порывов «революционности» матроса Железнякова:

«Русский простолюдин наш, освобожденный... во многом с нами юридически уравненный, вместо того, чтобы стать нам примером, как мы, «националисты», когда-то смиренно и добросердечно на него надеялись, стал теперь все более и более проявлять наклонность быть нашей карикатурой,— наклонность заменить почти европейского русского барина почти европейской же сволочью, с местным оттенком бессмысленного же пьянства и беззаботности в делах своих».

Да, петербургская улица в «Марте Семнадцатого» — это уже зловещая карикатура... на Думу.

ПИАНИНО, ЗВУЧАЩЕЕ КАК ОРКЕСТР?

Однако самое очевидное выражение все теснее обступающих Солженицына загадок и тайн, иррационализма истории — непрерывно меняющаяся манера повествования, смешение жанров и язык «Красного колеса». Древо жизни — древо истории — растет, выбрасывает ветви... Как вместить его, не урезая, в теплицу, в клетку романа?

Одним «надстраиванием», расширением пространства в сторону, вбок — делу не поможешь. Хроника вообще не может «принять весь материал, какой сохранился», не способна соединить «скульптурность и необычайный динамизм» (из телеинтервью А. И. Солженицына Н. А. Струве, 1976). Еще в меньшей мере полезен расхожий беллетризм, мешающий уплотнению материала...

Что остается?

Леонид Ржевский очень точно определил особенности повествовательной манеры Солженицына в «Августе...» и предсказал трудности, поджидавшие писателя:

«Манера эта *монологическая*... Персонажи «Августа Четырнадцатого» часто только *рассказаны* автором и доходят до читателя только с авторских слов. Используется, разумеется, и диалогическая речь, но голос рассказчика — информатора и отчасти судьи — сплошь да рядом перекрывает другие голоса...

Несколько утомленный ею, читатель закрывает и вновь открывает книгу, ищет *движения* и более тесных контактов

с героями, которым автор предоставил главное и *самостоятельное* действие».

* * *

В «Октябре Шестнадцатого» Солженицын прежде всего пробует резко обогатить возможности монологического повествования. Уже начала монологов в различных главках построены или в резко саркастическом, или в патетическом плане. Подробности, составляющие решающий «звук», повторяются дважды и трижды,читатель нередко предполагается как прямой собеседник.

Вот как звучит монолог о Шляпникове, ломовой лошади и гончей собаке питерского подполья в феврале 1917 года, в главке 63:

«Кому что прирождено. Тебе — *глаза на затылке*, уши на шапке, *чутье — не по запаху*, даже не по приглядку, но неизвестно чему, спиной одной: шпик!.. Ну, и ноги, конечно. У кого ноги слабые, от такой жизни быстро свалишься. *У кого ноги слабые — за подпольную работу, да еще в таком городе, как Питер, лучше и не берись.* Как говорит мамаша Хиония Николаевна, волка ноги кормят. Так и подпольщика, *ноги одни и выносят*».

Плебей, бегунок революции... Существо с ногами, но почти без своей головы: «все, что внутри мутит,— в ходьбу уходит». Человек — функция... Все ушло в работу по доставке брошюр, листовок, проверке исполнения директив, которые вырабатывают «теоретические и *перьевые* силы» в эмиграции... Вместо самостоятельной духовной жизни в сознании Шляпникова, как голос с чужой пластинки, звучат доводы и укоризны Ленина: «Товарищ Беленин, *не гипертрофируйте* трудностей. И не пренебрегайте *теоретической спевкой*, за вами это водится...»

Фактически сквозь форму монолога то и дело проступает... диалог и даже весьма сложный. «Бегунок» Шляпников, будущая жертва террора, лидер «рабочей оппозиции»,— прозревший почти сразу же после Октября, увидев, что революционный пролетариат потерял даже право на забастовки,— явно разрушает, раздвигает форму *рассказа* о себе.

Конечно, это именно *прием* подачи, раскрытия той или иной фигуры. А согласно эстетике популизма (и пророческой миссии!), прием должен быть очевиден, понятен. «Темных» метафор, загадочных символов быть не должно. Если «ноги, волка кормящие», да еще впечатанные в мозг упреки Ленина как бы и исчерпывают суть Шляпникова, то свой **прием** виден, нагляден, расчетливо применен и при явлении на

сцену других персонажей. Вот, скажем, Ольга Андозерская, излагающая многое из взглядов И. А. Ильина о природе монархии, говорит в гостиной у Шингарева:

«При наследственной монархии нет периодической тряски выборов, ослабляются политические раздоры в стране... Республиканские выборы роняют авторитет власти, нам не остается уважать ее, но власть вынуждена угождать нам до выборов и отслуживать после них» и т. д.

Но при всем этом героиня «с проворностью знающей хозяйки» выкладывает на скатерть «отполированные столовые ножи». Она протирает их, и вот уже... «легли широкополотенные *негибкие столовые ножи* параллельно — *и сверкали*».

Заемные, отчужденные мысли Андозерской тоже крайне строгие, но холодные и, конечно, негибкие...

Кстати, здесь же, в гостиной, сидит и еще один «мозговик», либеральная перьевая сила, сидит, «выложив перед собой *как отдельные инструменты, зубные ли клещи огромных размеров или гаечные ключи*».

Откуда взялся этот прием: превращения части в целое, даже в некий фантом, превосходящий целое, подавляющий его?

Нагляднее всего он, пожалуй, проявился при описании хитростей, игры Богрова с охранкой в канун убийства Столыпина. Выдумки его, фантазии о террористах, якобы прибывших в Киев и даже поселившихся у него в доме, тщеславные помыслы об убийстве царя («слабый нажим указательным пальцем — и нет... целой династии») — все навертывается, нанизывается на образ **голого шеста**, по которому лезет, падая, соскальзывая, Богров. Его воля, психологический стержень, на вершине которого сияющий купол деяния, террористического акта, воплощены в образе этого шеста:

«Шест как будто прочный, выкопан, но наверху, уже близко к куполу,— как раскачивается! вот сбросит?»

Как видим, монологизм повествования, отмеченный Л. Ржевским, не исключал использования и приемов гротеска, шаржирования, приводил в действие все многообразие иронической мысли. Часть, которая больше целого, существенней целого? Ноги Шляпникова или мысли-ножи Андозерской, мысли — гаечные ключи приват-доцента, шест воли и отчаяния Богрова — все это восходит и к образной системе условного театра, и, конечно, к бессмертным гоголевским «Носу» и «Петербургскому проспекту».

Одной из вершин этого расширения полномочий и возможностей монологического повествования станут в «Октябре Шестнадцатого» все эпизоды, связанные с нашествием

«красного колеса» революции именно через дробные, мелкие деяния, через работу примитивной, но, увы, неостановимой «серой мышки», что как бы точит и точит ствол жизни. В 1916 году во время выступления инженера Дмитриева на одном питерском заводе — он убеждает рабочих делать для своих же солдат, истребляемых из пушек Круппа, новую пушку — из-за спин многих раздался петушиный крик люмпена Кеши Кокушкина, «изложившего» очередной популистический лозунг:

«— А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пущай ее немцы заберут!!»

Все не случайно у Солженицына, у гения борьбы: и последующий отчет функционеров в подпольном комитете («Вы Кокушкина ведь готовили не постепенно? Сразу, да?»), и сама фамилия усвоившего две-три взрывные фразы статиста из рабочих (село Кокушкино под Казанью — место первой ссылки В. И. Ленина), и последующий рассказ о мастере создания рыболовной сети, ловце душ, составителе листовок, говорящих с народом на языке популизма.

«Товарищ Вадим» — Матвей Рысс — состоял в литературной коллегии ПК (Петербургского комитета.— *В. Ч.*). Он был специалист по листовкам и почти за час уже начисто мог горячим убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу («бросайте душные своды тюрем труда»), или, напротив, не выходить («не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь»), попеременно обратить гнев то на «романовскую шайку потомственных кровопийц», то на «акул отечественной промышленности», то на «безнадежную мещанскую тупость социалистов-ликвидаторов»... Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия, умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули,— и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, «колесницы милитаризма» или «коммивояжеры шовинизма», «коронованные убийцы» или «измученные невзгодами братья»...

В сущности же глава «Ленин в Цюрихе» больше всего устрашила Солженицына (при всем обилии сарказма в солженицынском Ленине есть и весомая часть божественного гнева автора, его возмездия керенщине!). Страшнее, безумнее, иррациональнее всего — эта ранняя машинизация, бюрократизация всей работы по свершению революции, возникновение «машинного отделения», «капитанских мостиков», люмпенов и господ на всем корабле революции. Перед

этой машиной будет бессилен и сам Ленин. Кошмар истории в том и состоял, что поступь Командора и тяжкое пожатье его каменной десницы, убившее всякую игру жизни, ее органические начала, вовсе не овеяны были каким-то сверхбытовым ореолом. Это потом возникнут фальсификации и легенды. Мировая дьяволиада может явиться... чрезвычайно прозаично. Она способна профанировать даже страхи относительно себя. Ну, чего вы боитесь, «русский черт» — такой домашний, такой примитивный!

ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

Мог ли Солженицын — при столь обостренном желании обогащать монологическое повествование — обойти язык, всевозможные способы языкового расширения, «сгущения образа» (А. Потебня)?

Безусловно, не мог. Один из компонентов его бунта, его пророческой миссии — борьба с замутненным языковым сознанием, с безликой идеологизированной речью, с новоязом, в который плывут «бюрократизмы», сигнальные слова, культивирующие беспамятство. Он давно заметил, что есть уже и новояз либералов и террористов. «Пир свободы», «увенчание здания» (т. е. дарование конституции); «террор не убийство, это — апогей революционной энергии»; «да, вступают дикие, необузданные силы — но этому надо радоваться! Это значит: мы живем не на кладбище!» — эти фразы тоже полны фальши, безответственности. Они полны той же «бесперебойной машинности», что и набор штампов из большевистских листовок, сочиняемых Матвеем Рыссом.

Где же язык, который не лжет?

В рассказе «Матренин двор» Солженицын, перебрав несколько названий деревень — Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово,— сказал, что «ветром успокоения потянуло на меня от этих названий». Эти имена, как и название села Высокое поле, как раз и имели желанную особенность они не лгали. Рядом с производственно-социалистическим названием поселка «Торфопродукт» эти слова имели душу, неразложимое ядро, они не несли в себе раздражающего психоза или искусно встроенной лжи. Высокое поле и было на взгорке, на свету, «цельно-обомкнутое лесом», да еще с прудом, зеркально умножавшим простор.

Читатель «Красного колеса», вероятно, почувствовал уже в «Августе Четырнадцатого» некоторые изменения внешней формы слова с помощью игры суффиксов, приставок. В отдельных фразах стали являться характерные неологизмы. Солженицын как бы не отходил от пианино, не создавал

многошумного оркестра, новых групп инструментов, но многие ноты в его пианино уже звучали весьма необычно: «весь охвачен *свербежом* от упущенных дел», «*охолодение* Воротынцева», «они *дружественели*», «2-я армия начинала на *кое-какстве*» (т. е. на авось), «весь оживился, *поделовел* Чернега», «воронье *смельство* (вместо смелость.— *В. Ч.*) Жилинского», «лицо ее *жестело*» (не от «жестокости», а от «жести»), «*зеленохохлый* соснячок», «*ощитить* ее», «*не согбясь*» (скорее от «согбенный», нежели от «согнутый») и т. п.

Эти способы языкового расширения, а говоря языком великого русского лингвиста А. А. Потебни, создания еще неизвестной, неготовой мысли, усиления метафоричности языка, извлечения забытых «восприятий, опустившихся на дно души», имеют у Солженицына глубоко осознанный характер. Что ругать ту же Думу на языке... ее же ораторов! Здесь в ходу стертые слова, толчея слов. Оценка Государственной Думы, кипятильника словоговорения, где, по определению В. В. Розанова, «досыпали «сон Обломова», сидели «на дне» Максима Горького и, кажется, еще в «яме» Куприна», потребовала от Солженицына использования Вл. Даля, создания неологизмов: «*неработоохочая* Дума», где царят «*речевитые* главари». Она (Дума.— *В. Ч.*) «чередой ничтожных министров будет **вышатывать** Россию...». Естественно, что «Дума *громчела, резчала...*». А у Милюкова — «*копыта торможения*», а Родзянко — «*кипливый*».

Отвратительное воплощение карьеризма, продажности, типичное дитя жадной толпы у трона генерал Курлов — «вгрызчивый *крысо-хорек*», который «*овражденел* к Столыпину». Под стать ему масса мелких карьеристов, тупых морд, «*забывшихся* в своем чине, не *проразумляющих*, что такое долг».

Сложное отношение Солженицына к Николаю II выражено и в отношении его к министру Кривошеину, фактически обманувшему доверие царя («государь *отемнилєя*... отвратился от Кривошеина»). И в неологизме — «*зацарился*», т. е. «забылся, царствуя, перестал ощущать себе пределы».

При изображении революционеров, русских и международных, тот же принцип сгущения мысли, борьбы с «новоязом», либеральным или большевистским, идея развития «врожденного человеку стремления обнять многих одним нераздельным порывом мысли» (А. Потебня) часто смыкались с постоянной иронической оценкой, с сарказмом.

Кто слушает в 1916 году Ленина в Цюрихе? «Простоватый, широколицый слесарь Платтен (слесарь для большей

пролетарности, а руку сломал, чертежником стал...)». Как добивает Ленин-полемист своих оппонентов? Тут царствует митинговый пафос, каскад нагляднейших доводов, нарастание и напор мысли. Любая первичная жертва, даже восставший округ в Швейцарии, открывает безграничность мировой революции: Лениным владеет идея обвала, мирового пожара... Тут Солженицын явно «подмешивает» в монолог Ленина некую дозу своей ироничности: «И лбом **котловым**, когда стенка пробита, *доталкивал, доталкивал*:

И оружие вот — есть!

Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии — баррикады! А в Швейцарии — революция! А в Швейцарии — три главных европейских языка! И по трем языкам в три стороны па-льется революция по Европе! Швейцария — центр мировой революции сегодня».

Но даже ирония и все каскады доводов, водопады гипербол («более *подлого, гадкого* лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии» — о Каутском!), намеки на болезнь в кипящем мозгу Ленина («а болезнь — *грузнела*, иногда *расхаживала* и скребла») не убили в Солженицыне дара справедливости в отношении его главного оппонента. Пусть и в решающей сцене — отказа Ленина от грязных денег Парвуса, денег немецкого Генштаба — еще раз мелькнет иронически тот же лоб котловый: «Ленин *катал и катал шар головы по письму...*» Но главный вывод звучит совсем не иронично: «...идеи долговечнее всяких миллионов, без миллионов можно и перетерпеть... С алым знаменем Интернационала можно и еще 30 лет переждать.

Сохранял он главное сокровище — честь социалиста».

* * *

По сути дела, Солженицын — своеобразный словесный нумизмат, часто археолог языка. Если для собирателей монет любая их находка — это «металлическое зеркало, отражающее весь древний мир», то для него слово, которое он тоже рассматривает, кажется, с лупою в руке,— это средство для предельно осязательного отношения к миру, к личности. Монета — чаще всего маленькая «икона», но одновременно она же и «мундир» эпохи, и миф, позволяющий о многом «догадаться», что-то предположить. К тому же помимо монет Солженицын-нумизмат использует и знаки быта, уличные вывески, голоса молвы, анекдоты, профессиональные жаргоны.

Для инженера Ободовского вполне естественно подумать о лозунгах забастовщиков: «Они этими партийными лозунга-

ми *заклепаны* так, что не *прошевельнуться*». Алина Воротынцева, чеховская «душечка» и отчасти купринская полковая дама, так и не выходит из набора словесных клише, относящихся к ее поискам вечной любви: «...его (мужа.— *В. Ч.*) так рано поразила общая *старость* чувств, *атрофия* жизненных влечений», «он дал нагрузить себе душу как *обломками* железа и вместе с ними тонул... и ее же *утапливал* в своей безнадежности». Адвокаты — гости семьи Корзнеров — вспыхивают от неподдельных шуток и гримас окружающего мира: «И давали волю остроумию, особенно — о казнокрадстве, о чиновничьей продажности: слишком поздно увидел объявление *«принимают от трех до пяти»*, эх, а я, дурак, дал десять! Или — как нужно понимать секретарей и младших чиновников: «мало *данных*», «придется *доложить* начальству?», «надо *ждать*» или «надо *ж дать*»?»

Конечно, монологическое повествование — этот узкий ручей — явно «вздувается», бурлит в тесных берегах. Это почти жизнь в формах самой жизни. Но только почти...

Слово Солженицына в результате языкового расширения напоминает часто отчищенную, но и перечеканенную монету, подправленную вывеску, где старое изображение («внутренняя форма слова») окружено полутонами, новыми подробностями, изменено с помощью приставки или суффикса. Думские *речевитые* главари превращаются в «Марте Семнадцатого» в *«речунов»*. Речь Чхеидзе в дни катастрофы — с ее «колченогим смыслом и общими местами гимназического багажа» — оценивается с помощью особого неологизма: «Это глаголанье в раскаленной пустоте, до визжанья, до *свинголоса*» (т. е. хрюканья? — *В. Ч.*). Гучков, одинокий во Временном правительстве, «истратился в споре, *обезнадежел*».

Тщеславный полковник Грузинов в Москве не просто являлся куда-либо, а *«фигурил»* среди *говорливцев*...

Конечно, эти новшества не меняют, как мы сказали, в целом монологического повествования: «Красное колесо» во всех его «узлах» напоминает театр с ярким освещением, падающим все же из единственного точечного источника — от автора.

Он то подносит фонарь к тому или иному герою, то уводит луч. Автор вносит в речь яркий словесный мазок или, наоборот, заполняет ее риторическими высказываниями. Иногда эта стандартная уличная речь митингов попросту уничтожает, обесцвечивает говорящего, делает его бестелесным. Даже Шляпников, подойдя к одному «микромитингу», не смог... разглядеть оратора:

«Глухая ночь правительственной реакции! Обман обороны отечества! Дешево обошлась им (царю.— *В Ч*) победа в Девятьсот Пятом... Долой кучку бандитов, затеявших войну! Распутинское правительство..

Бойко нес И слушали — без возражений. »

Но не следует забывать: и это тень тени... Шляпников все же в основном «рассказан», и событие в целом тоже настолько изображено, насколько «рассказано»... Время пребывания на сцене для каждого героя тоже отмерено, «прожито изнутри» прежде всего автором. Только он может свести нечто значительное в истории к фарсу и, наоборот, фарсу придать ореол значительности. О постоянном присутствии автора, его подмигивании, подсказках читателю говорят и все пословицы, замыкающие главы, «узлы» и «узелки»: «Была бы изба нова, а сверчки будут» (о риторике сверчков, лозунгах газет после Февраля»,— «наша обязанность — *превратить чернь* в демократию», «*пулеметная поступь* Российского государства» — кого не захватит? — и т. п.); «Акуля, что шьешь не оттуля? — А я, мамочка, еще пороть буду» (о нелепых шагах демократических правителей, начинающих среди хаоса... с разрушения всякой власти!); «И дальняя сосна своему бору веет» (о победе чувства Родины в эсере Ободовском над «теоретизмами» и присягой); «Беги-беги, да не зашиби ноги»; «По мне хоть пес, лишь бы яйца нес» и др.

Языковое расширение во многом обогатило изобразительные возможности, усилило частично эпическую природу романа-хроники.

* * *

Кто же, по Солженицыну, прежде всего «вышатывал» Россию? Кто прочно оседлал общую беду страны в 1917 году, «развернул», так сказать, ее трагические противоречия в критическую массу и превратил возможность хаоса, грабиловки, новой пугачевщины в мрачнейшую действительность?

Герои «Красного колеса» как романа-диспута, романа-исследования, естественно, не молчат и об этом. Они ищут виноватых...

Можно присоединиться к мнению Воротынцева, считающего, что виной всему — война. Плохо, бездарно начата, не задалась **эта** война, **не там** наступали из-за слепой преданности Франции. Виноват ее «перемежно-несчастный ход» в 1915—1916 гг. Она скоро превратилась даже не в жертвоприношение, а в мертвоприношение. Ах, эти балканские легенды о братьях-славянах, мечты о наследии Византии! Зачем, зачем было вмешиваться «в европейское галдежное безумие»? Война возникла — «от жира Европы»... А кому на троне дана была возможность не бултыхнуть в эту

войну, как в прорву, миллионы захлебнувшихся Иванов? Придворной камарилье, окружавшей царя... Но трон — это самое выморочное место в России! «Им послан был Столыпин, человек великого напряжения и дела,— они его отвергли, свергли, дали убить»,— печалится Воротынцев. Оставить бы Россию неподвижной глыбой над пестрым разодранным континентом!

Солженицын порой заставляет Воротынцева мыслить в духе Н. Я. Данилевского, который еще в XIX веке предупреждал: «Европа не случайно, а существенно нам враждебна; следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собою, может она быть для нас безопасною».

В 1914 году возобладало тщеславно-унизительное желание «втереться» в европейскую семью («будто нас в нее приняли»), увлекла попытка уловить «случай на лету». И что же? К 1916 году — видит Воротынцев — армия переживает состояние, которое хуже усталости: она вся — в застывшем недоумении. «Так и умирают — недоуменными. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только: умирать!» — горько сетует Воротынцев.

Тыл, по существу, грабит армию: нет стальных касок у русских солдат, по-прежнему «немцы воюют с тяжелой артиллерией, а русские — с Богом». Новое оружие... В газах, огнеметах для русского православного воинства есть что-то «демоническое, дьявольское, не земная борьба».

Война явно губит и всю страну. «Как же могла страна воевать, когда все образованное общество открыто (и для врага) требовало поражения?» — продолжает Воротынцев свое мысленное ратоборство с крикунами, ура-патриотами, не корчившимися в сырых окопах Галиции. «Наш **корень** выбит»,— говорит он генералу Свечину.

В диалогах у деревенского кооператора Плужникова, в монологе земского деятеля Зяблицкого уже звучат скорбные догадки о временах, когда хлеб, «кровнорощенный», будут силой из амбаров отнимать (тема будущего мятежа Антонова). Совсем далекая беда — разрушение кооперации, запрет всяких «малых дел», тема «огромного всечеловеческого встряха», т. е. раскрестьянивания,— тоже не столь далека.

Но война ли всему первопричина?

Взгляд Солженицына, его драматичные «экраны», обзоры эпохи, зеркала воображения — и с некоей иррациональной высоты, и с уровня бесед в окопе, сельской лавке, купе поезда! — гораздо полнее охватывают, резче рассекают исторический поток, чем мнения героев. Война все-таки частный случай вторжения зла, его недолгое сгущение во

времени и пространстве. Не к одной войне как первопричине сводится Солженицыным горькое похмелье Февраля и Октября. Вспомним этот жуткий образ З. Н. Гиппиус из 1917 года:

Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!..

Страна грешна и для Солженицына, но... Войной не объяснишь ни множества трещин, что «зазмеились» в почве, ни угнетенного состояния, чувства непрочности, мрачные сны у Евпатия, у Ирины Томчак в ухоженном ее доме под сенью вечного «Хребта». Она видит ночную степь, костры:

«*Благодатная Божья скатерть-степь,* и в эту войну нескончаемую, сюда не слышную и не видную, все так же отдавала неуменьшенные дары человеку и только просила не забывать ее руками.

Если сейчас посмотреть с балкона второго этажа — степь увидится в разбросанных этих кострах. И вдруг — так тревожно привидится: будто это стали на ночлег *несчетные кочевники, саранчой идущие на Русь*».

* * *

Кочевники, грядущие гунны?.. Недавние и новейшие «бесы», что «отемнили», говоря на языке романа, лик России?

Метафор гнева, печали, возмездия у Солженицына чрезвычайно много. Его, может быть, даже пугает эта невероятная метафоричность истории, повседневного быта в кризисные эпохи. Простое завыванье ветра, а в памяти уже оживает строка Пушкина: «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Ошалевшая либеральная толпа, угодничающая перед солдатами, не желающими идти на фронт, даже перед люмпенами, швыряющими в казаков горящими поленьями,— и опять зреет метафора:

«И крутится, крутится головня, отдымливая, сливается **красным колесом**...»

Можно сказать, что Солженицын — незаурядный лирик: невысказанные, толпящиеся на пороге души метафоры собираются в нем, он готов перейти на их темный язык. Но... В какой-то последний момент Солженицын сворачивает на «скучную» тропу исследователя, иллюстратора, археолога истории. Он словно не хочет быть форелью, играющей в водопаде самодовлеющих метафор и символов, обобщений, уводящих за пределы грешной земли.

Вместо кочевников, гуннов, скифов и тому подобной «метафорической блевотины» многих поэтов начала века («революция духа — комета, летящая к нам из запредель-

ной действительности») — в романе возникает очередной расклад партий, течений, свод документов, весь политический театр.

* * *

На первый взгляд среди всех кочевников, гуннов, «бесов», что уже распространяли запах серы и динамита в России, главными недругами должны были быть у Солженицына цареубийцы XIX века, террористы, люди Бориса Савинкова и провокатора Евно Азефа. Впрочем, они практически неизбежны друг для друга: блестящий террорист и изощренный провокатор... Ведь правительство, увидев великое множество юных, идеальных душ, шедших «революционерить» из дворянских усадеб, из генеральских квартир, неизбежно должно было попробовать загрязнить, опошлить этот идеальный порыв. Плеснуть грязью в жгучий идеализм! Двинуть против Христа от революции... Иуду от революции же!

Можно, можно было ожидать от карающего пророка Солженицына вторжения именно в это подполье, в этот жуткий вулкан. Если люмпен-плебейский переворот отвратителен для Солженицына даже в его героях, во всех его кумирах и будущих святых, в дзержинских и крыленко, то, казалось бы, он должен был раньше всего высмеять именно слепых, зараженных психозом жертвенности и отвлеченного бесчеловечения виртуозов террора, химиков из лабораторий цареубийц?

Но странно — Солженицын в своем обширном обвинительном заключении в адрес многих слоев «зачумленной» русской интеллигенции, в том числе эмигрировавшей или погибшей в ГУЛАГе, как-то неожиданно пожалел эту «ветвь» идеализма, это странное русское племя утопистов-мечтателей с бомбами в руках. Всего лишь с брезгливой жалостью писатель воссоздаст — в беседе двух бабушек русской революции Адалии и Агнессы со студенткой Веруней, вербуемой ими,— историю покушений, взрывов, нервных припадков в миг жертвования собой, эшафотных вещаний, сводимых к популярной формуле: «Хорошо в царя всадить обойму». Вероника пробует поспорить с железными старушками: «Ах, тетеньки, вы хотите нам навязать **прогресс**? Но все политически-прогрессивное — очень отсталое культурно...» Ее не удостаивают ответа и вновь приобщают к летописи взрывов, к календарю убийств, к судьбе «Железной Софьи», к особой, внеличной морали борцов:

«Пусть лжет — но во имя правды! пусть и убивает —

но во имя любви! Всю вину берет на себя партия. Лишь бы революционер не совершил преступления против духа святого — против своей партии! Все остальное ему простится!»

Но эта беседа и ретроспективный обзор дел «торреадоров» терроризма, по существу, исчерпывают тему (и вину) террора. И дело не в том только, что Солженицын нередко не склонен жалеть «быка», т. е. окаменевшую бюрократию, которую ничем, кроме динамита, не пробудишь. Его, конечно, отталкивает психологическая пустота, одномерность, плоскость «тайн» в душах, в самом ремесле террористов. «Здесь» тот главнее, чье дело — смертельно опаснее! Здесь живет жажда шума, опасности, зрелищ — пусть «бревна валятся», пусть «стропила падают». И никаких тревог о том, что слишком многих невиновных эти стропила могут и зашибить. Почему-то предполагается, что детей-сирот как бы и нет у взорванных великих князей, у генерала Тотлебена, героя обороны Севастополя в 1853—1854 гг., что достаточно благословения «на акт», на убийство от очередного Савинкова — и сняты все моральные проблемы... Ключом бьющая энергия бомбистов говорила об ужасающем творческом бессилии, о безбожном извращении даже женской природы. «Наши женщины жесточе нас»,— скажет народоволец Кибальчич.

Но почему все же Солженицын «свернул» эту тему до утрированного, как мы видели, рассказа бабушек революции? Конечно, не потому, что он только осудил их путь, присоединился к знаменитой формуле В. И. Ленина, высказанной после известного деяния брата-террориста в 1887 году,— «мы пойдем другим путем». Этот «другой путь» Солженицын прекрасно знает в началах и концах, и он-то его ужасает еще больше. И делает снисходительным к тем, кто убоялся ленинского, т е. «другого, пути»

Георгий Иванов, «Арион эмиграции», главный носитель ностальгической «парижской ноты», с иронией сказал о террористах как о слепом «таране», почти полвека, со времени выстрела Каракозова в Александра II, колотившем в стену царского дворца:

...Богоискатели, бомбометатели
В царском дворце, в Чухломе, в каземате ли.
Снились вам только лишь сны золотые...

Сны — золотые, радужные, но почти директивные... Сны эти перестанут сниться народовольцам и боевикам-эсерам или предстанут вовсе не золотыми (снотворное выветрится!)... лишь в «империи зеков». И, увы, лишь отчасти — в эмиграции.

* * *

Снисходительность Солженицына ко всему ордену боевиков, конечно, вызвана не тем, что они «проснулись», очнулись от наваждения, от золотого сна в 1917—1918 гг. Очнулись не все. Многие дожевывали свои программы, прожекты уже в эмиграции. Другие — вроде истеричной эсерки Марьи Спиридоновой, незадачливой «героини» эсеровского переворота в июне 1918 года,— «проснулись» на миг, может быть, лишь летом 1941 года. И где? В Орловском централе, когда их спешно, за сутки до прихода танков Гудериана, списывали в расход...

Отчасти эта снисходительность рождена усталостью, безнадежным отчаянием Солженицына-пророка. Столько во всей эпохе банкротств, просчетов, игры с надеждами людей! И как вдохновенны именно слепцы, одномерные существа! Решетка ГУЛАГа, сквозь которую он смотрит на эпоху великих потрясений,— это и увеличительное стекло. Правда, весьма опасное, что-то искажающее, что-то скрывающее...

Впрочем, усталость и утомленность от зрелища банкротств — эсеров и меньшевиков, октябристов и монархистов — далеко не всегда рождают в Солженицыне сострадание и прощение. Ирония — неизбывное состояние его души. Он в ее власти. С какой злостью он скажет, например, об очередном банкроте, либеральном инженере Бубликове, рвущемся в марте 1917 года в маршалы революции! Ирония Солженицына — превосходная известь, скрепляющая повествование: «Никак не хотела русская революция *вобрать в свою корону Бубликова* — но он-то знал, что был бы лучшим ее украшением просто дикая была несправедливость, что революция не *впитала Бубликова.* И он как мог карабкался в нее встроиться. В окружении Родзянки услышав, что готовится думская депутация сопровождать царя из Ставки,— Бубликов тотчас выхлопотал быть главой депутации».

Все дело, видимо, в другом... Собратья Перовской и Желябова, сподвижники Савинкова и Гершуни в известной мере пощажены Солженицыным потому, что многие из них еще до 1917 года надломились, надорвались, разочаровались в своем ремесле. Так, инженер Петр Ободовский задолго до Февраля ощутил, что не может больше принимать дешевое, театральное, безнравственное ремесло террориста: «Или я слишком чувствителен оказался?.. Это — такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида, выело все нутро,— и жить в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют — сесть. Руки виснут в плечах».

Он далеко не одинок. Почему так обреченно воспринимает успех своего акта террора даже Богров, убийца Столыпина? Духовное дитя Софьи Перовской и Бориса Савинкова, он видит, что так легко переигрывается им вся охранка: и «селезень», ротмистр полиции Кулябко, и «крысо-хорек» Курлов. А ведь они якобы нанимают его! Есть уже элемент такого идеологического, материального превосходства, такая власть над обществом через массовую культуру, что игры в революцию, в геройство превращены в поединки, где обесценены победы! Победа Ивана Каляева почти надломила его же. За многими «эшафотниками» маячит тень Азефа. А родные Богрова? Даже отец Богрова, видный коммерсант, не смущен детским революционерством сына: «Отец посмеивался: он уважал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнется. А легкое касание к революции и большие симпатии к ней — обязательны для всякого порядочного человека».

Все былые пороки народовольцев, в том числе замкнутость их ордена, пресловутое неумение «овладеть массами», узость и далекость от народа — как у Бакунина и у декабристов! — обрели вдруг иной смысл для Солженицына. Они, бомбометатели, как замкнутые сосуды, как бы не расплескали всю бесовщину, весь яд соблазняющей утопии среди сырых, доверчивых масс народа! Они действительно были и безрассудные бомбометатели, и неистовые богоискатели. Интуитивная догадка — не всякую идею надо нести в массы, делать ее почти неуправляемой, разрушительной силой — жила в этих праведниках. Она-то и привлекла Солженицына.

К тому же они, не вкусившие власти, несли в самих себе одновременно и грех, и возмездие! А. Блок, может быть, именно эту загадочную энергию юности («так мчалась *юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая*»...) имел в виду, когда избирал эпиграфом к поэме «Возмездие» парадоксальную строку Г. Ибсена: «Юность — это возмездие». Возмездие — самим себе...

Народовольцы, в сущности, сжигали самих себя, не особенно ожидая благодарности и даже глубокого понимания в своем времени. Они не знали, где «стерегут нас ад и рай» (Блок). Солженицын как бы спрашивает и отвечает: «Страшно далеки они от народа? И это немногое, что прекрасно в их судьбе...»

И самое, может быть, отрадно-наивное было в жизненном поведении этих хрупких гордецов, христиан, уверовавших в безбожие, что внушало уважение к ним Солженицына, узника ГУЛАГа. Даже обреченное, истеричное ремесло, работа со смертью Ивана Каляева и Веры Фигнер еще не

вносили в мир ужасного вида профанации — профанации смерти, попрания всякой тайны умирания, близкую уже статистику убийств.

ПОКАЧНУВШИЙСЯ КРЕСТ

Бомбометатели — крайнее выражение окаянства, почти дьявольского наваждения, исказившего былое правдоискательство. Их деяния задолго до 1917 года покачнули и Крест как живое напоминание о высших, надчеловеческих духовных ценностях.

Противостояла ли Церковь утопическим попыткам создать либеральный или казарменный Рай, вариант Царства Божия... без Бога?

Судьба православия, извечных надежд на русского Христа, на отечественную святость тоже осталась в «Красном колесе» почти вне поля зрения автора. На наш взгляд, некоторая математичность композиции, выразившаяся в скрученных «узлах», этих сгущенных «дифференциалах истории», поиски всяческих «вертикалей» (обобщений) в эмпирических событиях, растекающихся по плоскости,— все это в известном смысле подвело Солженицына. Окаянная смута, угроза русской духовности, множество драматических событий коллективной русской Голгофы — избрания патриарха Тихона в 1917 году и гибели его, как и тысяч священников,— остались как бы в стороне. Может быть, напрасно. Ведь именно 2 марта 1917 года, в самый день отречения Николая II, в селе Коломенском под Москвой была явлена икона «Державной» Божией Матери — в порфире, пропитанной мученической кровью, с царской короной.

Как заметил один из духовных писателей русского зарубежья, это был знак, что «Владычица не только не ушла от нас, но приняла на себя преемство Державы Российской и с нею тягчайшее бремя невидимой высшей власти... Его (знак.— *В. Ч.*) одним из первых понял Святейший Патриарх Тихон: «Зову вас,— обратился он к народу,— возлюбленные чада Православной Церкви, зову вас с собою на страдания».

Знаки скорби, знаки бессилия, грядущего мученичества... Их было много уже в канун катастрофы. Ведь столько десятилетий звучали в сознании голоса множества литературных изгнанников XIX века от Н. Н. Страхова, К. Н. Леонтьева, повторявшие призыв князя Мышкина: «Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали!» («Идиот»). Земля Богородицы, отчизна множества неземных заступников человека, страна,

где вечный поединок Егория-победоносца со змием (тема икон) вот-вот закончится победой Божественного копьеносца... Не такой ли рисовалась Россия?

Почему же он, Христос, так и не воссиял? Куда же делись все святые и заступники в час нашествия силы, скрытой во тьме?

Солженицын с бережностью летописца раскрывает возвышенный смысл литургического действия в церкви в селе Арсения Благодарева. Он говорит о пагубности раскола в XVII веке, об антихристианских началах в интеллигентском максимализме. Само отпевание погибшего в Восточной Пруссии полковника Кабанова — в лесу, с группой солдат — убеждает Воротынцева, что есть нечто, объединяющее его и народ, но более высокое по духовной природе, чем народ. Досказывая, формулируя эти же жизнеощущения, другой герой скажет: «...молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?»

Вся православная церковь для Солженицына — мистическое тело Христово. Себя самого он видит в этом духовном пространстве «маленьким подмастерьем под небом Бога». Это жизнеощущение еще не угасло и во многих его героях. Если бы этого тепла в душах не было, то сколько свершилось бы бессудных расправ!

Но во что выродился уже в канун Февраля труд многих строителей града Божия, т. е. церкви, на русской земле?

Солженицын знает о глубочайшем кризисе обезглавленного, еще при Петре I, русского православия. Управляемое Синодом из петербургских канцелярий русское православие превратилось в дерево с высохшими ветвями, омертвевшим стволом. «Медное войско» иерархов церкви, окружившее Синод, как бы оторвало и заслонило Христа от народа, превратило веру в обрядность, в набор ритуалов. Православие стало частью императорской России, одним из ее пышных, но безжизненных фасадов. Живую душу православия сохраняли, скажем, оптинские старцы, сама традиция «старчества», отвергавшая официозность, помпезность, выражавшая извечную жажду всеобщего спасения, нравственного суда над неправдой, Антихристом. Царская семья в изображении Солженицына тоже ищет прямых связей с народным сознанием, помимо Синода. Но кто усердно вписывается — в глазах царицы! — в декоративный образ народной России? Грязный мужик Распутин! Это было ужасной профанацией якобы «священного единения» самодержавия и крестьянства!

Солженицын, правда, отмечает и диссонирующие ноты в этой фальшивой мелодии единения царя и «земли» (народа). То вдруг звучит неожиданно прозорливое пророчество столетней новгородской старицы в тесной келье относительно судьбы царственной гостьи: «Протянула высохшие руки: «Вот идет мученица царица Александра!» То вдруг самой царице откроется, что знаки спасительного чуда, самые таинственные, исходящие якобы из глубин народной души... организовал премьер Протопопов!»

* * *

Отец Северьян, полковой священник, пришедший мокрой осенью 1916 года в блиндаж к офицерам — с малым саквояжиком для службы, в сыром пальто, буквально прилипшем всей мокротой к рясе,— предельно далек и от официальной парадности, и от того грозного величия, которое вселили в Саню Лаженицына служители московского старообрядческого храма. Там и иконостас суровый: «без накладок, риз, завитушек, строгая коричневая единость — одна молитва, и поежишься перед Спасом — Ярое Око». Вся служба вселяла испуг: «И кажется: это мы все — преходим, а они — не прейдут».

Здесь же — хрупкий, тоже преходящий, измученный человек, жалующийся: «Да, я что-то подломился сегодня...» Он весь из забытого мира тихих русских церквей — в Руси уездной, сельской, где все ветхо, все «не очень», крайне бедно и просто. И дьячок здесь бежит на службу... с огорода, еще весь в огуречной росе, и у батюшки ряса далеко не новая. Почему же в них-то, этих церквах, было и тогда тепло, когда везде уже было холодно? В В. Розанов заметил по этому поводу «...люди надышали тепла» Поколение за поколением

Отец Северьян хранит такое же тепло, он болезненно переживает упрек Сани в адрес именно охолодевшей, оказененной Церкви:

«— И к чему же пришла? — к сегодняшнему плену у государства. Но любого пленника легче понять, чем Церковь. Объявила бренными все земные узы — и так дала себя скрутить?

— Вы-ы...— всматривался священник.— Вы это все — сами или...»

Огромная разница заключена в этом «или — или»: или сам юный офицер пришел к спасительной тревоге за церковь, или это очередная истолченная циничной прессой «прогрессивная» душа, знающая, как удобно, выгодно, надежно ругать церковь? Он угадал, что Саня пришел к мысли о церкви — пленнице бюрократии сам. Диалог был

продолжен. И возник характер — правда, опять в рассказе, вне действия,— доселе небывалый в советской прозе: это подвижник, ценитель народной души, болезненно переживающий, что тысячи злых душевных движений беспорядочно растекаются, никем не смягченные, в людской массе, что и из церкви люди уходят нередко «с необлегченной тяжестью». Зло возвращается к ним уже за порогом храма и обступает снова. Саня Лаженицын, вслушиваясь в гул артиллерийского обстрела, в этот голос ненависти, лишь усиливает горькие сомнения отца Северьяна.

Этот священник к тому же весьма «прислушлив ко всем переходам мысли», он памятлив к недавнему своему прошлому в Рязани.

Что было с ним там?

Уже на рязанской земле его служба проходила «в облаке насмешки и презрения от всего образованного слоя общества... и этим презрением отталкивался он... к мещанам, к тем неразвитым горожанам, еще тупо видящим смысл в свечах и церковном стоянии вместо чтения газет, посещения театра и лекций. Отец Северьян не краснел за свой сан, одеяние и не чуждался остаться бы в своем образованном слое, **но его — отталкивали**».

Вероятно, авторитет церкви, ее тихое величие спасло бы всеобщее усилие, благороднейшая попытка самых высоких умов: «...снизить все высшие начала, и снизить их до обыкновенного человеческого понимания» (А. Ф. Лосев). Но одновременно не упростить их, не обеднить в поисках ясности и четкости до популистских лозунгов. Образцом такого «снижения» великой духовности до обыкновенного человеческого понимания была икона.

Этого не произошло. Возникла пестрая «сложность» партийных программ, дешевых картин и популистская простота соблазняющих лозунгов, утопический дурман. Да и как не отталкивать скромного батюшку провинциалам, рабски повторявшим самые модные, льстящие даже явному люмпену, босяку так называемые «истины» о том, что нет ничего **выше** человека, даже его, босяка, что как бы и не было в мире образца человеколюбия, сострадания, всемирной боли! Деклараций Горького о жалости, которая, конечно же, «унижает человека», разрушает его победное самодовольство, зверскую аморальную силу, вещаний о том, что «**все** в человеке...» и т. п. Солженицын, правда, не затрагивает. Весь набор лозунгов из арсенала художественного популизма, убеждавший людей, что лучше быть сытой, не сомневающейся свиньей, нежели измученным сомнениями, вечным несовершенством Сократом, имеет слишком обширное смысло-

вое поле. Тут воистину — на каждый роток не накинешь платок. Но вот традицию богохульства, завоевания авторитета у всех разрушителей, моду на суетливое отталкивание православия куда-то на задворки, в «темные низы» или в исключительные души писатель обойти не мог.

Отец Северьян словно предвидит, к чему приведет это развязное, безответственное богохульство Демьяна Бедного, силовое отталкивание православия уездными безбожниками. Солженицын устами отца Северьяна, живого воплощения народно-низовой, народно-мифологической духовности, высказывает свой приговор даже величавым разрушителям церковно-православного сознания. Все они — невольные пособники «красного колеса», ускоряющие его ход и раздувающие его пламя. Достоевский — в глазах Северьяна — поддерживал усилия этой народно-низовой церкви перемочь казенщину, сбить ореол официозности, помпезности с имени Христа, он высоко оценил «старчество» в «Братьях Карамазовых», увидел в нем форму нравственного суда церкви над миром, над бытием. А что сделал Лев Толстой?

«Да читайте его книги. Хоть «Войну и мир». Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, и кто и где у него молится в тяжелый час? Одна княжна Марья? Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков много нашлось, а для православия? — нет. Так никуда он из православия не **вышел**, в поздней жизни,— а никогда он в православии не был. Пушкин — был, а Толстой — не был. Не приучен был в детстве — в церкви стоять. Он — прямой плод вольтерьянства нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков — не хватило простоты и смирения».

В отце Северьяне, уходящем после беседы, необычайно страстной, мучительной, в ночную тьму, в мир войны, отразился, безусловно, и лагерный опыт Солженицына. Сколько таких мучеников за родную землю прошло через Соловки и Степлаги, ведомых «на убой», на унижение! Прекрасно сказал о ссыльных священниках, о таких, как солженицынский Северьян, один из священномучеников:

...Цинготные, изъеденные вшами,
Сухарь изглоданный в руке...
Встаете вы суровыми рядами
И в русских Святцах, и в моей тоске.
В бараках душных, на дорогах Коми,
На пристанях, под снегом и дождем —
Как люди, плакали о детях вы, о доме —
И падали, как люди, под крестом.
Вас хоронили запросто, без гроба,
В дырявых рясах,— так, как шли...
Вас хоронили наши страх и злоба

Да льдистый ветер северной земли.
Без имени, без чуда, в смертной дрожи,
Оставлены в последний час...
Но ваша смерть палит, как пламень Божий,
И осуждает нас!..

МИСТЕРИЯ БУНТА: КТО В СТАДЕ «ХРЮКАЕТ И НАПРАВЛЯЕТ»?

«Общественный ветер»... Его можно назвать «интеллигентский угар»... именно он, дующий или наползающий изо всех подворотен, со страниц сотен газет, убивающий здравый смысл и волю к сопротивлению бесовщине, и стал в итоге главным героем «Октября Шестнадцатого» и «Марта Семнадцатого». Общественная атмосфера, ее диктат и подхлестывание, всеобщее желание — «пусть сильнее грянет буря!» Порой становится не очень ясным: пишет ли Солженицын под диктовку этого «ветра», сгущая, концентрируя все безумства людей-песчинок, или он, великий имитатор слепых страстей, сам его... вносит, придавая лихорадочность, вдохновение обреченных слепцов любому деянию героев, жесту, массовой сцене?

Можно говорить о некотором историческом фатализме в романе. Имитируя, пародируя это вдохновение бури, Солженицын всех делает обреченными... Отвергая «железные закономерности» классовой борьбы, которые раньше вели к Октябрю, вели неостановимо, «железно»,— на них и ставил Ленин! — Солженицын в закономерность возводит фатальную обреченность страны на Февраль и Октябрь, роковую предрешенность катастрофы. Бесспорно, он видит и беготню Шляпникова по ячейкам подполья в Петрограде, и конвейер сочинительства листовок Матвея Рысса, слышит, как историк Нечволодов говорит, что «появилась кучка рожистых бесов — и взбаламутила всю Россию». Но порой кажется, что и деяния-то эти мерзкие уже не нужны. Россия как будто не хочет жить, изнемогла, и «рожистые бесы» пляшут уже на трупе. Практически иррациональная, надчеловеческая закономерность краха, некая туча возникала над Россией, делая бессмысленными и тревоги Нечволодова, и суету Шляпникова, и битву полковника Кутепова с питерскими толпами в феврале 1917-го, и даже искусительные предложения главного Сатаны — Парвуса, предлагающего Ленину деньги немецкого Генштаба:

«— Да вам **капитал** нужен! **Чем** вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.

Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых

идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила — деньги...»

* * *

Парадокс полемики! В итоге Солженицын, страстно не желая такого исхода событий, ужасаясь нашествию «красного колеса», утверждает фактически... безальтернативность Февраля! Всех гонит один и тот же «общественный ветер», почти планетарно-космический, он втягивает в беспредел азартного разрушительства, в соблазняющую тайну огромного преступления и жертв и палачей.

Можно еще понять некоторые частные мотивы этого бега по велению общественного ветра солдата Кирпичникова, взбунтовавшего Волынский полк, ставшего незаметной спицей в колесе:

«..Так в ошалении, нетрезвости, безоглядности катилось куда-то все затаенное, где нельзя было уже ни остановиться, ни охорониться,— а если все остановится, так наверняка петля. *Так и пусть катится, хоть с опрокидом»*.

Еще виден некий человеческий силуэт, хотя уже нет права на психологические нюансы,— в сотнях ораторов на уличных митингах: «Тут вскинулся на трибуну пламенный адвокат Маргулиес — и *языками огня* стало лизать лица в зале».

Кем был до этого иной оратор, солдат, куда денется он после — для Солженицына не столь важно. Что спрашивать о той курсистке «с большим лицом упрощенного склада», которая криком революционизирует подруг? Что толку выяснять психологические нюансы возбуждения того же библиотекаря Масловского ставшего эмиссаром Думы? Он рвется в Царское Село с одной целью — «выхватить у этих ворон Николая и увезти!» Этот Масловский и сам понимает, что он ничтожество, что «без бумажки он букашка», что и силен, раздут он только свирепым «общественным ветром», кинжальной бумажкой: «*Такой рапирой и был его мандат* — грозного и загадочного состава слов и укрепленный самой большой силой — Советом». И едва Масловский натыкается на доводы здравого смысла, на некие нравственные твердыни, он призывает на помощь, как джинна из бутылки, этот самый «ветер», страх перед мандатом:

«Есть приказы выше, чем Корнилова: именем Революционного народа!

Та самая *прорезавшая рапира*».

Общественный ветер будет подхватывать и «завихрять» дерзновенные мысли Саши Ленартовича. Ему будет поруче-

но взять «правительственную твердыню», страшный якобы оплот царизма — Мариинский дворец... Нет уже сопротивления, все так похоже на будничный развал, осыпание песка, охрана подняла сразу руки вверх вместе с винтовками... Саша вздувает ветер сам: он чуть не выхватывает смоляной факел у солдата, чтобы с ним войти в «твердыню», он спешит всех арестовать и старается не думать: а что это за площадные добровольцы вдруг помогают ему, одновременно сдирая и унося скатерть, дорогой занавес? Какие это пустяки перед тем сладостным ветром, что «усиливает» его мандат, перед этой романтикой разрушительства!

Собственно «мандат» будет нередко «главнее» и более крупных личностей — того же Гучкова и Шульгина, поехавших принимать уже вырванное командующими фронтов отречение Николая II. В этом эпизоде особенно наглядной делается вся лазерная проницательность иронии Солженицына, его незаурядное искусство изобразить превращение «общественного ветра» в личное тщеславие, амбицию. Ведь Шульгин сам описал эпизод отречения в «Днях», он поведал о том, как вышел к нему и Гучкову государь, как он задумался: «...мы ведь не вступили на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX?!» Но одного не мог сказать о себе Шульгин, что проницательно отметит Солженицын: было и тайное насилие над царем, и... мелочное тщеславие в самом Шульгине! По всей видимости, до конца дней не изживет Шульгин ощущения величия этого момента в своей жизни и своего — пусть минутного! — вознесения над самим царем, над русской историей! Выходит, он на миг был... выше царя, творил судьбу России!

Как мотылек в вихре этого же общественного ветра будет плыть, кряхтя и оглядываясь, порой негодуя, и начальник штаба всей русской армии зачумленный Алексеев, фактически уступая, сдавая этому ветру и дисциплину в армии, и царя, и будущее России. Да, собственно, и лидеры Думы Родзянко и Милюков, прикидывая на глазок высоту своего близкого вознесения — в премьеры, в спасители нации,— охотно дают раздуть себя тому же самому ветру, психозу вседозволенности, заискивания перед толпами, всесилию очередных «мандатов». Все забыли, что общественный ветер таких масштабов, игра с низменными страстями уравниловки, грабиловки, псевдосвободы — это величайшая опасность для страны, ее культуры, морали.

Революция, особенно в России,— не праздник. Г. Померанц, анализируя страшную истину строк М. Волошина «Вейте, вейте, древние стихии», строк о ветре, урагане на

всех путях России в ее прошлом и настоящем, увидел в этом бушеванье стихий страшное:

«Мне кажется, «ветер» — это культурная неустойчивость, шаткость всех традиций, приходивших то из Византии, то из Орды, то с Запада — и не слившихся в стройное целое, не укоренившихся прочно. Широта — до пустоты, в которой просторно гению и невыносимо среднему человеку. Вакуум, в котором раздольно опричнине, всешутейному и всепьянейшему собору, экспериментам Ленина и Сталина. Именно на этой почве (или беспочвенности?) идеи Маркса, аранжированные Лениным, впервые стали материальной силой».

* * *

Что влекло Солженицына к Ленину? Понимание его роли, ощущение того, что без крупных исторических деятелей любые идеи лишь немые знаки, которые указывают на нечто, но не открывают его?

Причин притяжения, видимо, немало. Есть большое сходство темпераментов и яростных претензий на правоту, на способность править миром у Ленина и Солженицына как его оппонента. Это отмечали и Ж. Нива, и Г. Померанц. У обоих — известная зацикленность на одной идее... Да и ориентации на вождя, носителя сильной абсолютной власти, идей диктатуры у одного вполне соответствует претензия на властителя дум, пророка, носителя абсолютной истины у другого. Один говорил еще в юности царскому чиновнику о стене самодержавия, в которую он не должен толкаться,— «Стена, да гнилая!» А другой увлеченно живописал, как «теленком» отважно бодался... с дубом тоталитарной системы, тоже, как выяснилось, гнилым!

Может быть, в особой саркастичности всех имитаций стиля Ленина есть даже, как отметил Н. Струве, элемент бессознательного «сальеризма, растерянности перед большим явлением, зависти к всемирной славе...». Как у К. Н. Леонтьева, писавшего о Толстом и Достоевском.

Бесспорно, были и объективные причины, в силу которых именно с Ленина, стоящего на вокзале в Кракове около красного колеса паровоза, вступает в роман тема мирового вихря, невиданного общественного ветра, задувшего, как заметил Г. Померанц, сразу и из глубин русской истории, и из Цюриха и Берлина. По существу, если оставить в стороне длиннейшие исследования заседаний Думы в 1905—1907 гг. (история возникновения партий кадетов, октябристов, взлета П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова), анализ скрытых и явных измен царю министров в правительстве премьера

И. Л. Горемыкина, старого коня самодержавия, нафталинного, но чéстного служаки, если опустить развернутые уличные сцены и бои в Петрограде отряда полковника Кутепова в феврале 1917 года, то читатель увидит две группы героев, две силы. Во главе одной из них — даже не участвуя лично ни в чем! — стоит Ленин...

Какие же это силы?

* * *

Без образа, без символа эту пыль фактов, взметенную Солженицыным, не соберешь воедино. Крупицу иронии, лазерный луч сарказма нужно в романе отыскивать среди тяжеловесных документов. Символ позволяет не утонуть среди них. Обратимся поэтому к пронзительному свидетельству замечательного сатирика, королевы фельетона Н. Тэффи 1919 года, когда только что «тот ураган прошел». В этом году уже в эмиграции она напишет сказку-аллегорию, эссе «На скале Гергесинской». Пересказав эпизод из Евангелия от Луки о бесах, вошедших в свиней и увлекших их за собой в бездну, Н. Тэффи заметила, что на Востоке стада были пестры по составу, неоднородны, среди свирепых свиней были, конечно, и кроткие, напуганные овцы. И в этом сборном стаде, бегущем навстречу обрыву, последнему прыжку, мог возникнуть диалог, прозвучать овечий вопрос: «А зачем мы бежим? Зачем мы с ними?» Но вопрос этот утонул среди лихорадки бега, среди пыли, был подавлен, осмеян «хрюкающими и подбадривающими»[1].

Жуток запоздалый юмор Н. Тэффи, многолетней сотрудницы «Биржевых ведомостей», одной из разрушительных газет!

Кто же был овцами, гонимыми общественным ветром, а кто был «хрюкающим и направляющим» в канун Февраля и в смутные дни для Солженицына?

Безусловно, следует оставить без внимания — хотя автор «Красного колеса» явно настаивает на этом! — деление на жалобно блеющих и агрессивно хрюкающих в самих толпах на Невском, на мостах через Неву в феврале 1917 года. Здесь — человеческие силуэты, тени на экранах... Это такая

---

[1] Отметим, что эту библейскую терминологию часто использует в «Марте Семнадцатого» Керенский: «И только носился-вился Керенский: когда же придут? Когда же? Под грозным дыханьем народного бунта вся Государственная Дума обратилась в толпу неумелых, чуть **не в овечье** стадо,— и только у Керенского обострились все окончания нервов, утысячерились способности различать: не бояться толпы — но жаждать! Грядет в ней новая слава Таврического дворца!»

людская каша, где никто не может «от толпяной силы оторваться», где тупой, как бульдог, унтер Кирпичников («с хмуроватым, *неразвитым лицом*, короткой шеей, уши *плоские прижаты*») почти неотделим от Саньки Шляпникова, вроде бы направляющего движение,но тоже ощущающего неразвитость ума: «Ах, нет у Саньки Шляпникова ленинской головы! И эх, нет рядом Сашеньки (А. М. Коллонтай.— *В. Ч.*), распроумницы!» Здесь все одинаково азартно «красную тряпку *растопырили* над головами, а на ней: «Долой войну!» Здесь однообразны обвинительные лозунги, обличающие и кадетов, и октябристов, и даже эсеров: «...все слились в одну озверелую шайку, заграничное золото, пируют на народных костях».

Вероятно, очень горькое лекарство преподносит Солженицын всем, кто зовет вновь революцию, гражданскую войну для ускорения, для наведения нового порядка в России. Смотрите, разгоните локомотив, но не удержите на рельсах! Не перестраивайте города с помощью... землетрясений! Но это лекарство надо принимать...

* * *

Зеваки, зрители, простаки, готовые «сочувствовать», с оглядкой на соседа подпевать солистам, подлаживаться под внезапное, даже люмпенское большинство, немногочисленные агитаторы, азартные игроки в свободу и совсем уже закулисные «дирижеры» — такова для Солженицына всякая толпа. Он терпеть ее не может, он убежден, что на почве толпы вырастало все страшное, слепое, с ее помощью разыгрывались самые зловещие сценарии. Какой выбор может быть у человека при полустадных формах самовыражения? Попал в свору — лай не лай, а хвостом виляй! Культура, немыслимая без предельного личностного напряжения, скорее всего и перемалывается толпами.

В толпе страшны... даже овцы. Хотя их-то и жалко больше всего. И Солженицын предпринял грандиозный труд: создать одну собирательную фигуру, одну «овцу», обреченную на быстрое заклание уже в ближайшем будущем.

Об этой фигуре, такой домашней, но иррациональной, вливающейся в поток добродушно, стыдливо, но сразу дающей ему объем, силу, фактуру, прекрасно и много раз, варьируя основную мысль, говорил еще В. В. Розанов:

«Русский ленивец нюхает воздух, не пахнет ли где «оппозицией». И найдя таковую, немедленно пристает к ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя оправдание себе в мире, найдя смысл свой, найдя в сущности себе «Царство Небесное»...

«Русский болтун» везде болтается. «Русский болтун» еще не учитанная политиками сила. Между тем она главная в родной истории...»

«Вся русская «оппозиция» есть оппозиция лакейской комнаты, т. е. какого-то заднего двора — по тону: с глубоким сознанием, что это — задний двор, с глубокой болью — что сами позади; с глубоким сознанием и признанием, что критикуемые суть барин и баре. Вот это-то и мешает слиться с оппозицией, т. е. принять тоже лакейский тон».

Солженицын временами бывает столь захвачен зрелищем возникновения, недолгого «цветения» и краха русского либерализма, этой рабской оппозиции его Величества, интригами в дарованной оппозиции лакейской комнате — т. е. Государственной Думе, что порой не замечает: его презрение, ожесточение к болтунам, праздным ленивцам, жадно нюхающим «общественный воздух», в сущности, нередко есть эмоциональное повторение позиции Ленина! Он, пародируя каскадный стиль, скачки, нарастания мысли Ленина, не замечает, что в негодовании против кадетов, октябристов создает свои каскады обвинений-расследований. Он все время отодвигает расследование в глубь истории. «Кадетские истоки», «Прогрессивный блок», «Из узлов предыдущих» — вся хроника обрастает этими добавлениями. Он с огромным наслаждением показывает, как Столыпин буквально уничтожал либеральных болтунов... на их же поле! Он навязывал им в Думе «законодательную жвачку», обсуждение пучков мелочнейших законопроектов, которые называл «вермишелью». Фельетонист «Нового времени» М. О. Меньшиков в статье «Веселые законы» (1908) высмеивал этих говорунов, глотнувших свободы. Как понравятся читателю, вопрошал он, законопроекты «О предоставлении пенсионных прав врачам больницы имени императора Николая II при Киевском Покровском женском общежительном монастыре», «о передаче благотворительных заведений в ведение Варшавского магистрата»?

Либералы — и караси-идеалисты, и трусы, идущие вперед «медленным шагом, робким зигзагом». Да это же все Ленин, а не Солженицын! Жорж Нива справедливо сказал об этом парадоксе и загадочном противоречии:

«Неоспоримо, что Солженицын вкладывает частицу самого себя в этого противника, которого он называет своим главным героем и от которого не отходит ни на шаг. Не оттого ли, что, парадоксальным образом, ленинское презрение к «либералу» близко ему самому! А иначе — зачем это, вроде бы незаметное, сравнение Ленина с великими реформаторами, с Цвингли, на статую которого перед Церковью

в Цюрихе Ленин бросает одобряющий взгляд? Не разделяет ли он даже ленинской ненависти к Плеханову, нанимавшему богатую виллу в Женеве, и его «освежающей» ярости, когда этот крупный буржуа от марксизма выпроваживает его ни с чем — буржуа, по-видимому, ни в чем не разделяющий жизненного опыта Солженицына, который, как и Ленин, окружен обывателями и «пигмеями»?»

* * *

Судьба как жгучая импровизация, судьба как безумие, как поединок с антисудьбой... Как ни прост вроде бы образ русского ленивца, нюхающего «общественный воздух», бунтаря, но с навыками лакея и вчерашнего крепостного, прозорливца и лунатика одновременно,— стадное бегство к обрыву предельно усложняет и судьбы людей, и события. Эта сложность портретов либерального стада усложняется непостижимой смесью в их изображении двух не примиримых более нигде «резкостей» — В. И. Ленина и... К. Н. Леонтьева. Причем один слой красок почти неразличимо переходит в другой, создает непередаваемое богатство иронии, гипнотизирующее очарование познающей мысли, блуждающей, как поток среди завалов, наклонов исторической почвы, в дебрях социальной и личной психологии. Да к тому же роман весь насыщен, как заметил Ж. Нива, «всевозможными знамениями и знаками, музыкальными и световыми».

Весь сплав ленинского презрения к либералам — «русский пролетариат завоевал себе и русскому народу... *освобождение* рабочих масс *из-под влияния* предательского и презренно-бессильного *либерализма*» — с яростными оценками К. Н. Леонтьевым славяно-фильского либерализма и «легкомысленно-либерального дворянского бунта декабристов», всех видов либеральной лихорадки совершенно неподражаем.

Как ведет себя либеральная интеллигенция в дни отречения Николая II? Солженицын скупыми штрихами раскрывает... правоту Ленина: никакого влияния на рабочие, солдатские массы, на толпяные страсти эти свободолюбцы, карьеристы, жаждущие «влипнуть», «впитаться» в волну революции, на ней вознестись, не имеют. Тяжелый сарказм при раскрытии этого истеричного «легкомысленно-либерального» бунтарства звучит явно в духе Леонтьева.

Вот ждут телеграммы из Пскова об отречении царя, отталкивая друг друга от аппарата, инженер Юрий Ломоносов и его шеф Бубликов. Откуда-то явился в скромном путейце бонапартизм:

«Пока во Пскове в царском вагоне на скрытой зыби переговоров подныривало и выныривало русское будущее, инженер Ломоносов *когтисто-тигровыми* шагами, с каждым отрывом ноги *как бы забирая на ботинок частицы пола*, расхаживал из кабинета в кабинет, от телефона к телефону.

Эта минута, *измечтанная, изжеланная* столькими поколениями русской интеллигенции... *сказочная недостижимая* минута,— вот она вязалась и происходила в глухой неизвестности... может быть, это он будет тем первым человеком в российской столице, кто *первым выловит, вырвет весть* об отречении деспота и бросит ее *на волны свободной ликующей России!*»

Толстяк Родзянко, председатель Думы,— на первый взгляд вовсе не шут нарядный, обожествляющий себя. Он ловит миг удачи, закидывает крючок в мутные воды будущих заседаний Учредительного собрания, где явно прозвучит «воля народа», не пожелающего жить ни при какой республике. И что же последует тогда? «И чья же первая кандидатура придет всем на ум? Да конечно, реального нынешнего главы государства, всеми любимого Председателя всеми любимой Государственной Думы!

Задыхательно это представлялось: открыть собою третью русскую династию?»

Панорама истории в «Октябре Шестнадцатого» и в «Марте Семнадцатого», где микроситуации и лица мелькают как спицы в колесе,— почти необозрима. Десятки героев на час являются на сцену и исчезают. В событиях автору любопытнее всего не действенное, событийное ядро, а в известной мере психология заблуждения, пафос ослепления персонажа, к тому же мнящего себя... единственно зрячим! Зная судьбу того или иного героя «с конца», в финале, Солженицын получает безграничный простор для иронических интонаций, насмешек, нередко прямых вопросов к герою...

Кстати, образ мартовского котильона с бантиками, от которых рябит в глазах, впервые употребил Осип Мандельштам. Причем рябит — у самих носителей бантиков, бездарных вождей русского либерализма. Куда они все рвутся?

«*Истечь торжественной речью* пошел туда (в Исполком рабочих депутатов.— *В. Ч.*), разумеется, Чхеидзе...»

«Шульгин бодро шагал за сопровождающими. Свои ноги ощущал как не свои и свой язык как не свой,— лишь несовершенно данные ему, *совершенно плывущему в воздухе.* И листики императорского отречения в кармане были как особая награда, тайная ото всех».

«И Керенский, *как бледный ангел в черном*, взлетел на стол...»

«*Пылающе-презрительный* вид Александровича показывал, что не ждет он от этих жалких меньшевиков произнесенья главного слова: отрубить голову (царю.— *В. Ч.*)! Все эти социал-демократики немели перед обаянием трона».

«*Больше действовать через прессу!* — кричал Эрик Печерский, он немного перебрал в рюмках и вообще обивался быстро.— Ее голос громок, и она теперь вся заодно... *Нашу эпоху надо воспевать в гекзаметрах!*»

Скрытое, такое «логичное» честолюбие Милюкова, расхаживающего по Екатерининскому залу, особенно рельефно. Он ущемлен мыслью об ужасной «стыдливой ужимке истории», при которой он, самый достойный возглавить Россию, не может, увы, себя назвать, объявить, властно пройти вперед («...это у американцев замечательно честно открыто выдвигай сам себя!») И что же выходит? На первое место выдвигаются какие-то скакунчики, нулевые личности Фактически одни банкроты, одни нули завидуют другим нулям... Для Милюкова нуль — Родзянко, для Набокова явный нуль шут Керенский...

Солженицын не случайно завершает многие главы предельно саркастическими сентенциями, самодельными пословицами, обобщающими опыт либеральной говорильни Это так сказать, глаголы судьбы всех этих жонглеров. Они были созданы для подмостков, даже подмостков эшафота, но никак не для распоряжения судьбой государства:

> Куда ни глянь — все *дрянь*.
> *Суетлив воробей,* а пива не сварит
> Была бы изба нова, а *сверчки* будут
> *Красному утру* не верь.
> Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать.
> За царское *согрешение* Бог всю землю *казнит*
> *Чужой дурак* — посмешище, *свой дурак* — несчастье

Вновь можно заметить, что и воля к языковому расширению, и все приемы драматизации, обогащения интонационного словаря наличествуют в «Марте Семнадцатого» И все они совершенно наглядно способствуют воплощению одной, почти навязчивой идеи Солженицына-историка: русский либерал — это все тот же лежебока Обломов, который, может быть, *живописно* лежит, но всегда *ковыляя* ходит На первый взгляд все это скопище Родзянок, Керенских, Шульгиных, Милюковых, Набоковых деятельнее, подвижнее, живее, чем весь застылый консерватизм Горемыкиных, Штюрмеров, Хабаловых, великого князя Николая Николаевича, чем этот «консерватизм, летящий в прошлое» (В. В Розанов). Но это обманчивая иллюзия. целый ряд намеков, как выпавших кристаллов из раствора, говорит в романе о

том, что массы уже ощутили интерес к диктатуре, к насилию, что им нужны не партии, а вождь с железным жезлом. Революционный период очень скоро перерастет — уже в 1918 году, когда у петроградских заводов будет отнято право забастовок,— в тоталитарный режим.

ЛЕНИНИЗМ: ЗАГАДОЧНЫЙ НЕДУГ ИЛИ ВАРВАРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ?

Карл Радек в 1933 году сказал о Ленине: «Ленин вошел в движение как персонификация воли (России.— *В. Ч.*) к революции... Подпольный человек стал самым почвенным человеком».

Лев Троцкий запомнил изумление либералов от одного явления Ленина: «Кто это? Что это? Простой маньяк? или какой-то исторический снаряд небывалой революционной силы?»

Ленинизм — и «дуновение будущего», и страшный бред, вырвавшийся из революционной почвы, и лазерный луч, который обшарил Россию и мир *«из-под могучего лобно-черепного навеса»* ленинской головы... Так выразился, почти как Солженицын, Троцкий.

Явление Ленина в «Красном колесе» — неизбежность, неминуемое проявление «генетического кода», способ русской истории сделать русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», исполненным величайшего смысла.

Ленин... Может быть, больше всего готовился Солженицын к изображению этого исторического деятеля, к раскрытию величайшей загадки: как свершилось превращение «пролетариатоводца», вождя свободы, да еще наследника всех видов свобод, в том числе и духа свободы «крылатого коня террора», в предельно завершенного, харизматического лидера тоталитарного царства?

Сейчас, когда происходит механическое, тупое, безглазое сбрасывание Ленина с корабля современности, позиция Солженицына крайне интересна. Даже в ее очевидных противоречиях.

Прежде всего Ленин не только эмоционально близок Солженицыну. Он предстает не просто как его союзник в критике либерализма, затхлого бюрократизма Горемыкиных и Курловых, но и как главная альтернатива именно либеральной дряблости, навыкам рабской оппозиционности, приемам заигрывания с толпой и безответственности. И естественно, как альтернатива монархизму. Пусть и временная. Надо к тому же вообразить путь Солженицына-школьника к Ленину и «против» Ленина: от краткой поэтической

истории капитализма в поэме «Владимир Ильич Ленин» («В чей карман стекаем золотою лавой?» — вопрос пролетариата), роста рабочего сознания («Сообща взрывайте! Бейте партией!») до, наконец, вывода, сообщения о рождении нового Христа:

Коммунизма призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
по всему по этому
                    в глуши Симбирска
родился
        обыкновенный мальчик
                                Ленин.

А вот «по чему по этому» он не только родился, но и действительно стал... Лениным?

Солженицын дает в романе и развернутые сцены дискуссий с участием Ленина, и диалог с Сатаной — Парвусом, и косвенное воздействие Ленина на сознание замотанного бегами по Питеру Шляпникова *(Беленина)*: «Спать — нельзя и не время, товарищ Беленин. Пролетариат не имеет права поддаться сну, это *было бы архинеосмотрительно* и даже преступно... Товарищ Беленин, не *гипертрофируйте* трудностей...»

Оставим в стороне элементы пародирования — прямого и скрытого: ведь даже псевдоним Шляпникова «сочится» сарказмом: Беленин — это «маленький Ленин», к тому же «белены», дурманящей травы, объевшийся...

Серьезнее все другое, и прежде всего общая характеристика Ленина на фоне России и ее истории: «Ленин был — струна, Ленин был — стрела». Ругательно это или нет?

В знаковой системе Солженицына понятие «струна», конечно, совсем немузыкальное. Оно является скорее всего олицетворением четкости, металлической твердости. Струной к тому же режут нечто рыхлое, мягкое, скажем, масло. Отрезанные части остаются... рядом! Русские солдаты в «Августе...», переходя в пешем строю из Польши в Пруссию, ощущают перемену: «Польшу прошли — страна привычная, распущенная, но с немецкой границы словно струной по земле ударило: и посевы, и дороги, и постройки — все другое, как не с земли».

Лениным — согласно художественной логике романа — ударило по русской земле, по тысячелетней истории, по былому течению политической мысли, по всем нравственным ресурсам страны. Ударило сурово, беспощадно, с исторической неизбежностью, неотвратимо. Ударило, отрезало ста-

рое, тысячелетнее от нового, но разрыв почти не виден, не всеми ощутим.

Весь парадокс пророческого историзма Солженицына, посвятившего немало страниц то пародированию ленинского стиля, то изображению машинной работоспособности Ленина, его доктринерству, в диспутах в Цюрихе состоит в том, что он не находит никакой альтернативы Ленину. Ударило Лениным как стальной струной по русской земле, перерезало многое, но разве лучше было России от того, что в Феврале ударило по ней не струной, но тряпкой Милюковым, глиняным горшком Родзянко, расплетенной мочалкой Керенским, тем более дубиной — великим князем Николаем Николаевичем?

Пусть он, Ленин, уже в Цюрихе как бы заражен избытком ненависти ко многому в России, пусть он слишком близок к подлинному Люциферу, Дьяволу — Парвусу, искушающему Ленина продать революционную чистоту за деньги немецкого Генштаба.

Солженицын порой не может найти против Ленина никаких иных доводов, кроме... пародирования его стиля. Знаменитая дискуссия в Кегель-клубе, где Ленин уламывает швейцарских социал-демократов — и среди них Платтен — на восстание,— блестящий образец такой пародии.

«— *Мелкое стремление мелких государств* остаться в стороне от великих битв мировой истории.

Про себя барахтается Платтен, стараясь не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции — но как трудно применить ее к своей Швейцарии. Ум — согласен... А душа неразумная: и как хорошо — мирно живут крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов...

Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...»

Фактически струна Ленина хлестала и по Европе. Но не рассекла ее истории. А вот в России не было альтернативы Ленину. И не сатанинская фигура Парвуса, своего рода Петра Верховенского,— воплощение ненавистной Солженицыну «интерналки», привозной революционности, международного зла, вмешавшегося в судьбу России,— сокрытый двигатель решений, поступков Ленина. Хотел этого или не хотел Солженицын, но после всей массы либеральных пигмеев, Обломовых и Маниловых, овечьих натур мармеладных вождей, Ленин является сразу и как спаситель России, и как ее жертва, и как невольный будущий ее мучитель. Он абсолютно полное завершение и «древних стихий» русского

бунта, пугачевщины XX века, и носитель привозной революционности, идей мирового пожара, отчасти «бесовщины» Парвуса.

* * *

Это противоречие между субъективными оценками Ленина, ироничными интонациями рассказов о нем, окрашивающими в определенные цвета и беседу с бесом-искусителем Парвусом, и его решение бросить «рогожную страну» Россию, и объективным впечатлением от резкого превосходства Ленина над всем Олимпом русских политиков неизгладимо. Оно возрастает, как ни странно, именно в моменты поисков Солженицыным альтернатив Ленину.

Какой-то рок словно преследует писателя: Ленина еще нет в Петрограде в феврале 1917 года, он вообще не имеет ни массовой армии в настоящем, ни денег на революцию, но он почти все имеет... в близком будущем. Кто поработал на это величие — история, тысячи пчел трудовых с листовками, великая гуманистическая культура с ее народопоклонством?

Ни один из альтернативных мыслителей и политических деятелей ничего, кроме горечи сожалений, воздыханий не может ему, «ленинизму масс» (без Ленина), противопоставить.

Вот историк и генерал Нечволодов, жалующийся на злую насмешку истории: «Нас подменили, какое-то насланние злого воздуха. Появилась кучка пляшущих рожистых бесов — и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс... это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана — на весь мир?» Он бессильно констатирует, что «мы в катастрофе от того, что **уже** завоеваны левым духом».

Возвращаясь к образу Н. Тэффи, к смешанному стаду свиней и овец, помчавшихся к бездне, невольно отводишь от Александра Ивановича Гучкова любое определение, несущее «овечье», кроткое, напуганное начало. Вот уж кто как будто не был гоним «общественным ветром»!

Даже Маяковский, отдавая дань решительности невероятному в русских людях единству двух смелостей — военной и гражданской,— сказал о целом отрезке истории России после 1905 года: «гучковеет» (темнеет, вечереет, слабеет в революционном смысле.— *В. Ч.*). Москвич из семьи старообрядцев, Гучков вынес из юности тоску по грандиозному делу, он искал битв, сражался на юге Африки, в Сербии, стал создателем партии октябристов после 1905 года. Гучков многим близок Солженицыну.

Даже монархистом он был весьма странным. Его томила мысль о Николае II: «Вся загадка и все бессилие сгущались в этом странном вежливом Государе...» Не в плену ли высшая власть, обреченная власть, у своих же слуг, вроде негодяя Курлова? Может быть, придется отстаивать монархию... вопреки монарху?

С такими помыслами, своего рода политическим гамлетизмом Гучков в итоге выпал из всех групп, течений, «метался избыточно-лишним все роковые годы».

Гучков воплощает в себе массовую избыточность, невостребованность русских талантов при одряхлевшем, слепом, обреченном самодержавии. Ведь и Георгий Воротынцев выдерживает безумный натиск Ольды Андозерской, заслуживает ее упрек: «...нет, ты не монархист», когда вопрошает:

«— Как помогать тому, у кого нет воли? Как только соединяешь себя с троном — вот ты и скован всей там налегшей, прилипшей рухлядью...»

Но дух старой Москвы, здравый купеческий смысл не умирал в «лишнем» и для придворной рухляди, и для парламентских глиняных вождей Гучкове. Он прежде других увидел, что инерция игры, все более острых нападок на власть, на царя, игры «общественно-парламентски-газетной», превратились в обманное шествие, в карнавал. И сами участники игры уже перестали отличать, где еще есть твердая земля, где — уже зеркальные, призрачные отражения.

Гучков преодолел очарование этой игры. Осенью 1916 года он — уже заговорщик — в беседе с Воротынцевым и Свечиным в ресторане Кюба высказывает идею смены монарха, принудительного отречения Николая II. Но как странен этот рефлексирующий заговорщик! В романе возникает обширнейшее повествование о мистике быта, о трагической русской актрисе Вере Комиссаржевской, подруге жены Гучкова, о ее вещих предсказаниях. Это и другие отступления, уходы в живописнейший быт Москвы или казачьего Дона (в рассказах журналиста Ковынева-Крюкова), в среду московских адвокатов или ростовских купцов, в историю географических открытий адмирала Колчака, командующего Черноморским флотом, обусловлены, вероятно, острейшей ностальгической тоской Солженицына. Он глубоко осознал, как упрощено было, механически обезображено, попросту профанировано органическое духовное бытие человека в России в 20-е годы, после рокового рубежа. Писатель создает своего рода «мемориал» ушедшего, не думая о том, что все эти отступления, конечно же, сильно загромождают поток истории.

В заключительных главах «Марта Семнадцатого» Гучков надолго погружается в воспоминания о прожитом, и в итоге к моменту отречения царя он почти потерял цель жизни: «Произвелось непоправимое — и его собственными руками монархиста: вместо того чтобы выровнять и усилить ход державного корабля, он толкнул завалить его, **до зачерпа**».

* * *

Заключительные главы последних книг «Красного колеса» — роман раздробляется на бесконечное количество сценок, эпизодов — проникнуты глубочайшим историческим пессимизмом. Гремит «толпяное» «ура» в ответ на всякий призыв к убийствам, разрушению армии, многими овладевает убеждение, что революция — это время, «когда преступление без наказания». Милюков еще уверяет английского посла, что крушение эмблем, былой монархии, грабеж во дворцах — это не страшно... «Ну, потому что надо дать *удовлетворить народному сознанию...*» Но Солженицын, автор «Архепелага ГУЛАГ», знает, что вполне удовлетворит такое искривленное, искаженное народное сознание лишь... конвой, лишь железная метла 1929 года. Сметены будут и сподвижники Ленина. Толпа — единственная обладательница **такой** свободы — не способна «разлиться» по партиям, она породит вождя как свою функцию.

Никто этого еще не предвидит. Еще слышны крики, что рвутся из груди офицеров, не способных легко переступать через присягу:

«Ренгартен (флотский офицер.— *В. Ч.*) схватил его за рукав, стал объяснять, давясь собственной горячностью:

— О брат-народ, в каких ты предрассудках! Да как же прорваться к твоему сердцу? Да как же осветить твой разум? Как же ты не отличаешь друзей?!

Вокруг них собралась кучка. Ренгартен говорил, говорил — и поражался их бестолковым, кажется, бессвязным и даже бессмысленным ответам. И даже тупым лицам».

Безумие как судьба... Его, безумия, но отнюдь не святого, так много в коротких главах, короткометражках «Марта Семнадцатого», что возникает вопрос: не слишком ли строго карает Солженицын-пророк Россию, всю неразумную паству свою? Вместе с ее вождями, кумирами, минутными властителями митинговых дум? В конце концов даже его духовный наставник К. Н. Леонтьев, яростный враг примитивного равенства, ликвидации и смешения сословий, Вронского и Бирюка, веровал, что «все остается, но иначе со-

четается». И иерархия способностей не отступит перед насильственной уравниловкой, перед собирательной бездарностью.

* * *

В книге «Смысл и назначение истории» известный немецкий философ Карл Ясперс сказал о всеобщей черте человеческого сознания — «неудовлетворенности историей»... Вечно она для него не завершена, вечно преподносит временные, относительные истины, а новые факты то и дело ломают устоявшиеся концепции. «Нам хотелось бы прорваться сквозь нее к той точке, которая предшествует ей и возвышается над ней (историей.— *В. Ч.*), к основе бытия, откуда вся история представляется явлением, которое «никогда не может быть «правильным», прорваться туда, где мы как бы приобщаемся к знанию о сотворении мира и уже не будем подвластны истории. Однако вне истории для нас в области знания нет архимедовой точки. Мы всегда находимся внутри истории»,— писал К. Ясперс в главе «Преодоление истории».

Александр Солженицын избрал свой способ преодоления фальсифицированной, ритуальной истории русской Смуты XX века. Он избрал — и достаточно прочно, надолго! — одну позицию: взглянуть на революцию сквозь решетки тюрьмы, вмурованные и натянутые, по его мнению, ею, революцией. Мы говорили уже, что «Архипелаг ГУЛАГ» может быть определен как эпилог «Красного колеса»...

Такая позиция действительно многое позволила увидеть без прикрас, без былой натужной оптимизации, увидеть трезво и мучительно. Солженицын нарисовал историю такой, какой она принадлежит... побежденным, т. е. «нации зэков»! Существование этой нации для него бесспорно. Решетки ГУЛАГа — огромное увеличительное стекло, дающее возможность увидеть и муки неведенья одних, и то, как «с жиру бесились» революционерами другие.

Эта позиция, усиленная амбициями пророка, отчасти поработила автора, хотя еще, может быть, рано судить о всем «Красном колесе», о его архитектонике. Внешне стихийная история, по существу, предельно рационализирована! И все же, вероятно, не стоит иронизировать: «Пророческий дар от Исайи до Исаича, увы, неузнаваемо деградировал!» Ведь никто до Солженицына еще не предпринимал титанического труда в поисках ответа на вопрос: как же возник тоталитарный Левиафан, трагический для самой России и для мира?

Объяснения Солженицына, его вера в увеличительную силу решеток тюрьмы, безусловно, не всех удовлетворяют. Не все прожили жизнь и после 1917 года «под созвездием топора». Как и его художественная система. Не забыл ли автор о том, что народная жизнь, судьба огромной страны все же не укладывается ни в схему, ни в антисхему? Не оставил ли он почти без внимания целые пласты исторической жизни России в 40—50-е годы, множество иных архимедовых точек для познания истории?

Панорама истории в «Красном колесе» (и оно еще не «остановилось», не завершено) в целом и необозрима... и предсказуема. Еще незавершенный, рывками продвигающийся вперед — от марта к апрелю 1917 года,— он в сущности завершен в своей архитектонике, определился в поэтике, устоялся интонационно. Ю. Кублановский, один из друзей писателя, удачно сказал об этой устойчивости ритмов повествования:

«Богатейший и тонкий язык, стилистика плюс интонационная нюансировка самого широкого профиля — от лирики до черного юмора... Всюду эта нюансировка столь подспудна и деликатна, что едва просвечивает сквозь общее повествовательное течение, тут проза оттенков, а не лобового удара... «Система» иронии у Солженицына вообще более всего напоминает иронию Достоевского» («Императрица в повествовании «Красное колесо», 1991).

Ничем, видимо, не остановимо в «Красном колесе» неудержимое падение, даже упразднение вымышленных героев, утрата ими биографий и нарастание стихии документализма, даже фотографизма: слишком велика мера знания Солженицыным судеб своих героев... именно с «конца», в финальной части их пути! Все судьбы: Шляпникова, Рузского, царственных великомучеников и шумных статистов — крестьян в солдатских шинелях — все окрашено зовом бездны, грядущего возмездия. Печаль эта не светла. Отрадно все же главное: для писателя, говоря его языком, не затмилась ось мировой жизни, в нем не ослабела верность великому призванию русского художника.

ПОБЕДА ДОСТИГНУТА, ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕЙ ПОБЕДИТЕЛЮ?

(Публицистика Солженицына среди руин тоталитаризма, на фоне отката «красного колеса»)

«Когда кесарь, забрав от нас кесарево, тут же, еще настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!»

А. Солженицын. «Из-под глыб» (1974)

«Нельзя надеяться, что после нынешнего смутного времени наступит некое «спокойное», когда мы «сядем и подумаем», как устраивать будущее... И как ни жжет сегодняшнее — о нашем будущем устройстве все же надо думать загодя.

А. И. Солженицын. «Как нам обустроить Россию» (1990)

«НЕВОЛЯ», КОТОРАЯ... «ПУЩЕ ОХОТЫ!»

Импровизация судьбы — это всегда крайне активное отношение человека к неожиданным возможностям самореализации, сотворения себя. Она не сводится к вульгарной расторможенности чувствований и стихийному растеканию мысли. Еще меньше в ней от суетливого стремления прыгнуть на подножку любого подвернувшегося поезда, даже не зная, куда он прибудет. Подлинное самосозидание — всегда обостренное чувство пути, присутствие рефлекса цели («весь охвачен свербежом от упущенных дел»,— говорит у Солженицына герой «Августа Четырнадцатого»).

Станция назначения — победа... Но и с победой что-то надо делать?

Мог ли Солженицын при такой воле к самореализации, сотворению судьбы обойтись... без публицистики? Писать романы, пьесы, стихи, но так и не прикоснуться... к барабанам, к трубам и колоколам?

Автор «Архипелага ГУЛАГ» однажды сказал, что он публицист... поневоле: «Я ею (публицистикой.— *В. Ч.*) занимаюсь поневоле. Если бы я имел возможность обращаться к соот-

чественникам по радио — я бы читал свои книги, ибо в моей публицистике и в моих интервью я не могу выразить и одной сотой части того, что есть в моих книгах» (интервью, взятое Б. Левиным в 1983 г.).

Позволительно в это не поверить. Особенно если знаешь все нетерпение художника, помнишь его девиз: «Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться» («Из-под глыб»).

Публицистика не просто стала важной составной частью его непрерывной проповеди-исповеди, лабораторией для выработки его концепций, рабочих гипотез. Он непрерывно движется в сфере публицистических внеобразных «посильных соображений». Солженицыну важно вначале громко «прокричать» какую-то истину, уловить эхо, а уж потом выговорить ее, с поправками, «вполголоса». Во всяком случае, публицистика для него вовсе не «отходы» огромной судоверфи, где годами и десятилетиями строятся его «корабли». Может быть, даже проекты этих «кораблей-романов» и возникали-то из тезисов, рабочих гипотез его публицистики?

КОГО «ПУГАЛ» СОЛЖЕНИЦЫН И КОМУ СТАЛО ВДРУГ «СТРАШНО»?

Два тома публицистики писателя — в известном собрании сочинений парижского издательства Н. А. Струве — разделены на основе хронологии на две части: «В Советском Союзе» (1969—1974) и «На Западе» (1974—1980). Это очень многомерное, многоаспектное, но внутренне единое осмысление изменчивого мира, целая серия позиций, даже портретов писателя в разгар холодной войны. Публицистика эта вызвала множество агрессивных нападок, волн жгучей иронии в его адрес, то и дело «захлестывающих» и прозу. Если, скажем, позиция А. Д. Сахарова или В. С. Гроссмана в «арестованном» романе «Жизнь и судьба» принималась одной стороной — либеральной оппозицией — безоговорочно, то публицистика Солженицына часто... отнимала у него друзей в либеральном лагере.

Кто он такой, этот (который?) Солженицын? Реестр ярлыков крайне причудлив:

«Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая I (?)... «Ленин в Цюрихе» — памфлет на историю... Сублимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Шаманское заклинание духов... Морализм, выросший на базе нигилизма... Фанатик, мышление скорее ассоциативное, чем логическое... Пена на губах, пароксизм ненависти... Лунатик, живущий в мире

мумий... У Ленина и Солженицына абсолютно одинаковое понимание свободы... Аятолла России... Великий Инквизитор... Идейный основатель нового «ГУЛАГа»...»

Этот набор этикеток, реестр ругательств уже в 90-е годы пополнила целая серия почти эпитафий, сожалений о несостоятельности пророчеств Солженицына.

«Персонификация пророка в современной литературе, а может быть, и более того — всей нашей современной истории» (В. Максимов).

Невероятный «гений борьбы», наделенный лагерной яростью в утверждении своего «тяжелого христианства» (Л. Аннинский).

Не стоит, пожалуй, гадать: радует или обижает Солженицына очередная коварная мифологизация? Отметим только, что для подобной самоидеализации — «воин Божий», «разгневанный пророк, идущий сквозь историю», и т. п.— найдется, как мы замечали, немало «подтверждений»... в романах и публицистике Александра Солженицына.

Систематизировать статьи, интервью, лекции и манифесты Солженицына, погруженные в конкретные ситуации, оценить неправду преждевременных эпитафий весьма сложно. «Публицистические протуберанцы» Солженицына всегда закреплены в определенном пространстве, он — в эпицентре отшумевших ныне бурь.

К счастью, помимо самого Солженицына, способного высмеять и суд недоброжелателей, и «смех толпы холодной», нашелся исследователь, который не просто перечислил все затронутые им как публицистом судьбоносные вопросы, «конфликты» XX века, но и развеял многие обвинения. К этому исследованию Доры Штурман («Городу и миру. О публицистике А. И. Солженицына») — в нем свыше 400 страниц — к его разделам «Жить не по лжи», «Солженицын и демократия», «Солженицын и Запад», «Солженицын и национальный вопрос», «Солженицын и «плюралисты» можно было бы и отослать читателя, жаждущего системного, обзорного анализа его публицистики.

В чем выражается пророческая высота, часто обрекающая Солженицына на одиночество в заоблачных высях?

Прежде всего он сразу, без оглядки на кого-либо, вывел весь жанр обессиленной публицистики на забытый уровень «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского.

«Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям,— а оказалось, что у нас отбирают самое драгоцен-

ное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. **На Востоке ее вытаптывает партийный базар, на Западе — коммерческий.** Вот каков кризис: не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь» (Речь на ассамблее 327-го выпуска Гарвардского университета, 1978).

Безусловно, это поэтика озарений, некий лирико-философский универсализм, скрывающий даже банальности...

Опасность для культуры, для свободы и совести подкрадывается — и с этой позиции Солженицын не сходит — к человечеству вовсе не с одной стороны. Насильственный обрыв величайших нравственных традиций, бесовщина всех видов могут принимать форму... предельного развития свободы, демократии, вседозволенности, выпадения памяти.

Провидческая мощь мысли Солженицына позволяет ему увидеть весь ужас одинаковой свободы (вернее, своеволия) для добрых и злых дел, для равнодушия и отчуждения:

«Свобода! — принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так, чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом... Свобода! — издателей и кинопродюссеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! — подростков 14—18 лет упиваться досугом и наслажденьями вместо усиленных занятий и духовного роста... Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформовать общественное мнение» (Слово при получении премии «Фонда свободы», 1976).

Особенно возмущают его способы формирования «западных» взглядов на Россию дореволюционную, на природу характера, скажем, русского крестьянства, на смысл «русской идеи» и многие русские духовные течения, подаваемые чаще всего как нечто враждебное... культуре, гуманизму, преисполненное мессианскими болезнями.

Подобные обличения, столь неожиданные в советском «диссиденте № 1», естественно, не сразу были поняты на Западе. Всем памятен холодный прием знаменитой нравоучительной Гарвардской речи Солженицына. Кстати говоря, многие из эмигрантов, живущие в Канаде или США, искренне жалуются, что многие высокие темы как бы... **повисают** в воздухе в беседах даже с образованными бизнесменами, учеными, не находят заинтересованного продолжения. И вне России, оказывается, писать можно... только для России!

Солженицын, не забыв ужаса тоталитаризма, первым заговорил об этом, нарушая этикет благодарности за госте-

приимство. В художественной панораме времени, в общечеловеческом, явно оскудевшем опыте борьбы за человека, спасения его возродился на время благодаря Солженицыну совершенно утраченный тип сознания, возродилась «русская точка зрения» на многое. Эта «русская точка зрения» возвышалась над узкими доктринами «советологов», над примитивным западничеством и часто столь же плоским спекулятивным домашним «славянофильством». Солженицын в меру сил своих проложил дорогу к главному руслу русской публицистики — знаменитым «письмам» П. Я. Чаадаева, «Дневнику писателя» Ф. М. Достоевского, «Не могу молчать» Л. Н. Толстого, отчасти «Письмам к ближнему» М. О. Меньшикова, публицистике В. Г. Короленко... У публицистики Солженицына оказался совершенно иной объем памяти, огромнейшее нравственно-культурное пространство. Многие геополитические проблемы, исторические ситуации в их особом осмыслении не просто вернулись к писателям. До этого, как мы сказали, считалось, что многое как бы... не их ума дело! Они вернулись в литературу еще до 1985 года в преображенном виде. А целый ряд проблем, скажем, самоограничения («самостеснение») и покаяния как альтернативы эгоизму потребительства и ненависти, «интеллигенции» или «образованщины» (особенно «центровой образованщины») и т. п., вообще поставлены впервые Солженицыным.

Ключевой момент всей публицистики Солженицына на протяжении многих лет, даже десятилетий,— призрак коммунизма, все то же «красное колесо» как апокалиптическое виденье. О писателе можно сказать словами Пушкина:

Он имел одно виденье,
Непостижное уму...

Солженицын не ожидал, что так внезапно окажется среди руин тоталитаризма... в собственной беззащитной стране!

Что же произошло с образом-видением, образом-знамением, образом «зверя из бездны» — таким образом стал для Солженицына сквозной образ «красного колеса»? Он историчен и надысторичен...

По существу, Солженицын-публицист создал серию пророчеств о судьбах свободы, о длящемся нашествии на Россию, на весь мир, на демократии и монархии страшного пожара революций, иррациональной силы тоталитаризма, сущей «державы смерти». Фактически все его романы, повести, хроники — это громкий сигнал тревоги, воззвание к миру, к мужеству всех демократий, голос «из-под глыб».

Солженицын — мифолог, оперирующий множеством ар-

хетипов добра и зла. Для него миф заложен в самой политической идеологии. Как в идеологии тоталитарной, где в пролетариате-самодержце «просматривался» и Зевс, и Прометей, так и в идеологии, что тяготеет к демократическому «плюрализму», к либерально-коммерческому базару. Солженицын словно наждаком отчищает с мифологии всякую конкретность, сиюминутность и создает свои химеры, символы мирового заката.

В интервью 1979 года в Кавендише Солженицын, объясняя необъяснимую, иррациональную силу Системы, «Дуба», с которым он «бодался», обращается к сказочно-мифологическому образу: «Мы — **под самим Драконом** научились, не гнемся, а они (американские и европейские либералы.— *В. Ч.*) — издали, только от его дальнего дыхания уже гнутся, как ему угодно».

Иррациональные и архитипические символы, мифические образы вообще опасны. Они едва ли кого устраивают из современников Дракона. Если бы под Драконом, абсолютным Злом, Солженицын имел в виду только Сталина и его «плохой» террор, то ему был бы обеспечен успех по крайней мере у одних. Но ведь «красное колесо» в России стало катиться для Солженицына и в деяниях народовольцев, бомбометателей Савинкова, и в речах Милюкова и Керенского. В пособниках Дракона ходили в разные времена все его будущие жертвы! А Сталин? Он — явно проходная фигура в космосе Солженицына, «ягненок»... Он — это удивительно! — как бы останавливал накат «колеса», снимал лозунги мирового пожара, мировой революции?! Тем более раскола общества, гражданской войны: все стали равноправны или... равно бесправны! Все эти моменты в историософии Солженицына сразу же изменили статистику оценок его публицистики. Он стал... опоздавшим пророком, живущим пафосом не перспективы, а ретроспективы, стал для многих «пренебрегаемой величиной».

Еще глубже, чуть ли не в предысторию всякой демократии, перенесла Солженицына его позиция в статьях «Наши плюралисты», «Образованщина», «Самоограничение и покаяние».

«Непредсказуемость» Солженицына достигла предела... Либералов, гордо возвещающих о своем восторге перед многообразием мелких доктрин, программ, «правд», истин, Солженицын как будто должен был «пощадить». Кто, как не они, грозный антитезис унификации, тоталитаризму! Увы, в статье «Наши плюралисты» Солженицын гневно высмеивает этих радетелей всемирного Гайд-парка, создания «кипятильников словоговорения», умножения митингового кухариата.

«Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности... Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной основы, то не может быть и морали. «Плюрализм» как принцип деградирует к равнодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм... Чем и парализован беззащитно нынешний западный мир: потерей различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом, энтропией мысли — «побольше разных, лишь бы разных!»

А истина, а **правда во всем мировом течении одна — Божья**, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Многоразличие мнений имеет смысл, если прежде всего сравнением искать свои ошибки и отказываться от них. Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше «разных».

КТО ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ РОССИИ?

Солженицын-публицист живет в особом времени — времени нетерпения. Он явно предпочитает мыслимый им мир — живущий «не по лжи», нацеленный на «дальновидное самостеснение», сбережение экологической ниши для человечества, мир, где «охват раскаяния безграничен», скудной, жалкой действительности компромиссов, мелких добрых дел, заигрываний с Драконом. Поэтому многие предписания Солженицына слишком... «идеальны» для грешной земли. Как сразу зажить «не по лжи», не идя на мировую с посредственностью, если вся окрестность вокруг тебя до небес замусорена ложью? Как старой, так и новой... Где именно начинается единая, Божья истина, а не очередные подделки под нее, модные или старомодные?

Кто ему близок в прошлом? Может быть, один Петр Аркадьевич Столыпин, о котором В. В. Розанов сказал однажды... почти по-солженицынски:

«Революция при нем стала одеваться моралью и одолеваться в мнении и сознании всего общества, массы его, вне «партий»...

Конституционализму, довольно-таки вертлявому и иногда несимпатичному на Западе, он придал русскую бороду и дал русские рукавицы. И посадил его на крепкую лавку — вместо беганья по улицам».

Солженицын тоже как бы хотел «одеть моралью» нынешнюю демократическую революцию, легковесный бунт против тоталитаризма. Ему хочется привить либералам-плюралистам, угодливой образованщине усидчивость. Это, увы, сейчас воспринимается как новый догматизм, проповедь старой веры, монархизм.

Писатель порой заглядывает и в бытовые сферы, в квартиры и дачи властвующих в культуре (а порой и в политике) образованцев-либералов. И вновь осознает действие рефлекса отчуждения их от России: «Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдитесь по знатным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только «оперные», народа не осталось, отчего же крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?»

Обязательно ли соглашаться во всем с Солженицыным? Конечно, не обязательно. Многие тезисы в его публицистической панораме прямо-таки приглашают к спору. А его самобытные, «исторические закономерности», являющиеся на свет из недр мифа и математики, конечно, крайне любопытны, но часто сверхисторичны, обращены к условному миру.

Все дело в том, что только в пафосе борьбы, разрушительства, непрерывно настраивая себя на выполнение перелицованного коммунистического девиза «весь мир насилья мы разрушим, до основания»,— Солженицын и способен затушевать слабое в своей концепции своей положительной, в целом только нравственной, религиозной программы.

Вообще для Солженицына марксистская утопия играет роль своего рода... матрицы, образца для своего контрманифеста.

Солженицын явно боится своего... «затем»!

В «Интернационале», как известно, после слов о разрушенье мира до основанья шли слова: «...а затем мы наш, мы новый мир построим».

Какое «затем» может предложить он? Не принимающий к тому же — и его критика во многом справедлива! — и западного потребительского общества, мира, не знающего самоограничения и покаяния?

Солженицынское «затем» — и здесь он вступает в сферу неизбежных слабостей, не преодоленных еще ни одним из утопистов! — по существу, тоже весьма расплывчато. Он проблематичен особенно сейчас, когда «красное колесо» революций, тоталитаризма, образом которого Солженицын так устрашал уступчивый, рассыпающийся и изнеженный «за-

падный мир», явно... покатилось, не без помощи загадочных сил, назад, стало разрушать не западный мир, а родину революции! Французский критик Ж. Нива справедливо заметил, что обилие риторики, слов с большой буквы («Правда — Ложь», «Добро — Зло», «Истина — Заблуждение» и т. п.) говорит как раз о трудностях великой задачи исполнения, утопичности многих способов ее решения:

Ложь и насилие могут исказить непосредственное восприятие Истины и Добра, заложенное в каждом, может случиться временное и частное затмение справедливости, но Красота затмений не знает. Она рождается от дара Божьего, которым наделена личность, она бывает и переменчива, и капризна... Иными словами, Солженицын превращает искусство в главное орудие, которым Бог учредит на земле царство Второго пришествия...

История как будто... иронизирует над страхами писателя. В конце 80—90-х годов вся его версия о наступлении Дракона, о вездесущей руке Москвы, об иррациональной силе Зла, Несвободы, Большого Террора потерпела сокрушительное поражение. Вирус зловещей болезни, заложенной в почву России (когда? в 1917-м? в 1922 году?), ожил, пришел в движение. И вот уже совсем другое колесо и в другом направлении покатилось по миру.

Вероятно, многих огорчают в тезисах его брошюры «Как нам обустроить Россию» жесткие нормативы пророчеств: «Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый сплав? — чтобы русским потерять неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее».

Величие Солженицына-публициста, вернувшего литературе ее хлеб насущный,— в его нравственной проповеди. Все воззвания, особенно призывы Солженицына к нравственному сотворению себя, своей судьбы, освящены памятью о подвиге Христа. Он для него, «подмастерья Бога на земле»,— та духовно-нравственная вершина, та Истина, что побеждает тьму искалеченной истории, мелкие пристрастия любой Смуты, та Правда, что перетягивает вес ложных авторитетов и кумиров, разрывает железные и иные занавесы. Легко возразить Солженицыну, что архаично и тяжело его христианство, что не все способны так, как Христос, раскинуть руки, чтобы объять необъятное:

Слишком многим руки для объятия
Ты раскинешь по концам креста.

(Б. Пастернак)

Кто способен на такой подвиг, утверждающий такую Истину? Дайте людям... маленькие, разнообразные «истины», толчею мнений в очередном Гайд-парке или на Манежной площади?..

Но от встреч с Солженицыным мы все меняемся, согласные с ним и несогласные. Еще неизвестно, кто меняется больше. Небесспорные откровения Солженицына-пророка, как и его призывы к жизни «не по лжи», к самоограничению и покаянию, возводят мысль на совершенно иной уровень спорности. Это почувствовал один из наиболее объективных оппонентов Солженицына — Г. Померанц. Отстаивая свою позицию плюралиста, он в итоге пришел к очень любопытной мысли: «...бывают ясные истины и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками противостоят друг другу равно глубокие истины... Слишком большая захваченность борьбой за ясные истины сужает почву, на которой могут укорениться истины глубокие».

Путь, пройденный Александром Солженицыным, великим «спорным» писателем XX века, бесспорен именно на высоте глубоких истин, возникающих в мучительных бореньях духа, в споре со временем.

Солженицын-победитель знает (в это хочется верить!), что делать со своей победой. Победу для себя он попробует, может быть, вновь в споре с судьбой, превратить в победу для России.

В январе 1993 года, получая в Нью-Йорке литературную награду Американского клуба искусств, Солженицын вновь вернулся мыслью к России, оценив ситуацию в ней с величайшей тревогой: «Россия — дотла разорена и отравлена, народ в невиданном моральном унижении и едва не гибнет физически и даже биологически» (Новый мир.— 1993.— № 4). Знаменитая догадка Гегеля об «иронии истории», о ее насмешке над доверчивыми к звонкой фразе, популистскому лозунгу людьми подтвердилась: история вновь посмеялась... по-русски, вогнав многих в состояние растерянности. Современный поэт В. Еременко сказал о растерянности так:

И вчерашнее солнце в носилках несут,
И сегодняшний бред обнажает клыки.
Только ты в этом темном раскладе не туз.
Рифмы сбились с пути или вспять потекли.

Свет мысли Солженицына разрывает темноту «темного расклада», мрак манипуляций с Родиной. Он вновь оказался вместе с Россией как организующая сила, не сбившаяся с пути.

* * *

...Течение истории в России всегда — пусть на один поворот «реки» — опережало человеческую способность понять все свершающееся. Тем более предвидеть конечный результат затеянной (кем? почему?) борьбы, смуты. Установка на мечтаемое будущее, радикально отличающееся от прошлого, психоз ломки до основания, вечные эксперименты — характерная черта российской действительности в XX веке. Это «горячий» угол планеты, как бы не желающий жить рациональным улучшением настоящего.

Как угадать скрытый сценарий смуты? Не обмануться в очередном бутафорском вожде-пророке?

«У нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом» — так говорил о доверчивости России Ф. М. Достоевский. Не отсюда ли — столь частые именно у нас насмешки причудливой истории, жгучая «ирония истории» (Гегель), смеющейся... по-русски. Само обозначение этого философского понятия, насмешки абсолютного духа над человеческой доверчивостью звучит в русском языке по-простецки: «За что боролись, на то... и напоролись»...

Море всегда больше... пловца! И если взять эпоху 1907—1917 гг., к которой приковано и сейчас внимание Солженицына, то русская культура давно уже справедливо оценила многие свои иллюзии, миражи, мечтания, как хрупкие челноки в волнах океана. От имени поколения («поколения, растерявшего своих поэтов»,— говорил о нем Р. Якобсон) Борис Пастернак с запоздалой ироничностью сказал, оглядываясь на пройденный поворот «реки»:

...А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой — интеллигент...
...А сзади, в зареве легенд,
Идеалист — интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.[1]

(«Высокая болезнь».)

Александр Солженицын — пловец в этом же «море», решивший стать... больше «моря», внести окончательный план в его волнения и смуты, разъяснить смысл русского XX века.

---

[1] Л. Я. Гинзбург в статье «Еще раз о старом и новом» («Поколение на повороте») с мудрой ироничностью оценила этот же идеализм, святой и наивный: «Веяния исходили из разных сфер, но было у них и общее. Общее — идея безмерного расширения личности. А как, какими способами революция потом эту личность сузит — об этом пока можно было не беспокоиться.

Многое способствовало исполнению им этого подвига. Солженицын — свидетель не только великого заката множества интеллигентских легенд, иллюзий еще некрасовских «народопоклонников» («Первый тост за наш народ, за святой призыв вперед!»). Он увидел и резкое, невиданное ранее сужение человека, определенную стандартизацию личности. Оснований для такой мучительной субъективности было немало.

Еще в 30-е годы он, максималист-мечтатель, увидел, как грубо, примитивно-наглядно был наведен «порядок» с рефлексией, с вечным гамлетизмом, традиционной оппозиционностью интеллигенции власти, с ее «внеплановой» мечтательностью и извечной устремленностью в зону боли, к страданиям («мы — не хирурги, мы — боль», — говорил еще Герцен). Интеллигенции был предписан дар прочнейшего исторического оптимизма, дан простой, как мычание, метод его воплощения. И трудно было, пожалуй, в предвоенных условиях, после хаоса гражданской войны, угроз распада государства, после банкротства либералов всех мастей, не принять подобного насильственного предложения, установки на единство государства и культуры! Юношеский роман «Любите революцию» и ученические стихи Солженицына — это ли не свидетельство всеобщей «убежденности» в безальтернативности «революционного тягла», «счастья» включения в общий монолог? «Я рад, что я этой силы частица...»

Увы, в этом симбиозе, в содружестве «вола» и «трепетной лани», нормативности и «свободы», произошла тягчайшая утрата: искусство после «сплошной коллективизации» перестало быть искусством. Солженицын пришел в литературу, когда это «единство» во многом показное, ритуальное, уже рушилось. Анатолий Якобсон в статье «О романтической идеологии» сказал о подвиге прозрения Солженицына во многом верно, но с весьма характерным преувеличением:

«Оно (явление Солженицына.— *В. Ч.*) было более изумительно, чем явление таких гениев, как Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве, из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво!

Весь русский авангард заглядывал в революцию... И с пеленок были воспитаны в стыде преимущества. Сами от них не отказывались, но, если их отбирала история, не жаловаться же на историю... Вернем долг обделенному нами брату! — который не прочь уничтожить нас с нашей культурой вместе». (Тыняновский сборник. (Вторые тыняновские чтения) — Рига, 1981.— С. 187.)

Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось, не растет.

А дело в том, что глубоко в земле притаились до поры живые семена, брошенные когда-то мужиковствующим графом (Л. Н. Толстым.— *В. Ч.*).

Из такого-то семечка и вырос Солженицын...»

Вероятно, это толстовское «семечко», пошедшее в рост, обнаружившее огромную силу всхожеств в Солженицыне было не единственным...

Увы, и он не смог предвидеть той катастрофы для культуры, в атмосфере которой его книги вернулись на Родину. Предвидел ли он, не желавший спекулировать на нашей трагической истории, что опять оживут лицемеры, оборотни, всю жизнь карабкавшиеся на вершину «системы», в крону «Дуба», чтобы затем... эту же систему взорвать? И они — его союзники?

Дар Солженицына, сила великой классической традиции не ослабевала в нем и ныне, когда вновь искры иронии наглядно (и страшно) засверкали на всех волнах и поворотах новейшей русской истории. Солженицын — великий печальник за родную землю, все видит, все понимает и... часто мучительно ищет объяснения трагическому самообессиливанию родного народа. «Россия — дотла разорена и отравлена, народ в невиданном моральном унижении и едва ли не гибнет физически и даже биологически»,— сказал он 19 января 1993 года, вновь обращаясь в основном к русской интеллигенции.

Трагической жертвой лицемерия и двойной игры стала в его глазах русская культура. Ей усиленно навязывается пафос самоуничтожения, небытия. Опять она должна... множить руины в духовном мире человека, лишать всех (и себя в том числе) ориентиров, путеводных звезд, зажженных Пушкиным, Толстым, Достоевским, жить психозом разрушения и выжженной земли.

Нужно ли помогать современному читателю осознавать противоположность «добра» и «зла», праведности и дьяволиады, духовной болезни и здоровья? «Духа не угашайте»,— это есть ответ Солженицына.

Солженицын-пророк отнюдь не опоздал со своим обличительным словом всяческой деградации гуманизма. И сейчас сотрясаются основы культуры, процесс одичания не встречает отпора.

«В оплевывании прошлого — мнится движение вперед. И вот сегодня в России снова стало модно — высмеивать, свергать и выбрасывать за борт великую русскую литературу, всю настоянную на любови к человеку, на сочувствии к

страждущим. А для облегчения операции этого выговора — объявить мертвенный лакейский «соцреализм» органическим продолжением полнокровной русской литературы»,— говорил Солженицын в январе 1993 года в Нью-Йорке.

Писатель сражается — и это повторение былого! — сразу на двух фронтах, отвергая и стандарты «огосударственного» искусства и постмодернизм, построенный на пренебрежении высшими смыслами, на безбрежной всеядности и равнодушии.

Сфера нерешенного и неясного (или затуманенного) не сужается, а нередко нарастает вокруг фигуры Солженицына. Прежде всего по мере продолжения главной, все более объемной книги писателя романа-хроники «Красное колесо». Сможет ли писатель остановить круговорот «колеса»? Об этом — не без смущения — спрашивают даже преданнейшие друзья писателя в эмиграции... Почему с таким постоянством писатель возвращается к ситуации полнейшего банкротства, краха либеральных болтунов 1917 года, к знаковой системе «керенщины» и «милюковщине»? Так ли уж хочет он прямой реставрации всего, что было в России до 1917 года, вплоть до монархии и Святого Синода?

Сложность судьбы Солженицына в современной «постсоциалистической» России, сложность его «победы» (не во имя же духовного обнищания?) еще не приблизились к разрешению.

Впрочем, там, где мы ждем от Солженицына итога, он часто оказывается... перед очередной проблемой. Степень вовлеченности его в события наших дней столь велика, потенциал возможностей тоже, что многие тупики способны оказаться просветом в будущее. Лишь бы вечно он был текуч, неподконтролен, способен начать «собирать камни» для великого общего дома русских людей.

КРАТКАЯ ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

«Деды мои были не казаки, и тот и другой — мужики» (А. И. Солженицын. **«Бодался теленок с дубом»**).

«Дед Ефим... рассказывал, что на его пращура напустился царь Петр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжег, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гонялись на тачанках, да стригли овец. Окоренились» (**«Август Четырнадцатого»**).

Дед Солженицына Семен со стороны отца с четырьмя сыновьями и дочерьми обрабатывал на Ставрополье средних размеров хутор. Младший сын Семена Исаакий (отец А. И. Солженицына.— *В. Ч.*) учился в Харькове, потом в Москве, в 1914 году ушел на фронт первой мировой войны (попал в армию генерала Самсонова), уже на фронте, летом 1917 года, женился на Таисии Щербак, имел награды за храбрость. После возвращения домой был ранен на охоте и умер от раны 15 июня 1918 года. Он выведен в **«Августе Четырнадцатого»** в образе Сани Лаженицына.

В книге воспоминаний «Бодался теленок с дубом» Солженицын заметит: «Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья, и работали все своими руками» (**«Бодался теленок с дубом»**).

Мать Александра Исаевича Таисия Щербак была дочерью Захара Щербака, пришедшего на Кубань пастушить из Таврии (так со времен князя Потемкина даже в быту называли русские Крым.— *В. Ч.*) и ставшего здесь зажиточным «латифундистом», владельцем «экономии»... Этот дед с материнской стороны — Томчак в «Августе Четырнадцатого» — до конца жизни сохранил украинский выговор. Он дал дочери Таисии прекрасное образование: она училась на знаменитых Бестужевских курсах в Петербурге.

1918. 11 декабря. Рождение в Кисловодске Александра Солженицына через шесть месяцев после смерти его отца. Некоторое время спустя умирает его дед с отцовской стороны. Дед с материнской стороны был укрыт его же бывшими батраками, которые еще двенадцать лет безвозмезд-

но кормили его, покуда в годы коллективизации и его, и многих кормильцев не накрыла волна репрессий.

1924. Таисия Солженицына с шестилетним сыном поселяется в Ростове-на-Дону, где находит скромную квартиру, устраивает сына в школу, помогает ему среди увлечений обычного школьника тех лет — футболом, школьными спектаклями, турпоходами — не утратить памяти о генеалогическом древе, о дореволюционном прошлом рода, об отце и его верности присяге, о православии. Писатель не забудет «того необычного по свежести и чистоте изначального впечатления (после посещения церкви.— *В. Ч.*), которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории» (**«Письмо патриарху Пимену»**).

1936. Солженицын поступает в Ростовский университет на физико-математический факультет, сохраняет дружбу со школьными друзьями Николаем Виткевичем («Кокой»), Кириллом Симоняном, Лидией Ежерец, Натальей Решетовской, на которой он женится 27 апреля 1939 года.

1939. Солженицын и Николай Виткевич («Кока») поступают на заочное отделение Московского института истории, философии, литературы (МИФЛИ).

1941. Солженицын заканчивает университет в Ростове и 22 июня 1941 года приезжает на экзамены в МИФЛИ. В этом же году в октябре он был мобилизован в армию и вскоре попал в офицерскую школу в Костроме.

1942. Летом Солженицын получает звание лейтенанта, проводит две недели на транзитном пункте Горьковского вокзала (отсюда прекрасное знание атмосферы времени в рассказе «Случай на станции Кочетовка»). В конце 1942 года после пребывания в Саранске, где формировалась артиллерийская группа разведки, Солженицын попадает на фронт: со своим соединением он проходит путь от Орла до Восточной Пруссии. Солженицын командует «звукобатареей», задача которой — выявлять вражескую артиллерию... В 1946 году, уже через год после ареста, Солженицын получил от своего бывшего начальника генерала Травкина характеристику, в которой упоминается такая весьма существенная подробность: в ночь с 26 на 27 января 1945 года в Восточной Пруссии Солженицын вывел свою батарею из окружения (эта ночь воссоздана Солженицыным в эссе **«Сквозь чад»**)

1944. 17 января. Смерть матери Солженицына. В этом же году будущий писатель — уже капитан — получает один за другим два ордена.

1945. Переписка Солженицына с Николаем Виткевичем, воевавшим на другом фронте, попадает в поле зрения военной контрразведки. «В письмах они,— как пишет швейцарский славист Ж. Нива,— открыто говорят о своих «политических негодованиях», обозначая Ленина уменьшительным «Вовка», а Сталина — кличкой «Пахан». 9 февраля капитан Солженицын был арестован на командном пункте своего начальника генерала Травкина... Следствие проходило в Москве, в Лубянской тюрьме, описанной в **«Круге первом»**; затем Солженицына перевели в Бутырскую тюрьму. 27 июля 1945 года он был осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье уголовного кодекса. «В похвалу этой статье можно найти еще больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для Матушки-Руси: великая, могучая, обильная, разветвленная, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, исчерпывающая мир» (**«Архипелаг ГУЛАГ»**). Его первый лагерь был в Новом Иерусалиме, рядом с Москвой, второй — в Москве (у Калужской заста-

вы). В июне 1947 года Солженицын переведен в Марфинскую «шарашку» или «спецтюрьму № 16 в северном пригороде Москвы» (Ж. Нива. Солженицын. Лондон. 1984. Перевел с французского С. Маркит в сотрудничестве с автором)[1].

1949. Солженицын переведен на общие работы в Экибастуз (Казахстан), в лагерь севернее Караганды. Он работает литейщиком, каменщиком, становится бригадиром, продолжает создавать начатую еще в Марфинской «шарашке» автобиографическую эпопею в стихах **«Дороженька»**. Опыт создания рассказов, уводящий в предвоенные и фронтовые годы, где тоже писались рассказы, часто не мог быть продолжен. Из этой поэмы писатель впоследствии восстановит главы 8 (**«Прусские ночи»**) и 9 (**«Пир победителей»**).

1952. 22—28 января. Солженицын — участник Экибастузской «смуты» заключенных, восстания, «этого таинственного возгорания людских душ» («Архипелаг ГУЛАГ»).

1953. Февраль. Солженицын освобожден из лагеря, стал «вечным ссыльнопоселенцем» в ауле Кок-Терек Джамбульской области, на границе пустыни. «Он снимает угол в глинобитной хатке, у хозяйки, потом покупает собственный домишко. Глубокая сердечная дружба связывает его с супругами Зубовыми, врачами, такими же ссыльными, как он сам. Под именем Кадминых они выведены в **«Раковом корпусе»**,— пишет Ж. Нива (Уп. соч.— С. 13—14).

1955. Солженицыну разрешен выезд в Ташкент, пребывание в онкологической лечебнице: его излечивает доктор Дунаева (Донцова в **«Раковом корпусе»**) рентгеновскими облучениями семиномы. Впоследствии Солженицын признается друзьям, что в нем живет уверенность: вся последующая жизнь дарована ему свыше, и пока он пишет — у него отсрочка.

1956. 6 февраля. Солженицын реабилитирован решением Верховного Суда СССР. Он получает назначение в сельскую школу учителем физики в поселке Торфопродукт близ Рязани. Он снимает комнату у Матрены Захаровой, старой крестьянки, в деревне Мальцево.

1957—1959. Солженицын поселяется в Рязани вместе с женой Н. Решетовской. Идет работа над романом **«В круге первом»**...

1959. Написана за три недели повесть «Один день Ивана Денисовича». Поездка в Ленинград. «Первая встреча с Натальей Светловой»,— сообщает Ж. Нива (Уп. соч.— С. 14). Работа над сценарием **«Знают истину танки»**.

1960—1962. Солженицын пишет пьесу **«Свет, который в тебе»** («Свеча на ветру»). Пишутся **«Крохотки»** — короткие рассказы, часто стихотворения в прозе. Попытка, вызванная XXII съездом КПСС, атмосферой «оттепели», напечатать «Один день Ивана Денисовича». Л. З. Копелев, критик-германист, прототип заключенного Рубина в романе «В круге первом», приносит рукопись в «Новый мир». После восторженной оценки ру-

---

[1] Данная книга известного швейцарского слависта, как и небольшая брошюра П. Паламарчука «Александр Солженицын. Путеводитель» (1991),— первые опыты создания летописи жизни и творчества Солженицына, не вызвавшие возражений, критических замечаний, могут считаться надежным источником биографических сведений о писателе.

кописи А. Т. Твардовским началась борьба за публикацию повести, завершившаяся получением разрешения Н. С. Хрущева. Повесть появилась в «Новом мире» (1962.— № 11). На одном из кремлевских приемов Солженицын уже как признанная знаменитость был представлен Н. С. Хрущеву.

1963. «Поощряемый вниманием исполинской читательской аудитории, Солженицын переживает небывалый творческий подъем — начинает «непомерно много сразу»,— пишет Ж. Нива (Уп. соч.— С. 17). Написаны и опубликованы (в 1963 г.) «Матренин двор» и «Случай на станции Кочетовка», рассказ «Для пользы дела», начата работа над «Архипелагом ГУЛАГ», пишется «Раковый корпус», продолжается работа над романом о революции 1917 года. Большая часть работы свершается в Солотче близ Рязани...

1964. Солженицын приобрел летнюю избушку рядом с деревней Рождество-на реке Истье (к юго-западу от Москвы) и расстался с учительством. На Пасху в Рязань приезжает Александр Твардовский и в кабинете Солженицына читает «очищенный» вариант романа «В круге первом».

Падение Н. С. Хрущева (октябрь 1964 г.) застает Солженицына в Тамбовской области, где он собирает материалы о подавлении крестьянского восстания 1920—1921 гг. Пишется историческая эпопея «Р17» **(«Красное колесо»).**

1965. Часть архива Солженицына, хранившаяся с 1961 года у инженера и антропософа Теута, изъята КГБ — в том числе «Круг первый», лагерные поэмы, пьесы («Пир победителей»)... Солженицын поселяется в писательском поселке Переделкино у К. И. Чуковского.

1966. Солженицын продолжает в разных местах (Рождество-на-Истье, Солотча и др. «норы», которые он позднее иронически назовет «Укрывище») работать над «Архипелагом ГУЛАГ» (завершен в 1968 г.).

В № 1 «Нового мира» за 1966 год появляется рассказ «Захар Калита». А. Т. Твардовскому передан роман «Раковый корпус». В сентябре роман обсужден на секции прозы Московского отделения СП СССР, рекомендован к печати. Солженицын чувствует явную неуверенность своих расторопных преследователей из КГБ и Агитпропов всех уровней: «Я стал идеологически экстерриториален».

1967. Весна. Обращение к черновикам двадцатилетней давности. Солженицын отдается работе над большим романом о революции 1917 г. («Р17»). «Тот роман уже 30 лет — с конца 10-го класса, у меня обдумывался, перетряхивался, отлеживался и накоплялся, всегда был главной целью жизни»,— сообщает об этом периоде жизни, о раздумьях Солженицына Ж. Нива (Уп. соч.— С. 19).

22 мая 1967 г. Солженицын обратился к делегатам IV съезда писателей СССР с письмом, в котором поставил вопрос об отмене цензуры и обнародовал некоторые факты преследований, направленных против него.

В этом году совершена последняя туристская поездка писателя по центральной России вместе с женой, общими друзьями Ефимом и Екатериной Эткиндами.

1968. Работа над «Августом Четырнадцатого», первым «узлом» «Красного колеса»: «Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни».

«Раковый корпус» и «В круге первом» выходят за границей.

21 августа. Конец «пражской весны» — либеральной оттепели в Чехословакии под руководством А. Дубчека. Узнав о вторжении танков в Пра-

гу, Солженицын пишет листовку, ориентируясь на подобные материалы, создававшиеся А. И. Герценом в 1863 году: «Стыдно быть советским!», но, как отмечает Ж. Нива, «отказывается от мысли ее напечатать, чтобы не подставить под удар «Архипелаг». «Надо горло поберечь для главного крика. Уже недолго осталось» (Уп. соч.— С. 20).

1969. Лето. Путешествие по северной России, по берегам Пинеги (родина Ф. А. Абрамова.— *В. Ч.*). В этой поездке Солженицына сопровождает Наталья Светлова, с которой они задумывают издавать самиздатовский национальный журнал. (Этот замысел приобретет первые конкретные черты несколько лет спустя — в сборнике «Из-под глыб».) Эти сведения, собранные Ж. Нива (Уп. соч.— С. 20), следует, видимо, уточнить: сборник «Из-под глыб» ориентирован скорее на «Вехи»...

4 ноября. Исключение Солженицына из Союза писателей СССР (в Рязани). Попытки получить развод от первой жены, утрата прописки в Рязани. Солженицын поселяется в подмосковном дачном поселке Жуковка на даче у виолончелиста М. Ростроповича.

1970. Рождение старшего сына Ермолая (в браке с Н. Светловой) и присуждение Солженицыну Нобелевской премии по инициативе французского писателя Франсуа Мориака.

1971. В Париже выходит на русском языке первый «узел» эпопеи «Красное колесо» — «Август Четырнадцатого». Рождение второго сына Игната.

1972. Великопостное письмо патриарху Пимену. Солженицын прощается с А. Т. Твардовским (скончался 18.12.1971). Г. Белль, побывавший в феврале в Москве, вывозит один экземпляр «Архипелага».

1973. Конец декабря. В Париже в издательстве «ИМКА — Пресс» (руководитель — Никита Струве) выходит на русском языке первый том «Архипелага ГУЛАГ»: «С плеч — да на место камушек неподъемный, окаменелая наша слеза» («Бодался теленок с дубом»)

Октябрь. Рождение третьего сына, Степана.

1974. 12 февраля. Солженицын обнародует статью-проповедь «Жить не по лжи».

13 февраля. После ожесточенной компании против Солженицына в печати писатель арестован, заключен в Лефортовскую тюрьму, лишен советского гражданства, выслан в Западную Германию. После встречи с Г Беллем, недолгого пребывания в ФРГ Солженицын поселяется в Цюрихе.

Наталья Светлова-Солженицына получает разрешение присоединиться к мужу, а с нею — четверо детей (старший — от первого брака) и ее мать.

Ноябрь. Солженицын устраивает пресс-конференцию на своей вилле в Цюрихе и представляет сборник «Из-под глыб»: в сборник вошли его знаменитые статьи «О раскаянии и покаянии» и «Образованщина».

1975. Апрель. Поездка в Париж по случаю выхода в свет книги воспоминаний и литературной полемики «Бодался теленок с дубом».

1976. Октябрь. Солженицын покидает Цюрих и поселяется в США в штате Вермонт близ городка Кавендиш. Он покупает около двадцати гектаров земли. «Он работает в суровом флигельке в одну комнату,—

пишет прорвавшийся в замкнутый мир усадьбы Солженицына, «новый электронный ГУЛАГ», американский врач У. Кнаус,— отделенном от главного дома густым лесом. Никому из гостей доступа к нему нет. Каждый Божий день, с семи утра, он в своем кабинете. Старые, слишком просторные брюки болтаются на худых ногах. Фланелевая рубашка, поверх которой, в утренней свежести Новой Англии, надет свитер. Нащупывая ручку мозолистыми, окоченевшими пальцами, он чуть скашивает глаза. Написанное покрывает всю поверхность бесчисленных листков и листиков: он избегает какого бы то ни было расточительства. Нередко Александр Исаевич до того поглощен работой, что забывает поесть... Время, отданное еде, он считает растраченным нелепо и попусту» (цит по кн.: Нива Ж.— Уп. соч.— С. 24—25)

1976—1979. Солженицын посещает различные университеты США, обладающие русскими архивными фондами: Гувер Институт (Калифорния), Йел, Гарвард. Он упорно работает над «Красным колесом».

1978. Солженицын выступает на Актовом дне (годичном выпускном дне) в Гарвардском университете, упрекая Запад и США — эта речь вызвала много споров — в слепоте к другим самостоятельным культурам (в том числе к русской), увидев единую опасность для культуры и в «коммерческом базаре» Запада, и в «партийном базаре» Востока.

В декабре 1978 г в Париже вышли первые два тома собрания сочинений Солженицына на русском языке. К 1988 году, году 70-летия писателя, выйдет в свет 18 томов.

1981. Полемика против Солженицына в среде эмигрантов третьей волны (А. Янов и др.)

1988. Солженицын восстановлен в правах гражданина СССР.

В журнале «Новый мир» в № 8—11 публикуется «Архипелаг ГУЛАГ». В этом же году «Архипелаг ГУЛАГ» выходит в издательстве «Советский писатель» в полном виде.

1990. В журнале «Новый мир» в № 1—5 публикуется роман «В круге первом», в № 6—8 — роман «Раковый корпус».

В журнале «Наш современник» в № 1—12 «узел» II «Красного колеса» — «Октябрь Шестнадцатого».

18 сент. 1990 года Солженицын, прервав семилетнее публицистическое молчание, напечатал ставшую вскоре знаменитой работу «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения» («Комсомольская правда» и «Литературная газета».—18 сентября)

В издательстве «Центр — Новый мир» выходит книга А. Солженицына «Рассказы», в которую вошли повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка» и др., «Крохотки», эссе «Пасхальный крестный ход»

1991. В журнале «Новый мир» (№ 1—6) опубликована книга «Бодался теленок с дубом». Очерки литературной жизни». П. Паламарчук очень точно сказал о глубоком психологизме этого «романа, притворившегося.. мемуарами»: «В книге до беззащитности открыто изложены и первые размышления подталкиваемого к рубежу и потерявшего всякую надежду на подцензурное печатание писателя: а может, уехать — все-таки достойно в «свободный мир», а уж оттуда... И последовавший после мучительных колебаний отказ, порожденный во многом вот какой мыслью-сравнением: «Наша страна подобна густой, вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду Демократический Запад подобен разреженному газу или почти

пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться,— но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают все то же» (Паламарчук П. Уп. соч.— С. 87).

Оставаясь убежденным реалистом, А. Солженицын изложил свою программу в вышеупомянутом «Ответном слове». В нем он вновь подчеркнул свою верность этическим идеалам, гуманизму мировой классики, тревогу перед эпидемией безответственности и разрушительства — в ордах «авангардистов», постмодернистов и т. п.,— распространившейся в России:

«Для постмодернизма мир не содержит реальных ценностей. Даже есть выражение — «мир как текст» — как вторичное, как текст произведения, созданного автором, и наибольший интерес — это сам автор в соотнесении со своим произведением, его рефлексия. Культура должна замкнуться сама на себе (оттого эти произведения переполнены реминисценциями, и до безвкусия), и только она и есть стоящая реальность. Оттого повышенное значение приобретает игра — но не моцартианская игра радостно-переполненной Вселенной,— а натужная игра на пустотах, и у художника нет ответственности ни перед кем в этих играх. Отказ от каких-либо идеалов рассматривается как доблесть... Бога — нет, истины — нет, мироздание — хаотично, в мире все относительно, «мир как текст», который берется сочинить любой постмодернист,— как все это шумно, но и беспомощно само по себе» (Новый мир.— 1993.— № 4.— С. 6).

СОДЕРЖАНИЕ

Учебное издание

Чалмаев Виктор Андреевич

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

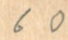
Зав. редакцией **В. П. Журавлев**
Редактор **Е. П. Пронина**
Художественный редактор **А. П. Присекина**
Технический редактор **Н. Н. Бажанова**
Корректор **Г. И. Мосякина**

ИБ № 14821

Сдано в набор 25.01.93. Лицензия ЛР № 010001 от 10.10.91. Подписано к печати 17.12.93. Формат 84×108 1/32. Бум. типограф. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12 + 0,84 вкл.+ 0,21 фор. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 17,02 + 0,79 вкл.+ 0,38 фор. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1094.

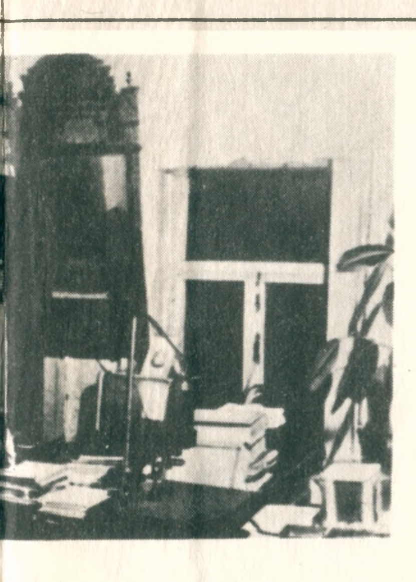
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Комитета Российской Федерации по печати. 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с диапозитивов Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината Комитета Российской Федерации по печати, 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59, в Смоленской областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова, 214000, г. Смоленск, пр. им. Ю. Гагарина, 2.





«Я делаю выводы не из прочтенных ф
участия масс и низов нет истории, нет ис



…илософий, а из людских биографий... Без …сторического повествования...»

А. И. Солженицын